Ф.Я.ПРИЙМА

Русская литература на Западе

СТАТЬИ И РАЗЫСКАНИЯ

Ф.Я.ПРИЙМА • РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ЗАПАДЕ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПУШКИНСКИЙ ДОМ

Ф. Я. ПРИЙМА

Русская литература на Западе

СТАТЬИ И РАЗЫСКАНИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Ленинград · 1970

ОТ АВТОРА

В настоящую книгу включены наиболее значительные из моих статей и разысканий, посвященных международным связям новой русской литературы.

Проблема вхождения русского художественного слова в культурный обиход западноевропейских стран, совершенно почти не тронутая дореволюционной наукой о литературе и поставленная в самой общей форме советским литературоведением 20—30-х годов, лишь на протяжении последних двух десятилетий стала предметом пристального внимания как у нас, так и за рубежом, особенно в странах народной демократии.

В разработке названной темы меня интересовали прежде всего наименее обследованные страницы межнациональных литературных контактов, деятельность забытых пропагандистов русской литературы на Западе, конкретные факты воздействия русской общественной мысли и искусства слова на зарубежных писателей. Вместе с тем я видел свою задачу также и в том, чтобы уяснить место каждого из освещаемых эпизодов в контексте литературного движения эпохи, в сложном процессе утверждения международного престижа русской классической литературы. Выяснение общих закономерностей, проявлявшихся на протяжении XVIII—XIX столетий в русско-европейских литературных связях, составляет главную объединяющую идею настоящей книги.

Все вошедшие в книгу статьи, за исключением одной («Герцен — пропагандист и интерпретатор русской литературы на Западе»), были напечатаны в разное время (1946—1966 гг.) в различных научных изданиях Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, Ленинградского государственного университета и Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена. В настоящем издании в тексты публикуемых статей внесены незначительные уточнения и исправления фактического характера, а справочный их аппарат в необходимых случаях дополнен указаниями на исследовательскую литературу, появившуюся после их первоначального выхода в свет.

Антиох Кантемир и его французские литературные связи *

Многосторонний характер деятельности А. Д. Кантемира был отражением не только свойственных просветителям XVIII века стремлений охватить все области человеческих отношений и знаний, но также и отражением многообразных потребностей новой России, вставшей на путь коренных экономических и культурных преобразований и вышедшей на мировую арену как могучая держава. Международное значение петровских преобразований было далеко не последней причиной того, что литературная известность Кантемира еще при его жизни перешагнула пределы России. Кантемир вел деловую переписку на шести европейских языках и за время своего 12-летнего пребывания на Западе лично познакомился со многими политическими, культурными и литературными деятелями Западной Европы, и среди них с такими, как Фонтенель, Монтескье, Вольтер, Мопертюи, Альгаротти, Нивелль де ла Шоссе, Луиджи Риккобони.

В литературе о Кантемире его общение с представителями западной культуры принято было рассматривать преимущественно под углом зрения западноевропейских влияний на русского писателя. Без достаточных на то оснований одни исследователи находили, что Кантемир восхищался английским парламентаризмом,[1] другие, отвергая английское влияние на Кантемира, называли его

---

* Статья первоначально опубликована в «Трудах Отдела новой русской литературы Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР», т. I. М.—Л., 1957, стр. 7—45.

[1] В. Н. Александренко. Русские дипломатические агенты в Лондоне в XVIII веке, т. I. Варшава, 1897, стр. 380—384.

поклонником культуры итальянского барокко,[2] третьи, изучая сатиры Кантемира, явно переоценивали воздействие на него Горация, Буало, Лабрюйера и пытались убедить читателей в том, что поэтическое творчество русского просветителя было лишено национального и индивидуального своеобразия.[3]

Однако по вопросу о степени самобытности взглядов и творчества Кантемира в литературе о нем можно найти и другую точку зрения. Так, например, на стремление и умение Кантемира отстоять национальную и индивидуальную самостоятельность своего творчества указывал еще в 1817 г. поэт К. Н. Батюшков в проникновенном очерке «Вечер у Кантемира». Кстати сказать, с мнением Батюшкова солидаризировался и В. Г. Белинский, который писал: «Батюшков, представивший Кантемира в беседе с Монтескье, аббатом В. и аббатом Гуаско, справедливо заметил, что Кантемир писал бы стихи и на необитаемом острове, потому что он писал их в Париже, который в отношении к нему, как к стихотворцу, был для него действительно необитаемым островом».[4]

Для Батюшкова, как и для Белинского, стремление Кантемира отстоять национальную самобытность своего творчества в инонациональной языковой и культурной стихии было фактом бесспорным. Именно желание утвердить национальную самостоятельность собственного творчества видел Белинский в переводах Кантемира, называя их «памятником первой борьбы русского языка с европейскими идеями».[5] «Сатиры Кантемира, — говорил далее Белинский, — подражание и, большей частью, то перевод, то переделка сатир Горация, Буало и, частию, Ювенала; но тем не менее они в высшей степени оригинальные

---

[2] Л. В. Пумпянский. Кантемир и итальянская культура. Сб. «XVIII век», вып. 1, под ред. акад. А. С. Орлова, М.—Л., 1935, стр. 90.

[3] Перечисление историко-литературных трудов, в которых констатируется влияние западноевропейской литературы на творчество Кантемира, заняло бы много места. От преувеличений подобного рода не свободна и лучшая из работ, посвященных изучению истоков творчества русского сатирика, — статья Т. М. Глаголевой «К литературной истории сатир кн. А. Кантемира. Влияние Буало и Лабрюйера» («Изв. Отд. русского языка и словесности имп. Акад. наук», 1913, т. 18, кн. 2, стр. 186 и сл.).

[4] В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VIII, М., 1955, стр. 618.

[5] Там же, стр. 631.

произведения: так умел Кантемир применить их к быту и потребностям русского общества!.. Короче: подражая Горацию и Буало, Кантемир до того обрусил их в своих сатирах, что аббат Гуаско не усомнился перевести их на французский язык, как произведения, которые для французов могли иметь всю прелесть оригинальности. И вот в чем состоит великая заслуга Кантемира не только перед русским языком или русскою литературой, но и перед русским обществом своего времени».[6]

Чувство национальной гордости было сильно развито у Кантемира, прожившего большую часть сознательной жизни на Западе. И свою дипломатическую службу, и свои приобретшие значение подвига литературные труды, и свою просветительскую деятельность Кантемир всегда ставил в связь с будущностью России, с судьбой русской культуры.

Отвечая на одно из многих поручений президента Петербургской Академии наук Корфа, в письме к нему от 25 марта 1735 г. Кантемир писал: «Я тем с большим удовольствием берусь исполнить ваше поручение, что оно касается успеха наук в России. Будьте уверены, что я всегда почту за истинное счастье служить для пользы нашей Академии».[7]

Оставшись на долгое время разобщенным с родиной территориально, Кантемир знал, видел и чувствовал русскую жизнь лучше многих своих современников, никогда не покидавших Россию. Представления и впечатления Кантемира о русской жизни обогащались и обновлялись встречами с приезжавшими из России соотечественниками, а также постоянной перепиской с русскими людьми. Одним из деятельнейших русских корреспондентов А. Кантемира была его сестра Мария Димитриевна Кантемир, письма которой к брату наполнены самыми разнообразными описаниями русской жизни: от сообщений о пожарах и свадьбах до сведений о жизни крепостных крестьян.[8]

---

[6] Там же, стр. 631—632.

[7] В. Я. Стоюнин. Кн. Антиох Кантемир в Лондоне. «Вестник Европы», 1867, июнь, стр. 103.

[8] И. И. Шимко. Новые данные к биографии кн. А. Д. Кантемира и его ближайших родственников. СПб., 1891, стр. 41, 57 и сл.

В письмах А. Д. Кантемира к сестре, свободных от всякой принужденности и официального тона, писатель неоднократно высказывал тоску по родине: «Мне всегда хотелось побывать когда-нибудь в Париже, — писал Кантемир сестре 5 апреля (н. ст.) 1740 г., — теперь я здесь, пользуюсь всевозможными удобствами жизни, но тем не менее не дождусь часа, когда я выберусь отсюда».[9]

Любовь к России определяла и двигала разностороннюю деятельность Кантемира на Западе.

Государственная деятельность Петра I, равно как и сама личность русского императора были предметом постоянной гордости и восхищения Кантемира в его общении с представителями западноевропейской культуры. Не случайно биограф русского писателя-просветителя О. Гуаско называл его «ревностным пропагандистом установлений Петра Великого».[10]

В письме своем к мадам Монконсель от 21 января 1737 г. Кантемир писал: «...я считаю уместным тысячу раз поблагодарить Вас за Ваши взгляды о нашем императоре Петре Великом. Если бы мертвые могли слышать то, что говорят о них живые, и если бы этот государь Вас знал, он сумел бы убедить Вас в своем праве на Вашу дружбу и на Ваши похвалы. Мы, русские, имев счастье быть хоть однажды его подданными, не способны на меньшее, как чтить его память за то, что он извлек нас из постыдной тьмы и вывел на дорогу славы...».[11]

Идеализацию личности Петра I у Кантемира нельзя рассматривать как оправдание принципов самодержавной власти. В связи с этим укажем на необычайно любопытный и не отмеченный пока в нашей литературе факт. В «Письмах о России» Ф. Альгаротти сообщает, что Кантемир называл свободу «небесной богиней, которая делает приятными и смеющимися пустыни и скалы стран, где она благоволит обитать».[12] Мировоззрение и

---

[9] Там же, стр. 105.

[10] «Un propagateur zélé de établissements de Pierre le Grand». Satyres du prince Cantemir, trad. du russe en français avec l'histoire de sa vie. Londres, 1750, p. CXXI.

[11] Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира. СПб., 1903, стр. 71.

[12] «...libertà... quella celeste Dea, che secondo il loro poeta ministre di stato, rende ameni, e ridenti i deserti, e le rocce de paesi, ov'ella degna abitare» (Opere del conte Algarotti, t. V. Livorno, 1764, p. 48, «Viaggi in Russia»).

политические взгляды Кантемира не были, разумеется, свободны от противоречий, однако свободолюбие и народолюбие Кантемира — факты не менее несомненные, чем его восхищение деятельностью и личностью первого русского императора.

В дальнейшем мы еще остановимся на фактах, свидетельствующих о том, что распространение правильных представлений о русском императоре и его преобразованиях Кантемир считал своей почетной и серьезнейшей обязанностью.

Аббат Гуаско в биографии Кантемира сообщает, что в замыслы русского сатирика входило написать историю России и что он собирал материалы для подобного труда.[13]

Состав русских и относящихся к России иностранных книг в парижской библиотеке Кантемира, проявляемая им в переписке заинтересованность в русских изданиях позволяют нам отнестись с полным доверием к упомянутому утверждению Гуаско. Более того, можно высказать предположение, что атмосфера «худой славы о России», которую так настойчиво создавала тогда стоявшая на службе у политических врагов России европейская печать, должна была наталкивать Кантемира на мысль о важности основанного на достоверных источниках очерка русской истории.

Но если Кантемир и не успел написать задуманной им истории России, то он успел сделать очень многое для объективного освещения перед европейской общественностью отдельных сторон русской жизни и отдельных вопросов русской истории. Авторитет Кантемира в этом смысле был велик. Для многих деятелей Западной Европы он был единственным источником правильной информации о русских делах. «Мне сообщают, что в настоящее время Россия населена в 30 раз реже, чем это было 700—800 лет тому назад», — писал в письме от 13 марта 1739 г. Кантемиру Вольтер и просил его ответить, правда ли это.[14]

Упомянутый уже нами Ф. Альгаротти, возвратившись из поездки в Россию, писал Кантемиру: «Горе мне,

---

[13] Satyres du prince Cantemir. . ., p. CXXVII.

[14] Oeuvres complètes de Voltaire, Nouvelle édition, t. 35, Paris, 1830, p. 211.

если бы я был сейчас во Франции! Сколько вопросов было бы мне задано! Тех важных вопросов, которые, несомненно, хорошо известны вашему превосходительству».[15]

А. Кантемир привлекал внимание деятелей западноевропейской культуры не только как источник достоверного познания России. Личность самого Кантемира служила для них воплощением петровских преобразований и возбуждала к себе повышенный интерес, нередко смешанный с любопытством. В 1765 г. автор французской «Петриады» Антуан-Леонар Тома не без оснований мог писать И. И. Шувалову: «Одного личного знакомства с Вами, милостивый государь, уже достаточно, чтобы признать этот переворот (реформы Петра I, — *Ф. П.*) изумительным».[16] С подобной похвалой, и с гораздо большими при этом основаниями, могли обращаться и действительно обращались представители Запада к Антиоху Кантемиру. Ф. Альгаротти, совершив поездку в Россию, сообщал ему из Лондона: «Находятся люди, которые полагают, что мои рассказы о России несколько походят на те чудеса, которыми путешественники приправляют описания своих странствий. И я показываю этим скептикам письмо вашего превосходительства, чтобы отстоять свои положения».[17]

При самой сдержанной оценке дифирамбов, произнесенных представителями Запада по адресу Антиоха Кантемира, во многих из них можно найти выражение искреннего восхищения личностью русского писателя-«министра». Приведем здесь один пример — стихи дипломатического представителя Тосканы в Лондоне поэта Винченцио Пуччи, написанные в форме застольной песни. Получив известие о победах русских войск над турками в 1739 г., Пуччи поздравлял Кантемира следующими стихами:

Poi vi dirò gue la Vostra Salute
Con badiali bevute
Di vini generosi

---

[15] Письмо Ф. Альгаротти к А. Кантемиру от 9 октября 1739 г. ГПБ, Собрание автографов, переплет № 148, л. 28.

[16] «Литературное наследство», т. 29—30, М., 1937, стр. 276.

[17] Письмо Ф. Альгаротти к А. Кантемиру от 19 декабря 1739 г. ГПБ, Собрание автографов, переплет № 148, л. 26.

Sfumanti, et odorosi
Gallici, Ispani, Ungheri, Greci e Italiani
In colmi e largi Galici
Nel Club Ministerial va sempre in giro;
Ed io che molto spesso
Godo d'esservi amesso
Grido a voce alta, e viva Cantemiro
Si, viva Cantemiro!
Della Fraternità L'Eco risponde:
Della Senna alle Sponde
Itene o Versi, e umil perdon chiedete
D'esser si sconci, a chi d'avanti andrete.[18]

В исследовательских работах о жизни и деятельности А. Кантемира никогда еще не ставился вопрос о воздействии русского писателя-просветителя на общественное и литературное сознание Запада, и в особенности Франции, где Кантемир провел последние шесть лет своей жизни. Не нашла нужным поставить этот вопрос и Марсель Эрар, автор вышедшей в 1938 г. работы, специально посвященной пребыванию А. Кантемира в Париже.[19] А между тем без уяснения этого давно назревшего вопроса нельзя нарисовать себе даже элементарную картину возникновения международной известности русской культуры и литературы.

Для первой половины XVIII в. на Западе характерен необыкновенный рост внимания к России и к личности Петра I. Вокруг имени первого российского императора создавались легенды. Каждый русский, попадавший в Западную Европу, и в особенности во Францию, вызывал к себе широкий интерес иностранцев. Так, например, во французской литературе XVIII в. нашло отражение пребывание при Версальском дворе русского посла

[18] Затем я скажу вам, что тосты и обильные выпивки за ваше здоровье из полных и огромных чаш крепких пенистых и ароматных вин, французских, испанских, венгерских, греческих и итальянских, — постоянно в ходу в дипломатическом клубе и что я, очень часто наслаждаясь пребыванием там, громким голосом кричу: «Да здравствует Кантемир, да, да здравствует Кантемир!». Братское эхо отвечает: «До берегов Сены неситесь, стихи, и у того, перед кем вы предстанете, смиренно просите прощения за свой безобразный вид» (стихотворение В. Пуччи, адресованное Кантемиру, Лондон, 19 февраля 1739 г. — ГПБ, Собрание автографов, переплет № 148, л. 38).

[19] M. Ehrhard. Le prince Cantemir à Paris. Lion, 1938.

кн. Бориса Ивановича Куракина.[20] Мы узнаем также, что такой далекий от литературных интересов русский дипломатический представитель, каким был кн. И. А. Щербатов, был знаком с французским литератором Жаном Руссе, написавшим под именем Ивана Нестураного широко известные «Мемуары о царствовании Петра Великого» (Гаага и Амстердам, 1725—1726) и ряд других работ по истории России.[21]

Но если пребывание на Западе кн. Б. И. Куракина и кн. И. А. Щербатова не осталось бесследным для французской литературы первой половины XVIII в., то неизмеримо большее значение должно было иметь для нее долголетнее пребывание в Париже А. Д. Кантемира.

Русский писатель и полномочный министр был незаурядным для своего времени знатоком литератур древнего мира и современного ему Запада. Он рассматривал к тому же литературную деятельность как свое призвание. «По прибытии в Париж, — рассказывает о Кантемире Гуаско, — он не пренебрег ничем, что могло бы сблизить его с литературной средой страны».[22]

Уже ко времени своего приезда в Париж (1738) А. Кантемир пользовался известностью писателя с большими литературными заслугами. Переводы отдельных сатир русского писателя, вероятно, начали появляться задолго до 1749 г., когда Октавианом Гуаско был издан в Лондоне полный их перевод на французский язык. Известно, что еще в 1733 г. секретарь русского посольства в Константинополе А. А. Вешняков, вероятно, по настоятельному требованию (à très fortes sollicitations) одного из своих французских знакомых, сделал прозаический перевод первой сатиры Кантемира на французский язык.[23] Желание получить представление о творчестве первого русского поэта, на которое поторопился незамедлительно откликнуться А. А. Вешняков, несомненно, не-

---

[20] Здесь мы имеем в виду изданный в 1737 г. в Льеже полуанонимный роман «La bergère russienne ou aventures de la Princesse Dengudeski. Traduit du Moscovit par Monsieur M.», один из героев которого имеет прототипом кн. Б. И. Куракина.

[21] Письмо кн. И. А. Щербатова к гр. А. И. Остерману от 21 августа 1739 г. ГПБ, Эрмитажное собрание, переплет № 123/8, стр. 69.

[22] Satyres du prince Cantemir. . ., p. XCI.

[23] Письмо А. А. Вешнякова к А. Кантемиру от 21 мая 1733 г. (Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира, стр. 21).

однократно возникало среди французских знакомых Кантемира уже в начальный период пребывания последнего в Париже.

Вероятно также и то, что поэтическое творчество Кантемира на французском языке было и длительным, и многообразным, и уж во всяком случае не ограничивается теми двумя стихотворениями, которые напечатал Блен де Сенмор в своем сборнике.[24]

Не меньшей заслугой А. Кантемира перед западной культурой была также изданная благодаря его заботам сперва в английском (1734), а затем и во французском переводе (1743) «Оттоманская история» Димитрия Кантемира.[25]

В Англии книга Д. Кантемира получила довольно широкое распространение. В одном только списке заблаговременно подписавшихся на издание, приложенном к английскому переводу «Оттоманской истории», значится 183 лица. Многие из них занимали видное место в политической и культурной жизни Англии.

А. Кантемир выступал не только в роли издателя книги своего отца. Его участие в переводах книги, в особенности в переводе ее на французский язык, не вызывает никаких сомнений. Из переписки Кантемира известно, что еще в 1736 г. он предпринял первую попытку добиться осуществления перевода «Оттоманской истории» на французский язык. Когда перевод книги, предпринятый Жаном Руссе, показался А. Кантемиру малонадежным, он сохранил за собой право найти нового переводчика для «Оттоманской истории» и нашел его в лице Жонкьера. Французский перевод книги Д. Кантемира существенно отличается от английского, хотя и сделан с последнего. И в предисловии переводчика, и в словаре не-

---

[24] О поэтическом творчестве А. Кантемира на французском языке см.: G. Lozinsky. Le prince A. Cantemir, poète français. «Revues des Etudes slaves», 1925, t. 15, pp. 238—243.

[25] The History of the Growth and Decay of the Othman Empire. Written originally in Latin by Demetrius Cantemir, late Prince of Moldavia. Translated into English from the author's own manuscript by N. Tindal, M. A. Vicar of Great Waltham in Essex. London, 1734; Histoire de l'Empire Othoman, où se voyent les causes de son agrandissement et de sa décadence, avec les notes très instructives. Par S. a. S. Demetrius Cantemir, prince de Moldavie, vv. I, II. Traduite en français par M. de Joncquières, commandeur, chanoine regulier de l'Ordre Hospitalier du Saint Esprit de Montpellier. Paris, 1743.

понятных слов, и в предметном указателе к книге можно предполагать участие А. Кантемира. Более чем вероятно, наконец, и то, что жизнеописание Кантемира-отца, которое дано в виде дополнения к английскому и французскому переводам «Оттоманской истории», написано Кантемиром-сыном. Только ему были известны многие факты из истории рода Кантемиров, упомянутые в жизнеописании. Кстати сказать, названное жизнеописание почти полностью вошло в статью о Д. Кантемире в дополнительном томе к словарю Л. Морери, вышедшему в свет в 1749 г., где предполагаемым автором жизнеописания назван Антиох Кантемир.[26]

Выяснению различных вопросов, связанных с французскими знакомствами А. Кантемира и с воздействием его на современную ему французскую литературу, и посвящается настоящая статья.

Должен оговориться вначале, что я далек от намерения дать полное освещение названных мною вопросов. Я попытаюсь выяснить их лишь на небольшом по объему материале — на нескольких неопубликованных письмах к Кантемиру его французских корреспондентов, а также на нескольких не вошедших еще в научный оборот фактах, связанных с пребыванием Кантемира в Париже.[27]

* * *

Упомянутые письма к А. Кантемиру его французских знакомых находятся в нескольких переплетах общего собрания автографов Государственной Публичной библиотеки в Ленинграде, и главным образом в переплете № 139, который носит далеко не соответствующее содержанию название: «Письма-автографы французских ученых». В переплете № 139 есть, кстати сказать, и давно ставшие известными два письма к Кантемиру

---

[26] Nouveau Supplément au Grand Dictionnaire historique, généalogique et géographique de M. Louis Moreri pour servir à la dernière édition de 1732 et aux précédentes, t. I (A—G). Paris, 1749, pp. 222—223.

[27] Ряд ценных писем, адресованных Антиоху Кантемиру его зарубежными, особенно немецкими, корреспондентами, опубликован в кн.: Helmut G r a s s h o f f. A. D. Kantemir und Westeuropa. Berlin, 1966.

Вольтера. Эти письма впервые опубликованы во французском журнале «Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire» (1860, 14 série, p. 1120 et al.), откуда, очевидно, попали они в книгу Л. Н. Майкова «Материалы для биографии Кантемира». Остальные же письма французских корреспондентов к русскому писателю-просветителю, обнаруженные нами в общем собрании автографов ГПБ, в книгу Майкова не вошли, хотя научный интерес некоторых из них гораздо значительнее многих писем, нашедших место в «Материалах для биографии Кантемира». Возможно, опубликованию названных писем помешала преждевременная смерть Л. Н. Майкова, возможно, эти письма не привлекли его внимания потому, что ни на одном из них не сохранилось полного наименования адресата. Однако соображения, которые ниже будут изложены по отношению к каждому письму особо, не оставляют у нас никаких сомнений в том, что письма, о которых будет идти речь, были адресованы Антиоху Кантемиру.

Первое из них по времени написания принадлежит кардиналу Мельхиору де Полиньяку (1661—1742). Приводим полностью его текст:

Перевод

Париж, 14 февраля 1738 г.

Как я благодарен вам, милостивый государь, за письмо, которое ваше превосходительство соблаговолило мне написать 23 числа истекшего месяца! Если бы я и не смог узнать себя в чрезвычайно лестном портрете, который вы набросали в нем с меня, я все равно признал бы в нем ту исключительную вежливость, не один пример которой вы уже мне дали.

Мне также приятно думать, что вы соблаговолили отличить меня совершенно особым чувством и что вы считаете долгом с своей стороны ответить на то бесконечное уважение, которое вы мне внушили: оно таково, что мне вам трудно его выразить; г-жа де Монконсель, которая заслуживает вашего уважения, равно как и уважения всех честных людей, могла бы быть моим поручителем перед вами, если бы у меня, милостивый государь, была необходимость убеждать вас в моих чувствах, источником и объектом которых являетесь вы сами.

Я был бы рад узнать о выздоровлении ваших глаз и надеюсь, что правильные средства, которыми вы пользуетесь, принесут, наконец, полное выздоровление. Я понимаю также, что вы не в состоянии утруждать себя чрезмерно, особенно сейчас, после болезни, и я настоятельно прошу вас остерегаться в будущем пи-

сать мне собственной рукой.[28] Если же для того, чтобы предоставить вам в этом отношении свободу действий, вам нужно дать пример, то вы видите его перед собою, и я выполняю его с благодарностью.[29] Мелкие формальности должны быть изгнаны из отношений, которые, подобно нашим, основаны на взаимном влечении и доверии; такие отношения не допускают ничего иного, и я даю обет вкладывать в них только искренние чувства, с которыми и остаюсь, милостивый государь, преданный вашему превосходительству более, чем кто-либо в мире.

Кардинал Полиньяк.[30]

Приведенное письмо кардинала Мельхиора де Полиньяка написано в то время, когда А. Кантемир еще продолжал дипломатическую службу в Лондоне. Несомненно, что русский посланник познакомился с французским кардиналом летом 1736 г., во время длившейся не более месяца поездки в Париж. Несомненно и то, что знакомство А. Кантемира с Мельхиором де Полиньяком произошло не без участия маркизы Монконсель, у которой были давние знакомства с дипломатическими кругами Лондона и которая, находясь с лета 1736 г. в деятельной переписке с Кантемиром, была вместе с тем очень близкой знакомой, а впоследствии и родственницей кардинала Полиньяка.

В 1738 г. Мельхиору де Полиньяку было 76 лет, и за его плечами лежал длинный путь государственной деятельности. Еще в 1693 г., в качестве чрезвычайного французского посла в Польше, Полиньяк добивался избрания польским королем принца Конти, в 1712—1713 гг. он один из самых влиятельных участников Утрехтского конгресса, а в 1724 г. он заседает в конклаве, избравшем на папский престол Бенедикта XIII. На протяжении долгих лет кардинал Полиньяк был необычайно влиятельной фигурой в дипломатическом мире Европы.

В 1736 г., когда произошло знакомство Кантемира с Полиньяком, слава последнего заметно померкла, само-

---

[28] В письме своем к Гроссу от 18 июня 1736 г. Кантемир писал: «Болезнь глаз моих понуждает меня употреблять чужую руку, ответствуя на почтенные ваши два письма» (Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира, стр. 47). Указание на болезнь глаз адресата, а также упоминание имени маркизы Монконсель, парижской знакомой Кантемира, служат, на наш взгляд, достаточным подтверждением того, что публикуемое письмо адресовано А. Кантемиру.

[29] Приводимое письмо написано рукой секретаря; на это и намекает здесь кардинал Полиньяк.

[30] ГПБ, Собрание автографов, переплет № 139, л. 195.

стоятельной роли как дипломат он уже не играл, и в церемонном тоне его письма к Кантемиру вряд ли можно подозревать скрытое желание использовать возникшее знакомство в личных целях.

Трудно представить, однако, чтобы между 76-летним кардиналом и 27-летним русским дипломатом существовала какая-либо значительная общность склонностей и взглядов. Но одно несомненно: в 1736 г. Мельхиор де Полиньяк приложил какие-то особые усилия для того, чтобы оставить у А. Кантемира наилучшие воспоминания о Париже. Весьма возможно, что кардинал ввел русского посланника в круг своих обширных и влиятельных знакомств. В примечаниях к книге Л. Н. Майкова проф. Александренко приводит небольшой отрывок оставшегося ненапечатанным и датированного 1736 годом письма Кантемира к Полиньяку: «Мой долг требует от меня, чтобы я повторил в этом письме мою глубокую благодарность за всю доброту и любезность, которыми ваше превосходительство почтило меня во время моего пребывания в Париже».[31]

Если судить по письмам А. Кантемира к г-же Монконсель, между кардиналом Полиньяком и русским посланником существовала переписка, длившаяся около двух лет и до нас почти не дошедшая.

Прибыв в 1738 г. в Париж, Кантемир, как можно догадаться, не посчитал нужным сообщить о своем приезде кардиналу Полиньяку. И когда г-жа Монконсель попыталась попрекнуть своего русского знакомого за недостаток внимания к старику-кардиналу, Кантемир вынужден был прибегнуть к малоубедительному оправданию: «Я очень удивлен, что мое письмо к кардиналу де Полиньяку им не получено: если это произошло по злому умыслу почтовых чиновников, то они не заслуживают извинения, как не заслужил бы его я, если бы по моем возвращении из Парижа я пренебрег бы долгом оказать ему знаки признательности за всю ту любезность, которую он мне столь щедро оказал».[32]

В момент приезда А. Кантемира в Париж на постоянную дипломатическую службу Мельхиор де Полиньяк

---

[31] Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира, стр. 329.

[32] Там же, стр. 124.

был одним из немногих парижских знакомых русского посланника. Явное желание уклониться от встречи с кардиналом могло бы показаться очень странным, если бы нам не было известно, что свой приезд в Париж в 1738 г. Кантемир хотел окружить тайной и что положение его как дипломата в то время было весьма неопределенным и двусмысленным.

Знакомство с кардиналом де Полиньяком затрагивало не только дипломатические, но и литературные интересы Кантемира. В годы своей молодости, в конце царствования Людовика XIV, Мельхиор де Полиньяк был посетителем литературных салонов, где собирались современники Корнеля, Расина и Мольера. Молодой Полиньяк успел обратить на себя внимание мадам де Севинье, которая сообщала о нем в письме к Куланже от 18 марта 1690 г.: «Я нахожу, что вы должны быть счастливы тем, что имеете в своем обществе аббата Полиньяка. Это один из светских людей, чей характер весьма приятен: он знает все, он говорит обо всем, он весь — ласковость, живость, любезность, которые так приятны в общении».[33]

С 1704 г. кардинал Полиньяк состоял членом Французской академии, заняв в ней место умершего Боссюэ; в 1736 г. Монтескье, трудясь над укреплением Бордоской академии, должен был обращаться к высокому покровительству Мельхиора де Полиньяка.[34] Связи кардинала с парижским ученым и литературным миром были необычайно обширны, и, возможно, какой-то долей широкой и быстро пришедшей известности в Париже Кантемир был обязан доживавшему свой век кардиналу.

Приблизительно в то время, когда Кантемир познакомился с Полиньяком, последний работал над созданием «Анти-Лукреция», дидактической поэмы на латинском языке, направленной против материализма XVIII в. Эта поэма доставила ему как писателю широкую известность и удостоилась похвалы Вольтера в «Храме вкуса».

Находясь в Лондоне, Кантемир следил за созданием «Анти-Лукреция». В письме к г-же Монконсель от 25 мая 1738 г. он писал: «Я прошу вас, мадам, уверить его преосвященство, что я весьма тронут знаками его доброты

---

[33] Lettres de Madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis, t. 9. Paris, 1818, p. 375.

[34] Louis V i a n. Histoire de Montesquieu. Paris, 1878, p. 44.

ко мне и с нетерпением буду ждать дня, когда его труд будет завершен: проклятие процессам, которые так безжалостно отнимают у него время, ибо, насколько я могу судить, „Анти-Лукреций“ есть произведение столько же ученое, сколько и привлекательное, равно как и та книга, которую он критикует».[35]

Кардинал Полиньяк умер в 1742 г. на 82-м году жизни. Двухтомное издание его «Анти-Лукреция» появилось только в 1745 г.[36] Но еще при жизни кардинала Полиньяка отдельные части его поэмы в рукописном виде были широко распространены в литературных кружках и салонах Парижа. Поэма кардинала Полиньяка была, несомненно, хорошо известна А. Кантемиру. Цитированное выше письмо Кантемира к г-же Монконсель свидетельствует о повышенном интересе русского автора не только к материалистическому трактату Лукреция, но и к материалистической философии XVIII века в целом. Заметим здесь же, что трактат Лукреция был представлен в парижской библиотеке Кантемира тремя различными изданиями. Отношение русского просветителя к философскому материализму отличалось крайней противоречивостью. Известно, что в «Письмах о природе и человеке», а также в первой редакции III сатиры Кантемир выступал с возражениями против атомистической теории Эпикура. Однако то обстоятельство, что во второй редакции II сатиры Кантемир изъял портрет «проклятого безбожника» и относящееся к нему примечание, позволяет предполагать, что в своем отношении к Лукрецию Кантемир расходился с мнениями кардинала Полиньяка.

За пределы литературы в строгом смысле слова выходит и второе письмо к Кантемиру, на котором мы остановим внимание читателя. Оно написано в Белаке, провинциальном городе Франции, лицом, которое не принадлежало к литературным кругам, но которое, несомненно, было хорошо осведомлено не только о дипломатической, но и о литературной известности Кантемира.

---

[35] Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира, стр. 105.

[36] В 1749 г. «Анти-Лукрецкий» был издан во французском переводе, в 1767 г. появился перевод поэмы Полиньяка на итальянский язык, намного раньше, в 1760 г., вышел немецкий перевод «Анти-Лукреция», с этого немецкого перевода был сделан русский перевод поэмы Полиньяка, напечатанный в Москве в 1803 г.

Перевод

Высокочтимый государь!

Смерть августейшей императрицы России, вашей славной самодержицы, в цветущем возрасте, после того как в силу своей мудрости и высокой ясности своего обширного гения она свершила все то, что едва осмеливаются предпринимать самые великие завоеватели и самые искушенные политики, есть одно из тех знаменательных событий, которые всенепременно обязывают всех ораторов, всех историков и всех поэтов произнести на всех языках и во всех литературных жанрах надгробное слово достоинствам и цветущему царствованию этой августейшей особы, ибо со времени восшествия ее на престол каждый день был ознаменован каким-либо проявлением любви или справедливости по отношению к тем, которых доверило ей провидение; ее постоянно побеждающие армии, ее заботы, направленные на расширение и покровительство торговли, университеты и школы, учрежденные ею с тем, чтобы воспитать юношество и затем избрать из него подданных, достойных для несения государственных должностей, ее награды, распределяемые соответственно трудам и заслугам, будут вечным памятником для воспитания потомков в духе любви, которую должны иметь государи к своим подданным, и их подданных — в духе уважения и безграничной верности, которую они должны питать к своим государям. Множество героических деяний этой августейшей самодержицы вызывало во мне постоянное восхищение, и я осмелюсь разрешить себе отправить вашему превосходительству надгробное слово, продиктованное мне моей слабой музой, и в то же время осмеливаюсь посвятить его ее царскому высочеству принцессе Анне Московской, достойнейшей матери августейшего ныне правящего царя, и остаюсь с глубочайшим уважением вашего, высокочтимый государь, превосходительства смиреннейший и покорнейший слуга Галлишер, советник королевского суда Нижнего Лимузина в Белаке.

В Белаке

20 декабря 1740 г.[37]

Приложенное к письму надгробное слово в стихах особыми художественными достоинствами не отличается и представляет собой попытку передать содержание письма в поэтической форме.

Письмо и стихи Галлишера представляют для нас интерес не только как вышедший из французской провинции отклик на события русской жизни, но и как возможный косвенный результат дипломатической деятельности Кантемира во Франции (очевидно, французский чиновник-виршеплет считал нужным подольститься к Кантемиру).

---

[37] ГПБ, Собрание автографов, переплет № 139, лл. 116—118.

Третье письмо из переплета № 139, на котором мы остановимся, также не имеет прямого отношения к литературной деятельности Кантемира. Письмо это написано русскому дипломату кардиналом де Флери.

Кардинал де Флери обладал гораздо большей властью, чем сам Людовик XV, при котором он состоял главою правительства. Ставленник высшего духовенства, кардинал де Флери на протяжении нескольких десятилетий неуклонно проводил реакционную внутреннюю политику и вершил судьбу не только Франции, но и тех государств, которые были в какой-либо зависимости от власти французского двора.

Возросшее могущество России и ее влияние на политику северных стран для кардинала Флери было причиной серьезных забот и беспокойства. В борьбе с влиянием русского двора кардинал не стеснялся в средствах. Естественно, что его отношение к русскому полномочному министру также не могло быть доброжелательным. В скором времени после прибытия А. Кантемира в Париж усилиями кардинала Флери над ним был учрежден тайный надзор. Впрочем, во внешнем проявлении отношения кардинала к русскому дипломатическому представителю принимали необычайно любезный и церемонный характер.

Еще до вступления в должность полномочного министра Кантемир получил инструкцию от русского двора, в которой молодому дипломату предписывалось «высказать кардиналу Де-флерию много лести» и «засвидетельствовать особливое почтение к его персоне и великим меритам и достойно заслуженной от всего света знатной славе».[38]

Достаточно искушенный в тонкостях дипломатической борьбы, Кантемир знал истинную цену любезностям кардинала. Даже во время прогулок по улицам Парижа, согласно донесениям французских полицейских агентов, Кантемир нередко брал с собой слугу, который шествовал за ним следом и часто оглядывался назад.[39] Вместе с тем при случае Кантемир не забывал также оказывать «особливое почтение» кардиналу, и «персона» последнего в виде

---

[38] В. Я. Стоюнин. Антиох Кантемир в Париже. «Вестник Европы», 1880, № 8, стр. 578.

[39] В. Н. Александренко. Русские дипломатические агенты..., т. I, стр. 371.

большого и роскошно обрамленного портрета висела в приемной князя А. Д. Кантемира на улице Св. Доминика в Отель д'Овернь рядом с портретом Анны Иоанновны.

Донесения русскому двору и частная переписка Кантемира наглядно показывают, как много места в его сознании занимали личность Андре Эркюля де Флери, этого, выражаясь кантемировским языком, «не гораздо простого министра».

Прося императрицу остерегаться хитростей кардинальских, Кантемир писал: «Изъясняется он обыкновенно темными экспрессиями, и часто двух дней разговоры один другому противен; желал бы он так в словах, как в поступках своих являться чистосердечным; но часто к тому такой способ употребляет, что хитрость весьма гола становится».[40]

«Темными экспрессиями» наполнено и упомянутое нами письмо кардинала де Флери, адресованное, на наш взгляд, А. Кантемиру.

Перевод

Исси, 15 ноября 1740 г.

Я никогда не ожидал, милостивый государь, получить столь печальную весть, какую ваше превосходительство имело честь мне сообщить. Выражая вам свое самое искреннее соболезнование в этом, я от всего сердца разделяю вашу подлинную скорбь. Пламя божьего гнева, кажется, все более и более разгорается над Европой, не предвещая ничего, кроме самых зловещих событий. Ваше превосходительство знает мои чувства и согласится с тем, что я желаю справедливости в том, куда обращены в данный момент мои чувства. С глубокою благодарностью за ваше внимание прошу вас быть уверенным в неукоснительности, с которой я выполняю мой почетный долг.

Кардинал де Флери.[41]

Несмотря на то что приведенное письмо кардинала Флери написано в выражениях весьма туманных и осторожных, не представляет большого труда установить, кому было адресовано письмо и по какому поводу было оно написано. Письмо носит деловой, официальный характер. Такое письмо глава правительства Флери мог написать

---

[40] В. Я. Стоюнин. Кн. Антиох Кантемир в Лондоне, стр. 585.

[41] Письмо кардинала де Флери к неустановленному лицу от 15 ноября 1740 г. ГПБ, Собрание автографов, переплет № 139, л. 105.

только иностранцу, столь же ответственному за политическое состояние Европы. Неприятным известием, потребовавшим от руководителя государства выражения соболезнования и одновременно с этим политических заверений, могло быть только сообщение о смерти какого-либо видного представителя государственной власти. Другими словами, приведенное письмо кардинала Флери могло быть откликом на сообщение о смерти императора Карла VI, умершего 20 октября (н. ст.) 1740 г., или же на сообщение о смерти русской императрицы Анны Иоанновны 28 октября (н. ст.) того же года. Откликаясь на смерть названных царственных особ, один из английских журналов писал, что эти два события внесут затруднения в ход европейских дел, если только не преобразуют совершенно лицо Европы.[42] В Париже о смерти императора Карла VI узнали не позднее первых чисел ноября 1740 г.[43] Названное письмо кардинала де Флери датировано 15 ноября 1740 г. Трудно поэтому допустить, что «неукоснительно выполняющий государственный долг» кардинал на официальное сообщение о смерти германского императора откликнулся с двухнедельным опозданием. Кроме того, кардинал де Флери пишет, что «от всего сердца разделяет подлинную скорбь» адресата. Таким образом, поводом письма де Флери могла быть только смерть русской императрицы Анны Иоанновны.

Нет никаких сомнений в том, что адресатом приведенного выше письма кардинала Флери был русский полномочный министр при французском дворе А. Д. Кантемир.

Растерянность в политических сферах, вызванная смертью Карла VI и Анны Иоанновны, не могла не волновать и А. Д. Кантемира. В письме к кн. И. А. Щербатову от 15 ноября (н. ст.) 1740 г., касаясь смерти Карла VI и своей в связи с этим беседы с кардиналом де Флери, Кантемир писал: «Господин кардинал мне самому объявил, что его королевское величество свято выполнит все свои обязательства. . .».[44] А в приписке к названному письму Кантемир сообщал: «При заключении сего получаю еще

---

[42] «The London Magazine», 1740, The preface and p. 511.

[43] Бумаги кн. И. А. Щербатова. ГПБ, Эрмитажное собрание, переплет № 123/11, л. 109.

[44] А. Д. Кантемир, Сочинения, письма и избранные переводы, т. II, Вступительная статья и примечания В. Я. Стоюнина. Ред. П. А. Ефремова, СПб., 1868, стр. 315.

злейшую ведомость, чем та, с которою письмо начато. Бог нас наказует и чуть ли с нами не на всю Европу руку свою отягчает».[45]

Образ Европы, горящей в пламени божьего гнева, употребленный в цитированном письме, напоминает манеру кардинала выражать свои мысли.[46] Образ этот заставляет вспомнить одно из донесений русскому двору, в котором Кантемир, касаясь личности кардинала де Флери, писал: «Самые французы признают, что он отжил всякий стыд. . . и в бога не верит, несмотря на то, что часто призывает в своих разговорах имя божие».[47]

Приведенное выше письмо кардинала де Флери к Кантемиру не имеет историко-литературного значения, но оно вводит нас в обстановку той насыщенной большими событиями жизни, которая в значительной мере предопределяла направление не только дипломатической, но и литературной деятельности Кантемира.

В переплете № 139, как было уже сказано, находятся также два письма Вольтера к Кантемиру от 13 марта и 19 апреля 1739 г. Опубликованные сперва во Франции (1860), а затем и у нас (1903) без перевода на русский язык, письма Вольтера к Кантемиру не получили широкой известности. Не были также исследованы они с достаточной глубиной и историками литературы.

В характеристике знакомства Кантемира с Вольтером, в оценке наступившего в их отношениях охлаждения до сих пор остается много невыясненного. Французский комментатор писем Вольтера к Кантемиру Ж. Эдуард Гарде утверждает, что русский писатель-министр неоднократно высказывал свое неудовлетворение тем местом из «Истории Карла XII», в котором Вольтер говорил о Д. Кантемире, особенно возражая против утверждения, что Кантемир-отец был грек по происхождению. Русский полномочный министр настаивал на внесении исправления в книгу, и автор якобы согласился удовлетворить это требование. Вольтер будто бы даже вручил русскому писателю и дипломату новую редакцию того места из «Истории Карла XII», в котором говорится о Кантемире-отце, однако оно оказа-

---

[45] Там же, стр. 316.

[46] Обращает на себя внимание совпадение дат писем де Флери к Кантемиру и Кантемира к Щербатову.

[47] В. Я. Стоюнин. Кн. Антиох Кантемир в Лондоне, стр. 610.

лось почему-то не напечатанным в последующем издании «Истории Карла XII».[48]

«Несомненно, — сообщает Эдуард Гарде, — что Кантемир возобновил свои жалобы. Несомненно также, что Вольтер дал новое обязательство внести необходимые исправления в „Историю Карла XII“, но смерть Кантемира помешала осуществить это намерение».

В объяснениях французского исследователя, может быть, и есть доля истины. Вряд ли, однако, причину не вполне дружеских отношений Вольтера с Кантемиром следует искать в чувствах генеалогической чести русского писателя-дипломата. Критическое отношение к Вольтеру наметилось у Кантемира уже в лондонский период его жизни. В письме к г-же Монконсель от 29 ноября 1736 г. Кантемир писал: «Этот автор (Вольтер, — *Ф. П.*) в большинстве своих произведений кажется мне человеком, берущимся писать о вещах, ему самому незнакомых. Его „История Карла XII“ — это роман, а не история, а его „Письма об англичанах“ — это разговоры, подслушанные им в лондонских кафе».[49]

Еще более суровую оценку дал Кантемир Вольтеру в письме к г-же Монконсель от 21 января 1737 г.: «Я получил из Голландии известие, что он (Вольтер, — *Ф. П.*) скоро напишет роман о философии Ньютона, подобно тому, как он написал роман о Карле XII, и что произведение это, как он обещает, будет общедоступным. Философия Ньютона в истолковании Вольтера, которому алгебра, безусловно, незнакома, да еще в общедоступном выражении! Не смешит ли вас, мадам, подобное предложение? Если этот несчастный автор заставляет уноситься армии, не указывая ни путей, ни побудительных причин их действий, то судите после этого, что он сделает, когда пожелает объяснить движение небесных тел! Я боюсь, как бы мы на земле не оказались в опасности!».[50]

В приведенных письмах Кантемир нападает на несерьезный, с его точки зрения, метод работы Вольтера, но не только метод работы, но также категоричность сужде-

---

[48] «Bulletin du Bibliophile et du Bibliothécaire», 1860, 14 série, p. 1121.

[49] Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира, стр. 64.

[50] Там же, стр. 71.

ний Вольтера и его философские и общественные взгляды могли вызвать несогласие Кантемира. Можно высказать предположение, что критическое отношение Кантемира к Вольтеру было продиктовано причинами, во многом аналогичными тем, которые определили расхождения Руссо с Вольтером. Категория разума никогда не выступала у русского просветителя в качестве единственного или абсолютного критерия. Как и для Руссо, человек и его внутренний мир составляли для Кантемира наивысшую ценность. Замечательную характеристику гуманистических взглядов А. Кантемира дает в его биографии Гуаско. Он рассказывает: «Выходя из театра, где он видел какого-то министра, и встретившись со мною, он сказал: — Я не понимаю, как можно спокойно отправиться в театр, подписав смертный приговор сотням тысяч человек. — Тогда только что была объявлена война».[51]

Подобно Руссо, Кантемир относился безразлично к вопросам метафизики и философским концепциям, оторванным от вопросов нравственных. И в сатирах, и в «Письмах о природе и человеке» Кантемир выступает перед нами не простым поборником разума, а искателем «кореня самыя правды», или, выражаясь словами Белинского, провозвестником для общества «всех благородных чувств, всех высоких понятий».[52]

Несмотря, однако, на сдержанное отношение Кантемира к Вольтеру, последний был заинтересован в сохранении дружеских отношений с русским писателем и полномочным министром. Во всяком случае связи Вольтера с Кантемиром не исчерпываются той незначительной по объему перепиской, которая была опубликована в «Материалах для биографии кн. А. Д. Кантемира» Л. Н. Майкова.

Затрагивая вопрос о взаимоотношениях Вольтера с Кантемиром, следует указать на любопытный и до сих пор не отмеченный в литературе о Кантемире факт: в библиотеке Вольтера, хранящейся в настоящее время в ГПБ под шифром В. V. 2657-3. 109, находятся четыре тома «Сокращенной всеобщей истории» Клода де Лиля, при-

---

[51] Satyres du prince Cantemir..., p. XCIX.

[52] В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. VIII, стр. 624.

надлежавших в свое время А. Д. Кантемиру, как свидетельствуют имеющиеся на них книжные знаки.[53]

В описи парижской библиотеки Кантемира, составленной в 1744 г. его секретарем Гроссом, «Сокращенной всеобщей истории» де Лиля не значится. Приходится предположить, что названное сочинение было получено Вольтером или при жизни Кантемира от него лично, или после его смерти от кого-либо из лиц, близко знавших русского писателя.

Прямое отношение к Кантемиру имеет также и первая попытка Вольтера связаться с русским двором, представление о которой мы получаем по описи парижских бумаг А. Д. Кантемира, составленной после его смерти по поручению русского правительства секретарем Генцельманом. Среди бумаг Кантемира опись указывает: «1) Отворенный пакет с двумя экземплярами автора Вольтера „Принципии Ньютоновы" („Principes de Hewton"), кои он — Вольтер — покойному к пересылке рекомендовал, сиречь один экземпляр и ея величеству всемилостивейшей императрице, а другой в императорскую библиотеку».[54]

Книгой, которую через посредство Кантемира Вольтер пожелал отправить русской императрице, были, как надо полагать, «Eléments de la philosophie de Newton», изданные в 1738 г. К этому или к следующему, 1739, году и относилась, вероятно, попытка Вольтера связаться с русским двором. Мы склонны датировать ее 1739 годом, так как это оправдывается тем соображением, что в 1739 году напутствуемый Кантемиром Франческо Альгаротти пишет «Послание императрице Анне Иоанновне» и после поездки в Россию через посредство А. Кантемира отправляет рус-

---

[53] Точное название упомянутого сочинения: Claude de Lisle. Abrégé de l'histoire universelle. La Haye, Cosse et Neaulme, 1731. До настоящего времени был известен единственный образчик книжного знака А. Д. Кантемира. Он находился в собрании В. К. Лукомского и описан последним в статье «Указатель гербовых книжных знаков» («Труды Ленинградского общества экслибристов», вып. VII—VIII. Л., 1926, стр. 35). Книжные знаки на четырех томиках книги Клода де Лиля из библиотеки Вольтера полностью соответствуют книжному знаку А. Д. Кантемира, описанному В. К. Лукомским. О наличии книжного знака А. Д. Кантемира в библиотеке Вольтера любезно сообщил мне В. А. Бриллиант.

[54] В. Н. Александренко. К биографии кн. А. Д. Кантемира. Варшава, 1896, стр. 10. По объяснению Гросса, под императорской следует понимать Библиотеку Академии наук.

скому двору свои «Dialoghi sopra l'Ottica Neutoniana», над переводом которых А. Кантемир в это время работал.

Вольтер и Альгаротти были связаны узами тесной дружбы, и тот факт, что оба они в одно и то же время занимаются популяризацией учения Ньютона и обращаются с одинаковой просьбой к Кантемиру, конечно, не случаен. Следует думать, однако, что в нашем случае Вольтер шел по стопам Альгаротти, своего ученика, вдохновляемого Кантемиром, который уже в ту пору заинтересовал Вольтера Россией и доставил ему ряд ценных сведений о русском народе, о его жизни, бытии и истории. Знакомство Вольтера с Кантемиром в значительной мере определило объем и характер последующих русских связей великого французского просветителя.

Самостоятельного исследования заслуживает вопрос о чтении и использовании Вольтером «Оттоманской истории» Димитрия Кантемира. В письме к А. Кантемиру от 13 марта 1739 г. находившийся в Сирэ Вольтер писал: «Я многим обязан вашему сиятельству. Вы соблаговолили познакомить меня с несколькими истинами, в которых я был плохо осведомлен... Я читаю в настоящее время „Оттоманскую историю" князя Кантемира, вашего покойного отца, которую я буду иметь честь возвратить вам сразу же после ее прочтения и за которую я не в состоянии отблагодарить вашу светлость в достойной мере... Я нахожу в „Оттоманской истории", написанной кн. Димитрием Кантемиром, то, что я наблюдаю с чувством скорби во всех историях: они суть анналы преступлений человеческого рода».[55]

Следует полагать, что Вольтер получил от А. Кантемира книгу его отца в английском переводе. Возможно и то, что А. Кантемир доверил Вольтеру рукописный экземпляр «Оттоманской истории» на латинском языке. В пользу последнего предположения свидетельствует то обстоятельство, что как в письме от 13 марта, так и в следующем письме к Кантемиру от 19 апреля 1739 г. Вольтер не забывает подчеркнуть, что он помнит о своем обязательстве возвратить взятую книгу сразу же после ее прочтения. Как бы то ни было, обратиться к чтению не изданной еще на французском языке книги без серьезного основания Вольтер не мог. Вольтер говорит в письме

---

[55] Oeuvres complètes de Voltaire, t. 35, p. 211.

к Жан-Батисту де ла Ну от 3 апреля 1739 г.: «... „История Карла XII“ поставила меня в необходимость прочитать несколько исторических сочинений, относящихся к Турции. Среди других я прочитал недавно „Оттоманскую историю“ кн. Кантемира, молдавского господаря (vaivode de Moldavie), написанную в Константинополе».[56]

Касаясь в письме к де ла Ну событий, связанных с жизнью турецкого султана Магомета II, Вольтер указывал, что убийство названным султаном его любовницы Ирины является вымыслом христианских монахов-хроникеров, и рекомендовал убедиться в этом, обратившись к «правдивой „Истории Турции“ Димитрия Кантемира».

Таким образом, Вольтер пользовался «Оттоманской историей» Кантемира-отца при переработке «Истории Карла XII» для нового издания. Но, может быть, обращение Вольтера к труду Димитрия Кантемира было эпизодом кратковременным и случайным? Внимательное знакомство с произведениями Вольтера утверждает нас в обратном мнении. В 1751 г., т. е. через десять с лишним лет после написания письма к де ла Ну, в предисловии к очередному изданию «Истории Карла XII» Вольтер снова упомянул имя Д. Кантемира: «Один греческий и один латинский монах сообщали, что Магомет II предал ограблению весь Константинополь, что он самолично разбил образ Иисуса Христа и что он обратил все церкви в мечети. Чтобы сделать имя победителя еще более отвратительным, они добавляли, что султан, желая доставить удовольствие янычарам, обезглавил свою любовницу и что он заставил вспороть животы четырнадцати своим пажам, чтобы узнать, кто из них съел дыню. Сотни историков повторяют эти жалкие басни; их повторяют европейские словари. Обратитесь к заслуживающим доверия турецким хроникам, собранным князем Кантемиром, и вы увидите, насколько смешны все эти вымыслы».[57]

История Турции, написанная Кантемиром-отцом, для своего времени обладала рядом преимуществ сравнительно с аналогичными трудами европейских авторов. Для «Оттоманской истории» Димитрий Кантемир привлек огромное количество летописных материалов и других документов, взятых им из различных восточных источников и во мно-

---

[56] Там же, стр. 240.
[57] Там же, т. 16, стр. 127.

гом отличных от литературы о Востоке, созданной христианским Западом. Этой особенности книги Д. Кантемира не мог не заметить переводивший ее на французский язык Жонкьер,[58] эта особенность «Оттоманской истории» была своевременно оценена Вольтером.

Трижды упоминает имя Д. Кантемира Вольтер в «Опыте о нравах и духе народов» — сочинении, которое создавалось с 1745 по 1756 г., т. е. уже тогда, когда «Оттоманская история» Кантемира-отца существовала во французском переводе в двух изданиях. Отдавая должное достоверности многих сведений, собранных Д. Кантемиром, Вольтер пытается подойти к ним критически. В главе, посвященной султану Баязету, Вольтер отказывается верить Д. Кантемиру, утверждавшему, что названный султан был обезглавлен его собственным брадобреем زиземом.[59]

Понимая, однако, что в труде Д. Кантемира могли встречаться ошибки, проистекающие от недостоверности использованных источников, Вольтер тем не менее с восхищением отзывался о тех местах в книге Кантемира-отца, где последний выступал как непосредственный участник описываемых событий или их очевидец. «Я признаю, — писал Вольтер, — что Димитрий Кантемир передает немало старых сказок, но он не мог ошибаться, говоря о современных памятниках, которые он видел своими глазами, или об Академии, где он учился».[60]

В «Опыте о нравах и духе народов», в главах, относящихся к истории Турции, Вольтер не только прибегает к труду Д. Кантемира для уточнения отдельных дат, цифр и фактов из истории Турции, но и заимствует из его книги отдельные места и описания. На одном из этих заимствований мы остановимся несколько подробнее, считая его по-

---

[58] «Источники, — писал Жонкьер, — которыми пользовался автор, — местные, т. е. он излагает историю согласно мусульманским авторам и часто прибегает к их выражениям. Было бы неправильно упрекать его за предпочтение, которое он им отдает, так как, осуждая, как он это делает, большинство иностранных авторов, и особенно христианских, он весьма справедливо показывает, что невежество и предрассудки последних были причиной их презрения, а это скорее содействовало затемнению, чем выяснению предмета» (см. предисловие к цитированной выше «Оттоманской истории» Д. Кантемира в переводе Жонкьера, т. I, стр. VIII).

[59] Oeuvres complètes de Voltaire, t. 12, p. 175—176.

[60] Там же, т. 12, стр. 103.

казательным для понимания того, как использовал Вольтер «Оттоманскую историю» Кантемира-отца. Это место касается Христодула, личного архитектора султана Магомета II.

Приводим соответствующее место из книги Кантемира: «Он (Магомет II, — *Ф. П.*) заставил разрушить храм Святых Апостолов и на его месте воздвигнуть большой Джами, названный по его имени Махомеди; чтобы завершить сооружение, он велел пристроить к нему восемь школ и столько же госпиталей. [...] Храм Святых Апостолов воздвигла жена великого Юстиниана. Он (Джами, — *Ф. П.*) выше остальных шести храмов... и считается самым большим храмом в городе после Св. Софии... Грек-христианин Христодул был его архитектором. Рассказывают, что султан в виде награды отдал ему во владение целую улицу... Каковы бы ни были эти рассказы, одно остается несомненным: то, что Махомеди, или Джами, Магомета II есть произведение Христодула. Я не могу также сомневаться в том, что названный султан отдал ему в виде награды улицу, ибо я лично читал грамоту, ему выданную, которая хранится в ризнице храма блаженной девы Марии».[61]

Возьмем теперь соответствующее место из «Опыта о нравах и духе народов» Вольтера: «За христианами сохранилась до сих пор одна улица, которая является их собственностью в уважение к архитектору-греку, по имени Христобулу. Этот архитектор был приглашен Магометом II для сооружения мечети на руинах храма Святых Апостолов, древнего произведения Феодоры, жены императора Юстиниана; и ему удалось построить здание, которое по красоте напоминает Святую Софию. По приказу Магомета он построил также восемь школ и восемь госпиталей, примыкающих к этой мечети; улица, о которой я упомянул, была наградой, данной ему султаном за эту услугу; она осталась во владении за его родом».[62]

Не возникает никаких сомнений в том, что приведенный выше отрывок Вольтер заимствовал у Д. Кантемира. Ни во французских словарях XVIII в., ни в основных современных Вольтеру французских сочинениях по исто-

---

[61] Цит. по изданию «Оттоманской империи» Д. Кантемира в переводе Жонкьера (т. I, стр. 109, основной текст, и стр. 122, примечания).

[62] Oeuvres complètes de Voltaire, t. 12, p. 103.

рии Востока имени архитектора Христодула, или Христобула, мы не встречаем. Рассказ об удачливом архитекторе Д. Кантемир передает как знаток местных преданий, архитектурных сооружений Константинополя и их истории. Этот рассказ, за исключением только некоторых подробностей, полностью переходит в «Опыт о нравах и духе народов» Вольтера.

Используя книгу Д. Кантемира в своих исторических сочинениях, Вольтер вряд ли был одинок. «Оттоманская история» была хорошо известна во французских ученых кругах XVIII в. Достаточно сказать, что в «Энциклопедии» Дидро в статье «Турция» автор статьи шевалье де Жокур (Jaucourt) для изучения истории Турции рекомендует читателям только два сочинения: трехтомную «Историю Турции» англичанина П. Рико и «Оттоманскую историю» Д. Кантемира.[63]

Возникает вопрос: не влияла ли «Оттоманская история» на художественные произведения Вольтера? Общеизвестно, что восточная тема в его творчестве начиная с 40-х годов XVIII в. занимала огромное место.

Следы чтения «Оттоманской истории» следует искать во многих произведениях Вольтера на восточную тему. Для своих художественных произведений он по-своему заимствовал из книги Д. Кантемира не только восточный колорит, но также отдельные сцены и эпизоды, которыми так богата «Оттоманская история» с ее обильными, превосходящими по объему основной текст примечаниями. В «Оттоманской истории» Д. Кантемира Вольтер, как уже было сказано, «видел анналы преступлений человеческого рода». Эти анналы служили французскому просветителю благодатным материалом для суровой критики противоречий феодального общества.

Весьма вероятным представляется также предположение о том, что первое обращение Вольтера к книге Д. Кантемира имеет непосредственное отношение к написанию им трагедии «Магомет». Трудно поверить Вольтеру, что он обратился к «Оттоманской истории» лишь в связи с переработкой «Истории Карла XII» для нового издания. В письме к А. Кантемиру от 19 апреля 1739 г. Вольтер

---

[63] См. статью де Жокура «Турция» (Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers... mis en ordre et publié par M. Diderot, t. 34. Nouvelle édition. Genève, 1778, p. 441).

действительно говорит о своем желании изменить то место в «Истории Карла XII», которое относится к Д. Кантемиру. Но для создания биографического очерка Кантемира-отца два тома его труда не могли служить материалом; познакомиться же с биографией Кантемира-отца, написанной А. Кантемиром, Вольтер мог, и не требуя из Парижа «Оттоманскую историю» в целом. Напомню, что в 1739 г. Вольтер так и «не успел» внести в новое издание «Истории Карла XII» изменения, относящиеся к Д. Кантемиру.

Вместе с тем известно, что с февраля 1739 г., если не ранее, Вольтер был целиком погружен в работу над новой трагедией, которая стала известной впоследствии под названием «Магомет». На возникновение замысла новой трагедии Вольтер намекает впервые в письме к графу д'Аржанталю от 6 февраля 1739 г.: «Я задумал нечто прекрасное; однако мне необходимо спокойствие, а мои враги меня его лишают».[64]

Даже от лучших друзей Вольтер некоторое время хранит в секрете свой замысел. В письме к де Сидевилю от 7 марта 1739 г. он писал: «Мои письма кратки, но мои труды длительны, и тружусь я для вас, неблагодарный: вот увидите, вот увидите».[65]

На протяжении 1739 и, отчасти, 1740 года Вольтер проявляет исключительный интерес к трагедии де ла Ну «Магомет II», первое представление которой на парижской сцене состоялось 23 февраля 1739 г. В письмах к де Сидевилю, д'Аржанталю, Тьерио, Лефранку, д'Аржансону и другим Вольтер неоднократно спрашивает об успехе «Магомета II» на сцене, интересуется автором трагедии, сообщает свои впечатления от чтения названной пьесы и, наконец, знакомится с де ла Ну и вступает с ним в переписку.

В письме к д'Аржанталю от 2 апреля 1739 г. Вольтер впервые называет свое произведение настоящим именем. Он пишет: «Автор „Магомета II“ прислал мне свою пьесу: она полна сверкающих стихов; сюжет довольно труден для разработки. Но что вы скажете, если я вскоре пришлю вам „Магомета I“? Какой вы ленивый! Я скорее

---

[64] Oeuvres complètes de Voltaire, t. 35, p. 163.
[65] Там же, стр. 203.

написал трагедию, чем вы критические замечания на „Зюлиму“».[66]

«Магомет» был закончен в начале июля 1739 г. В письме к Гельвецию от 6 июля этого года Вольтер сообщал: «Я закончил „Магомета“, набросок которого вам читал».[67] Но черновой набросок «Магомета» был написан Вольтером, несомненно, значительно раньше. Уже в письме от 25 апреля 1739 г. к Фридриху Прусскому Вольтер сообщал, что он работает над окончанием «Магомета».[68]

Задача, которую Вольтер стремился решить в «Магомете», была и грандиозной, и новой, с точки зрения драматургических канонов классицизма. Вольтер, как видно из его переписки, хорошо понимал это и поэтому даже после окончания работы над трагедией неоднократно возвращался к ней снова. Переделка, изменения и совершенствование «Магомета» продолжались до 1740 г.: они были вызваны как замечаниями друзей, так и желанием автора устранить противоречия трагедии и сделать ее достойной высокого замысла. И все же, хотя работа над пьесой продолжалась свыше года, периодом наивысшего творческого напряжения в ее создании следует считать февраль—март—апрель 1739 г. В это время Вольтер был полностью поглощен новым творческим замыслом и, как уже сказано, жаловался на недостаток времени для работы над задуманным произведением. В переписке Вольтера за февраль—апрель 1739 г. наглядно отразилось увлечение писателя «Магометом» и всем тем, что имело к нему прямое отношение, например, трагедией де ла Ну «Магомет II». Чрезвычайно показательным поэтому представляется тот факт, что именно в это же время у Вольтера возникает потребность получить от А. Кантемира «Оттоманскую историю», написанную его отцом. Вольтер внимательно читает книгу Д. Кантемира, она воздействует на творческое воображение писателя, образы «Оттоманской истории» приобретают в сознании Вольтера новые, конкретные формы. В письме к А. Кантемиру от 19 апреля 1739 г., прежде чем поделиться впечатлением о прочитанной книге, Вольтер, жалуясь на своих издателей, пи-

---

[66] Там же, стр. 231.
[67] Там же, стр. 299.
[68] Там же, стр. 263.

сал: «Я прикажу им исправить лист, касающийся вашего знаменитого отца, однако приказания авторов выполняются издателями не лучше, чем приказания Дивана воинственными арабами. Я написал уже и напишу еще раз, но я не ручаюсь за авторитет моего Дивана».[69]

Обратив внимание на то, что распространенная среди европейских историков версия об убийстве Магометом II своей любовницы не находит подтверждения в книге Д. Кантемира, в письме от 3 апреля 1739 г. к де ла Ну Вольтер торопится сообщить ему об этом, считая, однако, что в художественном произведении отступление от исторической истины в отдельных случаях может быть вполне оправдано.[70]

Впервые «Оттоманская история» Д. Кантемира упоминается Вольтером в письме к Тьерио от 23 февраля 1739 г. Он писал: «Я рассчитываю получить в ближайшее время книги для мадам Шатле и книгу, которой князь Кантемир соблаговолил ссудить меня».[71] Таким образом, желание познакомиться с «Оттоманской историей» возникает у Вольтера одновременно с началом работы над «Магометом». Тьерио, выступивший в роли посредника между А. Кантемиром и Вольтером, отправил последнему экземпляр «Оттоманской истории» в первых числах марта 1739 г. В письме к Тьерио от 7 марта того же года Вольтер сообщал: «Я получил сегодня пакет и эстамп. Я напишу князю Кантемиру с тем, чтобы поблагодарить его».[72]

Кстати сказать, «Оттоманская история» — единственная книга, которая упоминается Вольтером в переписке на протяжении всей первой половины 1739 г. как книга, его лично интересующая. Если даже принять на веру слова Вольтера о том, что он прочитал «Оттоманскую историю» в связи с переработкой «Истории Карла XII», то этим нисколько не исключается одновременное возникновение у Вольтера глубокой заинтересованности книгой Д. Кантемира в связи с осуществлением замысла новой трагедии. Но предположение о том, что непосредственной и единственной целью получения от А. Кантемира экзем-

[69] Там же, стр. 255. Диван — общепринятое в XVIII в. обозначение турецкого правительства.
[70] Там же, стр. 240.
[71] Там же, стр. 198.
[72] Там же, стр. 205.

пляра «Оттоманской истории» была возникшая у Вольтера идея написать задуманную трагедию, является наиболее вероятным и обоснованным.

В какой, однако, мере могла быть использована «Оттоманская история» Вольтером при написании трагедии «Магомет»? В новом произведении Вольтер ставил перед собой задачу борьбы с религиозным фанатизмом, в том числе — и не в последнюю очередь — с фанатизмом христианско-католическим. Поэтому изображение личности пророка Магомета и исламизма вообще носит в трагедии Вольтера весьма условный характер. Вместе с тем было бы ошибкой полагать, что Вольтер остановил выбор на Магомете только для того, чтобы предохранить себя от нападок из лагеря католического духовенства и во многом от него зависящего общественного мнения. В этом случае Вольтер не производил никакого насилия над своей авторской совестью. Мусульманский фанатизм для XVIII столетия был понятием необычайно конкретным. Он внушал Вольтеру чувство отвращения не меньшее, чем фанатизм католический. В изображении Магомета-пророка Вольтер не ставил задачи добиться полного соответствия исторической действительности, так как преследовал цели универсального характера.

Соотношение между Магометом как исторической личностью и его изображением в трагедии Вольтера раскрывается последним в письме к Фридриху Прусскому, написанном в декабре 1740 г. В этом письме Вольтер говорит о том, что не может питать никакого уважения к личности Магомета-пророка, и перечисляет бедствия, которыми был ознаменован его приход к власти. «Все это, — продолжает Вольтер, — не может оправдать ни один человек, по крайней мере если он не родился турком и если предрассудки не заглушили в нем полностью его естественного разума. Я знаю, что Магомет не замышлял именно той измены, которая составляет сюжет этой трагедии. История говорит единственно о том, что он только похитил жену Сеида, одного из своих учеников, и что он преследовал Абусафьяна, которого я назвал Зопиром; но тот, кто разжигает войну в своей стране и осмеливается делать это во имя бога, разве не способен на все? Я намерен вывести на сцену не только правдивое действие, но и правдивые нравы; заставить людей думать так, как думали бы они, будучи перенесенными в ту

обстановку, и, наконец, представить самое отвратительное, что только обман может выдумать, и самое ужасное, что только фанатизм может совершить».[73]

Таким образом, Вольтер меньше всего думал о том, чтобы избранный им сюжет и герой были изображены в строгом соответствии с историческими фактами. С этой точки зрения становится понятным возникновение интереса Вольтера к «Оттоманской истории» во время написания им трагедии «Магомет».

В книге Д. Кантемира не было главы, посвященной Магомету-пророку. Первая часть «Оттоманской истории», которая охватывала период «от лжепророка Магомета до Османа, первого султана Турции», погибла вместе с другими бумагами Кантемира-отца во время кораблекрушения в Каспийском море в 1721 г. Кстати сказать, Вольтер мог прочитать об этом в приложенном к изданной части «Оттоманской истории» жизнеописании Д. Кантемира, написанном А. Кантемиром.[74]

Но в пространных примечаниях и авторских отступлениях «Оттоманской истории» содержался обильный материал, относящийся к личности Магомета-пророка и к магометанской религии вообще. Однако основным материалом, который привлекал Вольтера к труду Кантемира, была довольно объективно и живописно рассказанная история Турции. Мы приводили выше впечатление Вольтера, вынесенное им от чтения книги Кантемира-отца. Оно полностью соответствовало идее, положенной в основу трагедии «Магомет». Для изображения гибельных последствий религиозного фанатизма книга Д. Кантемира, и в особенности главы, посвященные султанам Селиму I, Магомету III и Мураду IV, давали Вольтеру очень многое. «Помимо всего, — писал Вольтер А. Кантемиру 13 марта 1739 г., — я должен сказать, что турецкая система управления кажется мне нелепой и ужасной».[75]

Следует отметить, что «Оттоманская история» служила Вольтеру источником не только при написании «Магомета», но также и при создании философских романов и повестей, имеющих отношение к восточной теме.

---

[73] Там же, стр. 560—561.

[74] См. «Оттоманскую историю» в переводе на французский язык Жонкьера (т. II, стр. 323).

[75] Oeuvres complètes de Voltaire, t. 35, p. 211.

По странному недоразумению как в литературе об источниках «Магомета», так и в литературе, затрагивающей вопрос о восточной теме в произведениях Вольтера, среди большого количества имен и названий книга Д. Кантемира до сих пор не была никем названа.[76]

Обращаясь к А. Кантемиру со словами: «Вы обладаете искусством разговора на любом языке и о любом искусстве (vous êtes doctus sermonis cujuscumque linguae et cujuscumque artis)»,[77] Вольтер только повторял сложившееся на Западе мнение о А. Кантемире как о человеке широких познаний и разнообразных умственных запросов. Одним из искусств, к которому Кантемир проявлял интерес с детства, была живопись. В «Собственноручном прошении к Петру Великому» (1724) 15-летний Кантемир писал: «Имею паки и к математическим наукам не малую охоту, также между делом к минятюре».[78]

Хорошую осведомленность Кантемира в живописи и музыке отмечал также и биограф его Гуаско.

Интерес и любовь к живописи создавали условия для сближения Кантемира с художниками Запада. Мы уже говорили о том, что для иллюстрирования французского издания «Оттоманской истории» А. Кантемир заказывал необходимые ему портреты в Константинополе. Из переписки А. Кантемира известно, что одним из близких его лондонских знакомых был итальянский художник Джакомо Амикони (1675—1752). В 1738 г. по заказу русского посланника Джакомо Амикони выполнил несколько портретов, среди них портреты Петра I, Анны Иоанновны и самого Антиоха Кантемира. Когда об этих портретах узнали в России, Кантемир отправил в апреле 1738 г. на имя президента Академии Корфа 10 дюжин гравированных портретов Петра I и Анны Иоанновны.[79]

---

[76] См., например: G. Laroumet. Le vrai «Mahomet». «Mahomet» de Voltaire. «Revue des Cours et Conférences», 1900, 21 juin; H. Lion. Les tragédies et les théories dramatiques de Voltaire. Thèse, Paris, 1895. Вопрос об отношении Вольтера к восточной теме освещается в следующих работах: P. Martino. L'Orient dans la littérature française au XVII-me et XVIII-me siècles. Paris, 1906; Marie-Louise Dufrenoy. L'Orient Romanesque en France (1704—1789), vv. 1, 2. Montréal, 1947.

[77] Письмо Вольтера к А. Кантемиру от 19 апреля 1739 г.

[78] А. Д. Кантемир, Сочинения, письма и избранные переводы, т. II, стр. 343.

[79] Там же, стр. 326.

Представляется вероятным, что значительную часть портретов русский посланник распределил среди своих лондонских знакомых. Любопытно отметить, что в виде платы Джакомо Амикони за работу Кантемир просил Корфа выслать художнику всевозможные издания Петербургской Академии наук, а также географические карты России, предупреждая при этом Корфа, что объяснения к картам должны быть даны на немецком, латинском или французском языках, «так как он (Амикони,— *Ф. П.*) не понимает по-русски».[80]

Во время пребывания в Париже Кантемир успел установить с современными ему французскими художниками прочные связи и с чисто просветительским рвением пользовался ими для распространения славы своего отечества. Об этом свидетельствует письмо его к гр. М. И. Воронцову от 16 (5) января 1744 г., отрывок из которого приводится ниже:

В протчем я запамятовал вашему превосходительству донесть, что уже за две недели перед сим имел честь адресовать к вашему превосходительству через французского консула г. Севьора сверток с печатными портретами высокославныя памяти его имп. в-ва Петра Великого, который я здесь велел вырезать с весьма подобного рисунка. Не помню, сколько экземпляров было, но между ними есть один на атласе, один на золотой бумаге, которые покорнейше прошу поднести ея и. в-ву с двумя другими на почтовой бумаге, а протчие благосклонно себе принять. Оные экземпляры суть самая первая проба и печатаны на тонкой бумаге, понеже я вначале намерен был их отправить на почте, а потом г. Севьор столько отъездом вдруг поспешил, что не успелось напечатать другие, наипаче для того, что рещик исправлял тогда орден св. Андрея, который, как ваше превосходительство усмотрит, не хорошо был изображен. Доска того портрета теперь у меня, и ежели ея в-ву угодно оную принять в знак всеподданнейшей моей ревности к распространению славы бессмертного августейшего ея родителя, то по первому ея величества указу оную отправляю к в. прев-у; или буде ея в-ву угоднее, чтобы высочайшее лицо такого монарха в чужих краях к удивлению народов размножить, то отправлю к вашему п-ву 300 или 400 экземпляров из первого тиснения, а протчие здесь рещик распродаст в свою пользу. На все то прошу всемилостивейшего повеления, и затем с истинным высокопочитанием и пр.
Из Парижа. Генв. 16/5 1744 году.[81]

О портрете Петра I, который Кантемир хотел в «чужих краях к удивлению народов размножить» и в изго-

[80] Там же.
[81] Архив князя Воронцова, т. I. М., 1870, стр. 385.

товлении которого, как видно из письма, он принимал деятельное участие, мы можем получить представление по экземпляру, хранящемуся в «Галерее портретов Петра Первого» в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде. Портрет выгравирован художниками Виллем и Субейраном. Под гравюрой российский герб и надпись: Magnus Russorum Imperator Pater Patriae. Dessiné d'après nature en 1723... par Monsieur Caravac son peintre. Gravé à Paris en 1743 par P. Soubeyran d'après l'original communiqué par Monsieur le Prince Cantemir, Ambassadeur de Russie à la cour de France.

Названный гравированный портрет Петра I описан в книге В. Стасова «Галерея Петра Великого в императорской Публичной библиотеке», в разделе гравюр, изготовленных по типу портрета Петра I художника Каравака.[82]

Привлечение художников Амикони, Субейрана и Виля к работе над гравюрами с портретов русских деятелей, пропаганда личности и деятельности Петра I на Западе средствами живописи, — все это дает материал также и для суждений о характере связей А. Кантемира с западноевропейской и, в частности, французской литературной средой.

О стремлении Кантемира заинтересовать французских литераторов личностью Петра I и русской темой свидетельствует письмо к Кантемиру французского писателя Пьера Морана (1701—1757), автора трагедии «Меншиков», вышедшей в свет в 1739 г. Письмо Пьера Морана к А. Кантемиру, хранящееся в переплете № 139 общего собрания автографов Отделения рукописей Публичной библиотеки в Ленинграде, дает основание предполагать, что в создании названной трагедии А. Кантемир принимал непосредственное участие. Приводим текст этого письма:

Перевод

Милостивейший государь!

Я с крайним недоумением недавно узнал, что ваше превосходительство не вынесло решения об отправлении ее царскому величеству ни трагедии, которую я считал за лестную для меня честь посвятить ей, ни посвятительного послания, которое было

[82] В. Стасов. Галерея Петра Великого в императорской Публичной библиотеке. СПб., 1903, § 241, стр. 227.

ей адресовано. Доводы, которые были мне даны на сей счет, только увеличили мое недоумение, ибо вы, ваше превосходительство, должны вспомнить, что когда вы согласились выслушать чтение пьесы под первыми ее именами и потребовали, чтобы они были изменены, вы были настолько добры, что посоветовали мне не терять в силу этого ни моего посвящения, ни моей преданности; и вы прибавили при этом, что вы не видите в пьесе ничего, что невозможно было бы восстановить, как только пьеса будет поставлена под другими именами. Действительно, черты, которые могут показаться несколько грубыми в отношении народов, нравы которых облагорожены Петром Великим, были правдивы в отношении ассирийцев времен Бела; последние действительно были тогда рассеяны в лесах, не имея ни обычаев, ни законов, ни городов. Но предположим наихудшее. Ваше превосходительство более чем убеждено, что я не имел никакого желания кого-либо оскорбить, и если только речь идет об этом, то для меня нет ничего более приемлемого, как исправить к собственному удовлетворению всего два места, которые могут показаться сомнительными, если их толковать предвзято. Именно это я и предлагаю вашему превосходительству, и я выполню это сразу же, если вы соблаговолите сообщить о своем намерении г. Риккобони. Молчание же, которое вы на сей счет хранили, было для меня весьма невыгодным, так как в свое время многие книгоиздатели толпились вокруг меня с выгодными предложениями в отношении моей рукописи, и я им отказывал, не имея возможности ее напечатать до того, пока ответ ее царского величества не будет мною получен. Благосклонность, на которую я рассчитывал, должна была не только возместить все мои потери, но также придать пьесе блеск более значительный, чем блеск новизны. Вместо этого я потерял в настоящее время все: я не имею ни одного книгоиздателя, так как шум, поднятый вокруг этого блистательного посвящения, будучи скомпрометированным, бросает тень насмешки и на мое произведение, и на меня самого.

Могу ли я, милостивейший государь, надеяться, по крайней мере, что в случае, если небольшие изменения, которые я предлагаю, или изменения, которых потребуете вы, будут сделаны, и пьеса вслед затем будет напечатана. Вы соблаговолите отправить ее царскому величеству вместе с моим посланием как знак моей преданности, а не как книгу, которую хотят ей посвятить. Или лучше мне взять на себя смелость просить ваше превосходительство, которое представляет здесь ее величество, самому принять эту дань уважения? Публика увидела бы в этом благосклонность, которой вы меня удостаиваете, а я, поставив ваше имя над моей трагедией, был бы счастлив случаю засвидетельствовать глубокое уважение, с которым и остаюсь,

Милостивейший государь, вашего превосходительства преданнейший и покорнейший слуга

де Моран.

Париж, 13 января 1739 г.

Если бы я не был прикован столь долгое время к постели, я бы не осмелился писать вашему превосходительству: я имел бы честь повидаться с вами. Это обстоятельство побуждает меня

также просить вас удостоить меня ответом, от которого я не жду большего, чем быть информированным о ваших намерениях, с тем, чтобы приступить к напечатанию трагедии. Я проживаю по ул. св. Жана де Бове, третьи ворота направо при повороте с улицы де Нуайе, у г. Юэ, королевского секретаря.[83]

В письме Пьера Морана к Кантемиру многое может показаться неясным для читателя, незнакомого с обстоятельствами, при которых пьеса «Меншиков» была поставлена на сцене. Задуманная и написанная как трагедия, посвященная Меншикову и Петру I, пьеса Морана не могла в первоначальном виде быть поставлена на сцене, так как парижские власти при их недружелюбном отношении к России не могли в то время допустить, чтобы русские государственные деятели были прославляемы с подмостков парижского театра. Трагедия Морана «Меншиков» была поставлена в 1738 г. в Итальянском театре в измененном виде и под названием «Фаназар».[84] В 1739 г. за пределами Франции, в Гааге, пьеса «Меншиков» была напечатана, и в обращении к читателю издатель рассказал ее сценическую историю: «Трагедия „Фаназар“, представленная и напечатанная в Париже, вначале носила название „Меншиков“, и славный царь Петр Великий занимал в ней место Бела. Разрешение сыграть пьесу было уже получено, как перед самым началом первой постановки артисты вдруг получили приказание отменить представление. С целью положить конец затруднениям, угрожавшим затянуться надолго, автор подчинился необходимости наспех изменить в пьесе имена действующих лиц и подыскать в истории героя, с которым бы у царя было какое-нибудь сходство: автор полагал, что чем глубже заберется он в древность, тем больше будет простора для его фантазии, тем меньше изменений придется вносить ему в трагедию. Однако последняя потеряла из-за этого свою привлекательность, а история, хронология и география пьесы приобрели черты некоторой искусственности.

---

[83] Письмо П. Морана к А. Кантемиру от 13 января 1739 г. ГПБ, Собрание автографов, переплет № 139, лл. 159—160.

[84] Справку о том, кем и когда была поставлена трагедия Морана «Меншиков», даст «Драматический словарь» де ля Порта, в котором сказано: «„Меншиков“, трагедия в одном действии Морана, играна под названием „Фаназар“ у итальянцев в 1738 г.» (J. de la Porte. Dictionnaire dramatique, t. II. Paris, 1776, p. 219).

«Мы решили оказать услугу автору, а публике доставить удовольствие, возвратив действующим лицам их подлинные имена и восстановив первоначальную форму пьесы.

«Эти же мотивы заставили нас вспомнить и о посвящении, которое, как нам сообщили, было адресовано автором ее царскому величеству. Мы присоединяем его к нашему изданию с тем большей готовностью, что это посвящение, несомненно, осталось ненапечатанным, так как в парижском издании пьесы оно отсутствует.

«Когда пьеса была изменена, посвящение также подверглось изменениям: возвратить последнему его начальную форму не представляло для нас труда, раз уж мы задались целью восстановить всю пьесу».[85]

Есть основания сомневаться в том, что история с постановкой и напечатанием пьесы Морана в обращении гаагского издателя пьесы изложена правильно. В частности, не находит подтверждений сообщение издателя о парижском издании «Меншикова», или «Фаназара», в 1738 или 1739 г. Подобное издание не зарегистрировано ни в одном из просмотренных нами соответствующих пособий, в том числе и в «Общем каталоге печатных книг Национальной библиотеки» в Париже. Правда, не исключена возможность, что пьеса Морана сразу же после ее напечатания подверглась аресту и конфискации.

Вызывает также сомнение и утверждение издателя, что пьеса «Меншиков» готовилась к постановке в первоначальном ее варианте и что только после запрещения она подверглась авторской переработке. В письме Морана к Кантемиру недвусмысленно сказано, что после того как пьеса была прочитана русскому писателю, последний рекомендовал внести в пьесу ряд поправок и изменить ее название. Кантемир хорошо понимал, что при наличии довольно напряженных отношений между русским и французским дворами появление «Меншикова» на парижской сцене было невозможно. Давая совет Морану переделать пьесу, с тем чтобы впоследствии восстановить ее в первоначальном варианте, А. Кантемир рассчитывал на наступление более выгодной политической обстановки.

В напечатании трагедии Морана А. Кантемир был заинтересован самым непосредственным образом. Он был

---

[85] De Morand. Menzikof. Tragédie. Haye, 1739, Avertissement.

также заинтересован и в напечатании посвящения Анне Иоанновне, так как безотносительно к своему личному отношению к императрице Кантемир считал, что популяризация всего русского в Париже — наиболее правильный путь к тому, чтобы с «здешним народом свести знакомство».

Сюжет пьесы Морана построен на вымышленном событии — заговоре некоего «князя Амилки» против Петра I и участии А. Д. Меншикова в раскрытии этого заговора. Трагедия Морана состоит из 15 небольших сцен. Если не считать гвардии и свиты царя, пьеса насчитывает всего четыре действующих лица: Петр I, фаворит царя Меншиков, князь Амилка, дочь князя Амилки Софья.

В трагедии «Меншиков» автор жертвует исторической истиной в угоду занимательности и драматичности сюжета. Следует отметить, что сюжет трагедии был заимствован Мораном из анонимной книжки под названием «Князь Кушимен», вышедшей в Париже в 1710 г.[86] Название Ку-Ши-Мен — анаграмма имени Меншикова. В книжке анонимного автора история Великой Татарии, под которой автор подразумевает Россию, дана в виде самых фантастических и нелепых анекдотов. Кушимена, о котором известно, что в детстве он продавал пирожки в Самарканде, берет к себе на службу Дюбор (Лефорт). Великий Хан замечает смышленого мальчика и делает из него комнатного слугу. Правитель Астрабада князь Дамилка замышляет заговор против Великого Хана и с этой целью заводит дружбу с Кушименом. Заговорщики желают избавиться от Дюбора, который, несмотря на иностранное происхождение, сумел стать доверенным лицом монарха. Дамилка вовлекает Кушимена в заговор против Великого Хана, обещая ему за это руку своей красавицы-дочери. Однако расположенный более к Великому Хану, чем к Дамилке, Кушимен раскрывает заговор и в награду за это просит Великого Хана пощадить дочь Дамилки. Великий Хан казнит Дамилку и всех заговорщиков; их семьи подвергаются самым жестоким истязаниям и расправе. Только дочь Дамилки была пощажена и отправлена в монастырь в заточение. Через некоторое время достигший больших почестей Кушимен просит Великого Хана разрешить ему жениться на дочери Дамилки,

[86] Le prince Kouchimen. Histoire tartare. Paris, 1710.

освободив ее для этого из монастыря. Великий Хан соглашается, и история заканчивается картиной свадьбы.

Все действующие лица анонимной повести, включая Кушимена и Великого Хана, показаны в смешном виде. Для того чтобы подслушать разговор Дамилки, неизвестный автор заставляет Великого Хана спрятаться в шкаф. Фигура Меншикова-Кушимена в анонимной книге напоминает героя плутовского романа. Строительные работы, предпринятые Великим Ханом по совету иностранца Дюбора, высмеиваются как фантастические. Великий Хан — круглое ничтожество, послушно выполняющее волю иностранца Дюбора. Таким образом, личность и деятельность Петра I автор анонимной повести «Кушимен» хотел представить в карикатурном виде.

То обстоятельство, что, создавая свою пьесу, Моран использует вымышленный сюжет, вряд ли случайно. Если условность избранного сюжета могла оставаться непонятной для Морана, то ее прекрасно понимал А. Кантемир, принимавший участие в создании трагедии «Меншиков» и одобривший ее. Но почему в таком случае Кантемир не отвергнул вымышленный сюжет анонимного автора и не предложил Морану написать или переработать пьесу, которая бы соответствовала фактам истории? Ответ на этот вопрос заключается, пожалуй, в том, что повесть «Кушимен» пользовалась известностью в среде парижской читающей публики и нейтрализовать ее вредное воздействие и рассеять всякие нелепые слухи о России целесообразнее всего было путем использования ставших привычными для читателя имен и довольно выгодной в драматическом отношении сюжетной схемы.

Эту задачу и пытается в меру своих возможностей выполнить Пьер Моран. То, что в анонимной повести выглядело забавным и смешным, становится величественным и трагическим в пьесе Морана. До размеров серьезного и напряженного психологического конфликта разрастается и та подробность, которая обыгрывалась как комическая в «Кушимене»: продавец пирожков претендует на руку княжеской дочери. В оправдании притязаний низших сословий на равные с аристократией права и заключается глубоко демократическая тенденция трагедии Морана. Во французской драматической литературе 30-х годов XVIII в. эта тенденция едва только намечалась. Подобная тенденция отсутствует также и

в творчестве Пьера Морана до написания им трагедии «Меншиков». Трагедия Морана была первой попыткой во французской литературе XVIII в. дать образ Петра I в серьезной и возвышенной трактовке.

Участие А. Кантемира в создании трагедии П. Морана «Меншиков» — факт, не вызывающий сомнений. Написав пьесу, Моран читает ее русскому писателю и выслушивает его советы. К письму Морана, которое было приведено выше, приложена записка под названием: «Два места из „Фаназара“, требующие исправления». В ней Моран предлагал Кантемиру новые варианты для замены двух мест из своей трагедии, где русский народ допетровского периода характеризуется в стиле тех высокомерных и невежественных описаний восточных стран, которые были обычными для западноевропейской литературы начала XVIII в. В гаагском издании трагедия «Меншиков» была напечатана с исправлениями, предложенными Мораном Кантемиру и, надо полагать, одобренными последним.

Французский автор дорожил мнением А. Кантемира о своей пьесе. Но ограничивалось ли участие Кантемира советами и замечаниями, которые он дал Морану после написания его пьесы? Правомерно предположить, что самая мысль о создании трагедии «Меншиков» была внушена автору Кантемиром. Речь идет здесь не только о том, что русская тема в то время не была освоена французской литературой. В 30-е годы XVIII в. писать о России в сочувственном духе для французских писателей было делом предосудительным и даже явно невозможным. «Кто знает, не считаете ли вы для себя опасной переписку с русским?» — спрашивал А. Кантемир у де Шавиньи в письме от 3 февраля 1737 г.[87] Но если доброжелательные выступления о России в печати вызывали в то время гонения со стороны органов цензуры, то прославление государственных деятелей России со сцены Парижского театра было совершенно немыслимым. Не только в 1739 г., но и двумя десятилетиями позднее, когда отношение к России со стороны представителей официальной Франции было более благосклонным, деятели русской истории в сочувственном изображении не могли быть выве-

---

[87] Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира, стр. 72.

дены на сцену. Даже в 1767 г. трагедия Дора о Петре I могла быть поставлена только под именем «Тамерлана». Пьер Моран, как известно, рассчитывал на успех своей пьесы. Добиться этого успеха он мог только при поддержке А. Кантемира. Если бы даже при заступничестве русского посланника постановка «Меншикова» в Парижском театре и не удалась, то, отправленная в Петербург, она получила бы там известность, а автор — заслуженную награду.

Но даже если предположить, что к идее написать пьесу на русскую тему Пьер Моран пришел самостоятельно, самый факт обращения французского автора в процессе работы над пьесой к советам и помощи Кантемира совершенно бесспорен.

Личность русского императора и его преобразовательная деятельность были, как мы убедились, постоянной темой переписки и бесед А. Кантемира с его западными и, в особенности, французскими знакомыми. Мнение Кантемира о Петре I в глазах французских писателей приобретало тем большее значение, что русский писатель и просветитель неоднократно лично встречался с легендарным императором. В «Дневных записях» секретаря Д. Кантемира И. И. Ильинского за 1721—1724 гг. отмечено несколько случаев, когда Петр I вместе с А. Д. Меншиковым запросто заходил погостить к Кантемиру-отцу. Вместе со своим отцом Кантемир в 13-летнем возрасте участвовал в Персидском походе Петра I. Таким образом, о личности первого русского императора, равно как и об А. Д. Меншикове, у А. Кантемира сохранилось немало личных впечатлений и воспоминаний. Этими воспоминаниями он не мог не делиться с французскими знакомыми, в особенности с теми из них, которых интересовала русская жизнь.

Необходимо, наконец, учитывать также значение поэтического творчества Кантемира, автора героической эпопеи «Петрида». Нельзя представлять себе дело так, что поэтическое творчество Кантемира в Париже было известно только одному Гуаско.

В то время когда П. Моран работал над трагедией «Меншиков», Кантемир создавал VII сатиру «О воспитании», в которой дан поэтический образ Петра I, во многом подобный трактовке этого образа, усвоенной П. Мораном:

И знал то, высшим умом монарх одаренный,
Петр, отец наш, никаким трудом утомленный,
Когда труды его нам в пользу были нужны:
Училища основал, где промысл услужный
В пути добродетели имел бы наставить
Младенцев; осмелился и престол оставить
И покой; сам странствовал, чтоб подать собою
Пример в чужих брать краях то, что над Москвою
Сыскать нельзя: сличные человеку нравы
И искусства. Был тот труд корень нашей славы.
Мужи вышли годные к мирным и военным
Делам, внукам памятны нашим отдаленным.[88]

Образ Меншикова также был не чужд поэтическому сознанию Кантемира. В зачаточном виде этот образ мы встречаем в первой сатире русского писателя («Кто с подовым горшком истер плечи»).

Не обладая крупными художественными достоинствами, трагедия Морана оказала тем не менее сильное воздействие на сценическую традицию образа Петра I во Франции. Трагедией Морана были определены главные особенности вышедшей в свет в 1767 г. трагедии Дора «Амилка, или Петр Великий». Дора заимствовал и сюжетную схему трагедии Морана, и возвышенную трактовку образов Петра I и Меншикова. В предисловии к трагедии Дора не забыл назвать пьесу Морана, а стих из последней (Pour apprendre à régner, descendrois-tu du Trône?) приводится им как поразивший его воображение и хорошо известный читателю (on en a retenu ce vers...).[89]

Сюжет своей трагедии Дора находил опасным (le sujet épineux). Но писателя привлек образ этого, как говорил он, «знаменитого законодателя, по отношению к которому вся Европа остановилась в нерешительности, не зная, что ей избрать — ненависть или восхищение». Дора остановил свой выбор на восхищении. Он использовал сюжет пьесы Морана, стремясь вместе с тем сделать свою трагедию исторически правдоподобной. Так, например, князь Амилка выступает у него в роли вождя стрелецкого бунта. Получив прощение императора, Амилка в трагедии Дора в свою очередь прощает дочь, и последняя выходит замуж за Меншикова.

---

[88] Сатиры и другие стихотворческие сочинения князя Антиоха Кантемира с историческими примечаниями и кратким описанием его жизни. СПб., 1762, стр. 119.

[89] Dorat. Amilka, ou Pierre le Grand. Tragédie. Paris, 1767, p. 157.

Трагедия Дора была поставлена на сцене в 1767 г. под названием «Тамерлан» с устранением всех имен и понятий, напоминавших о ее отношении к русской истории. Тем не менее как печатное произведение пьеса Дора имела громадный успех. На французском языке в течение девяти лет она вышла в трех различных изданиях. В 1772 г. появился ее перевод на голландский, а в 1780 г. — на немецкий язык.[90]

Изданная в 1784 г. на немецком языке трагедия Франца Краттера «Заговор против Петра Великого» была не чем иным, как переделкой пьес Морана и Дора. Пьеса Краттера в 1798 г. была переведена на английский язык, а в 1804 г. — на польский. Любопытно, что князь Амилка в польской переделке трагедий Морана и Дора превратился в гетмана украинских казаков.

Трагедия Морана «Меншиков» и возникшая на ее основе трагедия Дора «Амилка, или Петр Великий» создали традицию возвышенной трактовки образа Петра I на французской сцене. Эта традиция была единственной во Франции на протяжении всего XVIII века. Изданная и поставленная на сцене в 1804 г. трагедия Каррион-Низаса «Петр Великий», переносившая центр тяжести на жестокости царя и конфликт Петра I с царевичем Алексеем, была первой попыткой на французской почве внести новый элемент в театральную традицию образа Петра I, безраздельно господствовавшую на протяжении всего XVIII века.

Таким образом, русский писатель и просветитель Антиох Кантемир, принимавший участие в создании трагедии Пьера Морана «Меншиков», имеет самое непосредственное отношение к возникновению традиции образа Петра I на французской сцене.

Участие А. Кантемира в создании трагедии Морана — не единственный пример, подтверждающий связи русского писателя с парижской театральной жизнью. Указанием на подобные связи служит также донесение Кантемира русскому двору от 4 апреля (24 марта) 1743 г., в котором сообщалось: «Один из здешних авторов, который за несколько месяцев через меня просил позволения дедиковать вашему императорскому величеству свое со-

---

[90] Об изданиях трагедии Дора на французском языке, переводах и переделках ее см.: Петр Великий в иностранной литературе. Составил Р. Минцлов. СПб., 1872, стр. 470 и сл., 555 и сл.

чинение об исправлении театров, встретил многие трудности со стороны здешнего министерства в напечатании этой дедикации с вашим императорским титулом; но напоследок то затруднение министерство отложило, однако же с тою осторожностью, чтоб эта книга была напечатана без обыкновенной аппробации и с заказом ему о том мне сообщить. Мне весьма удивительно, что Амелот решился вмешать свой авторитет в такое дело, которое по своей маловажности не заслуживает, потому что помянутая дедикация никакой не может иметь консеквенции для здешнего двора».[91]

О какой книге говорил в этой депеше Кантемир? Опубликованная проф. В. Н. Александренко опись парижской библиотеки А. Кантемира оказывает нам существенную помощь в решении поставленного вопроса. В названной описи под № 238 мы находим книгу «Réformation du théâtre» Луиджи Риккобони, изданную в 1743 г.[92]

Письмо Кантемира к Лестоку от 20 июня (1 июля) 1742 г. рассеивает всякие сомнения в отношении автора книги об «исправлении театров». «Прилагаемое при этом письмо, — писал Кантемир, — передано мне человеком, который имеет заслуги в своем ремесле и который был одним из наиболее знаменитых актеров в Европе. Он известен был под именем Lelio и уже дал нам книги в области своих знаний, которые пользуются всеобщим уважением среди знатоков театра. В настоящее время одна из его книг под названием «La Réforme du théâtre» готова к печати, и автор желал бы посвятить ее нашей августейшей государыне императрице, и именно в связи с этим он взял на себя смелость написать ей прилагаемое письмо. Я прошу ваше превосходительство передать его ее императорскому величеству в минуты ее досуга и соблаговолить известить меня, согласно ли ее императорское величество, чтобы это посвящение было напечатано».[93]

До нас дошел также и ответ Лестока на приведенное выше письмо А. Кантемира. «Я передал, — писал 26 июля 1742 г. А. Кантемиру Лесток, — письмо автора „Théâtre

---

[91] В. Я. Стоюнин. Антиох Кантемир в Париже, стр. 185.

[92] В. Н. Александренко. К биографии кн. А. Д. Кантемира, стр. 25. В библиотеке Кантемира были также и другие книги Риккобони, отмеченные у проф. В. Н. Александренко под №№ 239, 482, 845.

[93] Л. Н. Майков. Материалы для биографии кн. А. Д. Кантемира, стр. 176.

réformé“ ее императорскому величеству. Она благосклонно отозвалась, что это доставляет ей удовольствие».[94] Таким образом, Кантемиру довольно легко удалось добиться от русского правительства разрешения на издание книги Л. Риккобони с пространной «дедикацией» российской самодержице. Гораздо труднее было получить аналогичное разрешение от французского правительства, в чем убеждает нас цитированное выше донесение Кантемира русскому двору от 4 апреля (24 марта) 1743 г.

В 1743 г. книга Л. Риккобони была напечатана в Париже «без обыкновенной апробации», но с посвящением автора императрице Елизавете Петровне.

В 20-е годы XVIII в. имя Луиджи Риккобони (1677—1753) было одним из наиболее прославленных имен в театральных кругах не только Италии и Франции, но и всей Европы.

Л. Риккобони родился в Италии, в семье комедианта, и с жизнью театра познакомился с детства. Будучи поклонником Мольера, уже в юные годы он переводит его комедии на итальянский язык, стараясь привить их отечественной сцене. В 1716 г. Л. Риккобони принимает предложение регента Франции Филиппа Орлеанского и приезжает в Париж, чтобы возглавить здесь театр итальянской комедии. Труппа Риккобони считала себя преемницей Итальянского театра, существовавшего в Париже в конце XVII в. На занавесе театра в Бургундском отеле, где труппа Риккобони давала представления, была изображена фигура феникса над горящим костром с надписью: «Я возрождаюсь». Театр, традиции которого стремился возродить на французской сцене Луиджи Риккобони, получает следующую оценку в работе специалиста: «То, что делали в романе Сорель своим „Франсионом“, Скаррон своим „Комическим романом“, Фюретьер своим „Буржуазным романом“, то делали они (итальянцы, — *Ф. П.*) снова и снова в театре; писатели-реалисты, желая противодействовать крайностям идеализма Оноре д'Юрфе и Мадлен Скюдери, — Соррель, Скаррон и Фюретьер дали прекрасные, как сказали бы мы сейчас, моментальные фотографические снимки будничной жизни средних классов общества, и их богатый и пикантный

---

[94] Письмо Лестока к А. Кантемиру от 26 июля 1742 г. ГПБ, Собрание автографов, переплет № 136, л. 43.

альбом развертывает перед нами и смешного педанта, и тщеславного и льстивого литератора, и старого бездарного актера, раздраженного на весь мир, не желающий оценить его гений, и жалкого, копирующего все парижское провинциала, и фатоватого горожанина-самодура, и старую сварливую горожанку, и молодую горожанку-кокетку, и, наконец, весь этот одетый в черное презренный люд, выглядывающий из засады, как бы ограбить истца в мрачных закоулках вертепа крючкотворства, высокопарно именуемого дворцом Фемиды. И все эти типы, забавные и разнообразные, представлены на подмостках итальянской комедии, каждый с присущей ему физиономией и только ему свойственным языком, с его осанкой, жестами и своеобразными ужимками, выдающими неизбежные привычки профессии, что так превосходно умели воспроизводить Доминик, Скарамуш[95] и все итальянцы, получившие звание мастеров искусства мимики».[96]

Театр Риккобони не ограничился простым наследованием традиций парижской итальянской комедии XVII в. В скором времени после прибытия в Париж труппа Риккобони отказалась от игры на итальянском языке. Сценарии комедии дель арте почти полностью были вытеснены репертуаром, поставляемым французскими драматургами. Наиболее видное место в этом репертуаре занимали светские комедии Мариво. Театр Мариво, несмотря на свою генетическую связь с традицией Расина, был пронизан просветительскими тенденциями. Так, например, в комедии Мариво «Остров рабов» (1725) изображалось восстание рабов против своих господ и провозглашался принцип всеобщего гражданского права. Комедия «Остров разума» (1727) предвосхищала некоторые идеи Ж. Ж. Руссо и прославляла всемогущество разума. В «Новой колонии» (1729) Мариво выступал в защиту женского равноправия. Роль Риккобони и возглавляемой им труппы итальянских актеров в создании театра Мариво была исключительной. «Без итальянской комедии,— утверждает Бернарден, — Мариво, без сомнения, никогда не написал бы свои прекрасные маленькие шедевры».[97]

---

[95] Автор имеет здесь в виду Тиберио Фьорилли, создателя типа Скарамуша. Доминик — Доменико Риккобони.

[96] N. M. Bernardin. La comédie italienne en France et les théâtres de la Foire et Boulevard (1570—1791). Paris, 1902, p. 34.

[97] Там же, стр. 183.

Эту же мысль подтверждает и Ксавье де Курвиль, автор капитального исследования о Луиджи Риккобони.[98]

В 1729 г. Луиджи Риккобони уезжает в Италию и работает там некоторое время в должности инспектора театров у герцога пармского. Возвратившись в 1731 г. во Францию, Риккобони постепенно отходит, а затем и совершенно отказывается от игры на сцене. Тем не менее в 30-е годы XVIII в., прекратив актерскую деятельность, Луиджи Риккобони продолжал усиленно работать над вопросами истории театра и теории театральной игры. Его «Исторические и критические рассуждения о различных театрах Европы» (1738) были первой попыткой создать сравнительную историю европейского театра и оказали заметное воздействие на Лессинга. Большое значение для молодого Лессинга имела также и другая работа Риккобони, его «История итальянского театра» (1728—1731); значительная часть этой книги будущим автором «Гамбургской драматургии» была переведена и напечатана в «Театральной библиотеке» в 1754 г.[99]

Как актер и руководитель большого и влиятельного театрального организма и как автор видных работ по истории театра и теории театральной игры Луиджи Риккобони был сознательным противником дворянского театра, вступившего в период своего заката. Риккобони понимал историческую обреченность аристократического искусства и, следя за жизнью французского театра, сочувственно относился к появлению в нем новых, жизненно стойких элементов. Он восторженно приветствовал возникновение и появление на сцене комедий Нивелль де ла Шоссе.

В 1737 г. в письме к Муратори, вызванном появлением в свет комедии де ла Шоссе «Школа друзей», Риккобони настоятельно утверждал, что «такая комедия поднимает театр на ту высоту, на которой хотелось бы его видеть религии и добрым нравам».[100]

Письмо Риккобони к Муратори в свое время явилось поводом для горячих споров о «слезной комедии» и ее роли для французского театра.

---

[98] Xavier de Courville. Un apôtre de l'art du théâtre au XVIII-me siècle Luigi Riccoboni dit Lelio, v. 1. Paris, 1943, p. 333.

[99] О влиянии Л. Риккобони на Лессинга см.: J. G. Robertson. Lessing's Dramatic Theory. Cambridge, 1939, pp. 96, 279.

[100] Réflections historiques et critiques sur les différents théâtres d'Europe. Paris, 1738, pp. 148—149.

Приверженность Риккобони к буржуазной нравоучительной драме и его резко отрицательное отношение к аристократической трагедии, и в особенности к опере и балету, получили формулировку в книге «О реформе театра», посвященной российской монархине.

Театр древних греков, по мнению Риккобони, был идеальным в том отношении, что ставил и разрешал задачу воспитания зрителя в духе государственных интересов. Римский театр был перегружен развлекательным элементом и внес тем самым в театральное зрелище начало разложения. Засилье любовной интриги в театральных постановках способствовало развращению зрителя. Появление на сцене женщины лишь завершило падение театра. Современный театр утратил самую важную функцию — пропаганду гражданских доблестей и достоинств. Деятельность театра вступила, таким образом, в противоречие с интересами государства; последнее должно вступить в открытую борьбу с деморализующим воздействием сцены. Опера и балет как наиболее разлагающие виды театральных представлений должны быть упразднены вовсе. Драматический репертуар должен подвергнуться государственному контролю. Большинство современных пьес должно быть запрещено для постановок, а значительная их часть — исправлена. От аристократической трагедии остается лишь то, что может быть превращено в национально-патриотическую или семейную драму. Из репертуара нового театра вычеркивались «Сид» и «Родогюна» Корнеля, почти весь Расин. Реформа театра затрагивала даже репертуар Мольера. «Жорж Данден», «Школа мужей», «Школа жен», в которых осмеиваются буржуазные семейные добродетели, изгонялись со сцены. Зато сохранились в целости «Мизантроп», «Ученые женщины», «Жеманницы», где критика Мольера была направлена главным образом против светских салонов.

Деятельность театров и театральных коллективов, согласно проекту Риккобони, строго регламентировалась. Регламентация простиралась даже на частную жизнь актеров: все они, например, должны были состоять в браке.

Аристократический театр в книге Луиджи Риккобони подвергался критике с идеологических позиций третьего сословия, выступавшего против изнеженного и аморального дворянского искусства. Проект театральной реформы Риккобони в значительной мере предвосхищал

знаменитое «Письмо к д'Аламберу о зрелищах» Жан Жака Руссо (1758), равно как и драматургические теории Дидро, Мерсье и Ретифа де ла Бретонна. Однако в отличие от Руссо Риккобони не выставлял себя врагом театрального зрелища вообще. Более того, он подчеркивал в своей книге положительное влияние хорошо устроенного театра на детей и юношество. Риккобони настаивал на необходимости широкого народного театрального зрелища: «Театр должен внушать отвращение к пороку и развивать вкус к добродетели тем людям, которые не ходят в иную школу, как только в театр, и которые без наставлений, получаемых ими там, весь век свой не знали бы о своих недостатках и не думали бы вовсе об их искоренении».[101]

Сущность театральной реформы Луиджи Риккобони один из советских исследователей определяет следующим образом: «Если Руссо письмом к д'Аламберу предвосхитил празднества французской революции, Риккобони оказался предшественником революционной цензуры якобинцев, столь же диктаторски — но уже на практике — расправлявшейся с репертуаром дворянского театра».[102]

Термин «якобинство» вряд ли удачен для определения театральных идей Луиджи Риккобони. Но демократические симпатии, третьесословная идеология автора проекта театральной реформы не оставляют никаких сомнений.

Мы намеренно остановились довольно подробно на характеристике театрального опыта Луиджи Риккобони и его эстетических взглядах. Последние дают возможность расширить наши представления об эстетической системе и, в частности, о театральных взглядах Антиоха Кантемира.

В системе общественных и эстетических воззрений Л. Риккобони и А. Кантемира, несомненно, существует известная общность. Как первый, так и второй стоят на позиции просветительской идеологии. Как у первого, так

---

[101] Louis Riccoboni. De la réformation du théâtre. Paris, 1743, p. 100.

[102] И. И. Соллертинский. Французский театр XVIII века в переоценке моралистов третьего сословия. «Временник отдела истории и теории театра», III. Л., 1929, стр. 29. В русской литературе театральные взгляды Риккобони изложены также в следующих работах: А. А. Чебышев. Очерки из истории европейской драмы. Французская «слезная комедия». Воронеж, 1901; С. С. Мокульский. История западноевропейского театра, т. II. М.—Л., 1939, стр. 71, 250—252, 358, 444, 456.

и у второго, помимо элементов просветительского рационализма, мы находим смелую критику сословных привилегий и предрассудков, проповедь личных достоинств и заслуг. Проект Риккобони требовал от театра внимания к вопросам нравственности, ставил перед ним задачу перевоспитания зрителя.

Подобно Л. Риккобони, А. Кантемир также ставил перед искусством утилитарные, воспитательные цели. «Воспитание» для Кантемира было также равносильно распространению передовых просветительских идей в народе. Мысль об использовании театра в просветительских целях, несомненно, была близка Кантемиру. К этой мысли русский автор приближается в седьмой сатире, там, где он говорит о воспитательном значении показа дурных и хороших примеров. Следует также помнить, что Кантемир считал сатирический жанр родственным театральному зрелищу («Сатира начало свое приняла на позорищах»).[103]

Достаточно сравнить одну только седьмую сатиру А. Кантемира с театральными взглядами позднего Риккобони, чтобы убедиться в том, что эстетические системы обоих авторов обнаруживают сходство не только в отправных своих пунктах, но и в таких, например, частностях, как подчеркивание пагубного значения страстей и роли правильного воспитания юношества для развития мощи государства. В седьмой сатире Кантемир писал:

> Главное воспитания в том состоит дело,
> Чтоб сердце, страсти изгнав, младенческо зрело
> В добрых нравах утвердить, чтоб чрез то полезен
> Сын твой был отечеству, меж людьми любезен
> И всегда желателен: к тому все науки
> Концу и искусства все должны подать руки.[104]

Театральные взгляды Л. Риккобони во многом, если только не полностью, разделялись А. Кантемиром. В противном случае осторожный и дальновидный русский автор не стал бы так настойчиво рекомендовать театральный проект Риккобони русскому двору.

---

[103] А. Д. Кантемир, Сочинения, письма и избранные переводы, т. I, стр. 8.

[104] Сатиры и другие стихотворческие сочинения князя Антиоха Кантемира с историческими примечаниями и кратким описанием его жизни, стр. 120.

Самая мысль об осуществлении нового театрального проекта в России была, возможно, подсказана Л. Риккобони Антиохом Кантемиром.

В коллекции автографов Публичной библиотеки в Ленинграде сохранилось письмо Кантемира на французском языке к неустановленному лицу, датированное 19 (8) марта 1743 г. Возможно, что письмо относится к последнему этапу борьбы Кантемира с министром Амело за снятие ареста с книги Риккобони и что оно адресовано одному из чиновников синдикальной палаты, ведавшей делами цензуры. Приводим текст письма:

Перевод

Милостивый государь!

Из прилагаемого письма вы увидите, что господин Амело направляет меня к вам для возвращения мне из синдикальной палаты тюка книг, каковые были ею у меня арестованы.[105] А посему прошу вас, милостивый государь, для выполнения указанной цели выдать мне письменное распоряжение через моего слугу, который будет иметь честь вручить вам это письмо. Я буду вам чувствительно благодарен за это, продолжая питать к вам, милостивый государь, глубокое уважение и самое искреннее почтение. Ваш преданнейший и покорнейший слуга

кн. А. Кантемир.[106]

Париж, 19/8 марта 1743 г.

Связям А. Кантемира с Л. Риккобони, которые, если судить по письму Пьера Морана к русскому писателю от 13 января 1739 года, завязываются в скором времени после приезда А. Кантемира в Париж и носят весьма приятельский характер, мы склонны придавать самое серьезное значение. Следует думать, что не без участия Л. Риккобони возникло довольно близкое знакомство А. Кантемира с основоположником французской «слезной комедии» Пьером-Клодом Нивелль де ла Шоссе (1692—1754). К сожалению, о содержательных и продолжительных связях А. Кантемира с Нивелль де ла Шоссе мы можем судить только по небольшому отрывку недатированного письма к последнему русского писателя. Названный

[105] Вероятно, речь идет о каком-то количестве экземпляров книги Риккобони, приобретенных Кантемиром для отправки в Россию.

[106] Письмо А. Кантемира к неизвестному от 19 (8) марта 1743 г. ГПБ, собрание Э. П. Юргенсона.

отрывок, текст которого в русском переводе приводится ниже, был напечатан в 1887 г. в издании автографов Альфреда Бове, описанных Этьеном Шаравеем (Etienne Charavay): «Я всегда испытывал столько удовольствия, слушая то, что диктует вам ваша любезная муза, что и сейчас нетерпеливо желаю насладиться тем, что доставит мне ее новое произведение. Свое удовольствие я разделю, однако, с компанией весьма немногочисленной, но с неменьшим восторгом, чем я, готовой вас послушать».[107]

Из приведенного отрывка видно, что Нивелля де ла Шоссе неоднократно приглашали в немногочисленную компанию лиц, которая собиралась у А. Кантемира; там знаменитый французский драматург читал свои новые пьесы. Названное письмо подтвердило правильность поэтической интуиции К. Н. Батюшкова, который в своем «Вечере у Кантемира» квартиру последнего сделал местом встречи французских литераторов. Заметим, что двухтомное издание комедий Нивелль де ла Шоссе хранилось в парижской библиотеке А. Кантемира.

Как бы ни была заманчива задача установления участников кантемировских «вечеров» и воссоздания бытовой обстановки и психологической атмосферы, в которых они проходили, решить подобную задачу в полном объеме в настоящее время не представляется возможным. Тем не менее присутствие на этих «вечерах» Луиджи Риккобони — факт бесспорный. Риккобони, как было сказано выше, не только выступал в защиту «слезной комедии», но и был связан с Нивелль де ла Шоссе отношениями близкой дружбы. Вероятно, А. Кантемиру как хозяину дома на этих «вечерах» принадлежала заметная роль. Несомненно также, что на них обсуждались вопросы русской жизни. К. Н. Батюшков, заставлявший Кантемира прославлять перед французскими писателями Петра I и отстаивать Россию и великую будущность ее культуры, стоял на правильном пути к раскрытию реального образа русского писателя-просветителя.

Заканчивая характеристику связей А. Кантемира с Л. Риккобони, скажем, что книга «О преобразовании театра», которой так не повезло в 1743 г., через четверть века, в 1767 г., вышла вторым изданием. К тому времени

---

[107] М. П. Алексеев. Монтескье и Кантемир. «Вестник Ленинградского университета», 1955, № 6, стр. 74.

устои дворянской идеологии и эстетики рушились один за другим, и в соответствии с этим увеличилось число сторонников радикальной реформы французского театра. Второе издание книги Риккобони вышло с небольшим добавлением «Средства сделать комедию полезной для нравов», написанным неким де Б***. В предисловии к этому добавлению автор его писал: «Много лет тому назад г. Риккобони напечатал трактат под названием „О преобразовании театра“. Отношение публики к идеям автора было забавным: она отдавала должное его уму, но не одобряла, как правило, указанных им средств к преобразованию, которые действительно были почти равнозначны полному уничтожению зрелищ. Но так как произведение это имеет своих сторонников и содержит действительно полезные предписания, которыми можно воспользоваться, издатель решился на новое издание книги».[108]

Таким образом, и через четверть века после смерти А. Кантемира изданная при его содействии книга Л. Риккобони продолжала оставаться силой, формирующей театральную и литературную жизнь Франции.

---

[108] De la réformation du théâtre. Par Louis Riccoboni. Nouvelle édition augmentée de moyens de rendre la comédie utile aux moeurs. Par M. de B***. Paris, 1767, pp. 4—5.

Ломоносов и „История Российской империи при Петре Великом" Вольтера *

«История Российской империи при Петре Великом» Вольтера уже не однажды привлекала к себе внимание исследователей. Перечень работ, частично или специально посвященных этому труду прославленного французского писателя-просветителя, насчитывает к настоящему времени не один десяток названий.[1] Тем не менее нельзя сказать, что «История Российской империи при Петре Великом» более или менее обстоятельно изучена. Самого серьезного внимания по-прежнему заслуживает, на наш взгляд, история написания книги. В дополнительном изучении нуждается, в частности, также вопрос о характере и степени участия М. В. Ломоносова в создании названного труда Вольтера, вопрос, который уже рассматривался в работах Е. Ф. Шмурло и А. И. Андреева.

---

* Статья первоначально опубликована в сборнике «XVIII век» (вып. 3, М.—Л., 1958, стр. 170—186).

[1] Ниже перечисляются наиболее важные из этих исследований: Е. Ф. Шмурло. Петр Великий в оценке современников и потомства, вып. 1. СПб., 1912, стр. 49—60 перв. пагин. и стр. 70—80 втор. пагин.; E. F. Šmurlo. Voltaire et son oeuvre «Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand». Prague, 1929, Н. С. Платонова. Вольтер в работе над «Историей России при Петре Великом». «Литературное наследство», т. 33—34, М., 1939, стр. 1—24; А. И. Андреев. Ломоносов и Крашенинников. Сб. «Ломоносов», вып. 1, под ред. А. И. Андреева и Л. Б. Модзалевского, М.—Л., 1940, стр. 294—296, 301; А. И. Андреев. Неизвестные труды Ломоносова по географии, этнографии и истории России. Там же, стр. 297—301; М. П. Алексеев. Вольтер и русская культура XVIII века. Сб. «Вольтер. Статьи и материалы», Л., 1947, стр. 14—25.

Выяснению этого вопроса главным образом и посвящается настоящая статья.

Свой труд по истории России Вольтер создавал по заданию русского правительства, заинтересованного, разумеется, не только в том, чтобы автором истории Петра I выступил всеевропейски известный писатель, но и в том, чтобы труд этот был написан в благожелательном по отношению к России направлении. Посредник в сношениях русского правительства с Вольтером И. И. Шувалов, будучи весьма высокого мнения об исторических изысканиях и поэтическом творчестве Ломоносова, склонен был, разумеется, предоставить ему самые широкие полномочия как для оказания помощи Вольтеру, так и для того, чтобы воздействовать на него в нужном направлении.

К трудам иностранных авторов, писавших о России, Ломоносов относился с законным недоверием, так как в них, как правило, излагались самые предвзятые мнения о русском народе, его культуре и истории. «Немало имеем свидетельств, — писал Ломоносов, — что в России толь великой тьмы невежества не было, какую представляют многие внешние писатели. Инако рассуждать принуждены будут, снесши своих и наших предков и сличив происхождение, поступки, обычаи и склонности народов между собою».[2] С чувством известного недоверия отнесся Ломоносов и к замыслу русских правительственных кругов поручить написание русской истории Вольтеру. Считаясь, однако, с уже совершившимся фактом, Ломоносов включился в работу по сбору и редактированию материалов, предназначенных для Вольтера. До нас не дошло написанное летом 1757 г. письмо к Ломоносову И. И. Шувалова, в котором, как следует полагать, помимо сообщения о поручении Вольтеру работы по истории Петра Великого, содержалось также и обращенное к Ломоносову приглашение принять участие в разработке материалов, необходимых французскому писателю. Ответное письмо от 2 сентября 1757 г., равно как и другие письма Ломоносова к тому же адресату, свидетельствуют об исключительной заинтересованности их автора в снабжении Вольтера материалами по истории России. «У меня, — писал Ломоносов

---

[2] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. VI, М.—Л., 1952, стр. 170.

И. И. Шувалову, — сколько есть записок о трудах великого нашего монарха, все для сего предприятия готовы».[3]

Предлагая свой план для работы Вольтера, Ломоносов предвидел и возникавшие в связи с этим трудности, в частности связанные с необходимостью перевода отобранных материалов на французский язык. Работа канцелярии И. И. Шувалова не отличалась оперативностью. Так, например, французский перевод «Слова похвального... Петру Великому» Ломоносова был издан в Петербурге в июле 1759 г. и только в сентябре этого года попал в руки Вольтера, хотя еще 2 сентября 1757 г. Ломоносов писал Шувалову о необходимости срочного изготовления этого перевода. Между тем, приступив летом 1757 г. к написанию «Истории России при Петре Великом», Вольтер работал с таким увлечением и быстротой, что уже в августе 1757 г. прислал в Петербург первые восемь глав своей книги. Труд его носил тем не менее явные признаки того крайне ограниченного представления о России, русском народе и его культуре, которое было свойственно почти всем «внешним» авторам, писавшим на русскую тему, и которое преодолеть в своем труде при всем желании Вольтер не смог. Письма, относящиеся к периоду его работы над историей Петра I (1757—1763), полны жалоб на слабое поступление архивных материалов из России, в которых нетрудно услышать признание автора в слабом знакомстве с избранным сюжетом. Особенно характерно в этом отношении письмо Вольтера к Б. М. Салтыкову, написанное не ранее июня 1759 г. (точной даты письмо не имеет). Спрашивая адресата, как правильно транскрибируется слово «раскольники» (Kalkonistky, ou Ratzoniski, ou Ralkoniky, ou Roskolchiqui), Вольтер даже не пытается скрыть своего раздражения (т. 40, стр. 115).[4]

Присланные на одобрение И. И. Шувалову восемь глав «Истории Российской империи при Петре Великом» ни с какой стороны не могли удовлетворить Ломоносова, насколько можно судить по составленным им «примечаниям» на рукопись Вольтера.[5]

---

[3] М. В. Ломоносов, Сочинения, т. VIII, М.—Л., 1948, стр. 197.

[4] Как здесь, так и ниже в скобках дается указание на том и страницу редактированных Л. Моланом «Oeuvres complètes de Voltaire» (1—52, Paris, 1877—1885).

[5] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. VI, стр. 89—96.

Ломоносов увидел в труде французского автора и умаление значения Петра I, и переоценку роли Лефорта и иностранных генералов, и обильное количество фактических ошибок и неточностей, включая и такие, как, например, неправильное написание «российских имен».

Нам неизвестно, в каком виде были отправлены Вольтеру «примечания» Ломоносова. Вероятнее всего, они были объединены Шуваловым с замечаниями других членов Петербургской Академии наук на эту же рукопись и в отредактированном и обобщенном виде отосланы Вольтеру. Нам известно, однако, что некоторые замечания Ломоносова были учтены автором «Истории Российской империи при Петре Великом».[6]

В подготовительных рукописных материалах к «Истории Российской империи при Петре Великом», хранящихся в Библиотеке Вольтера в Государственной Публичной библиотеке, находятся несколько обособленных друг от друга документов, в которых содержатся полученные им из России замечания как на первые восемь глав, так и на всю первую часть его труда.[7] Авторы документов не обозначены, и это, вероятно, не простая случайность: известно, что некоторые из адресованных Вольтеру замечаний вызывали у него необычайно острую отрицательную реакцию. Отсюда не следует, однако, что И. И. Шувалов тщательно скрывал от Вольтера имена тех членов Петербургской Академии наук, которые принимали посильное участие в написании труда Вольтера.

До нас, к сожалению, дошла только незначительная часть писем И. И. Шувалова к Вольтеру, и поэтому трудно судить о том, насколько подробно освещалась в них работа русских ученых, занятых подготовкой материалов к «Истории Российской империи при Петре Великом».[8]

---

[6] Там же, стр. 563—568.

[7] ГПБ, Библиотека Вольтера, № 242, т. I, лл. 325—390. Названные выше подготовительные материалы, хранящиеся в Библиотеке Вольтера под шифром № 242, состоят из пяти объемистых томов.

[8] Известно всего лишь четыре письма И. И. Шувалова к Вольтеру, из которых три опубликованы в «Литературном наследстве» (т. 29—30, М., 1937, стр. 159—161; т. 33—34, М., 1939, стр. 1—24). Четвертое, неопубликованное письмо (от 19 ноября 1760 г.) хранится в Собрании автографов ГПБ (папка «И. И. Шувалов»). Перевод названного письма см. в Приложении к настоящей статье.

Летом 1759 г. в числе других материалов Шуваловым был послан Вольтеру французский перевод «Слова похвального Петру Великому» Ломоносова. Как известно, Ломоносов твердо рассчитывал на то, что ощущавший большую потребность в материалах Вольтер «сочиненный мною панегирик (т. е. «Слово похвальное», — *Ф. П.*) не без пользы употреблять может».[9] Это желание Ломоносова, вероятно, было передано Шуваловым по назначению. Несомненно, произведение русского поэта и ученого было прочитано Вольтером. На экземпляре перевода «Похвального слова» Ломоносова, хранящегося в Библиотеке Вольтера, имеется рукописная пометка.[10]

В письме к И. И. Шувалову от 18 сентября 1759 г. Вольтер писал: «Я получил Панегирик Петру Великому, который ваше сиятельство соблаговолили мне прислать. Вполне справедливо то, что член вашей Академии возносит похвалы этому императору. По этой же причине люди обязаны петь хвалу богу, ибо непременно надлежит хвалить того, кто нас создал. В этом панегирике действительно есть красноречие. Я вижу, что ваш народ скоро начнет отличаться своей литературой в такой же степени, как и оружием; но этому он будет обязан прежде всего вам, милостивый государь. Что касается меня, то я вам обязан за получение от вас записок, более поучительных, нежели панегирик. То, что является лишь похвалой, часто может служить только для оценки способностей автора. Уже одно название заставляет насторожиться читателя; только одни исторические истины могут заставить рассудок верить и восхищаться. Наилучший панегирик Петру

---

[9] М. В. Ломоносов, Сочинения, т. VIII, стр. 196—197.

[10] См.: Panégyrique de Pierre le Grand, prononcé dans la séance publique de l'Académie Impériale des Sciences le 26 avril 1755, par M. Lomonosov, Conseilleur et Professeur de cette Académie et traduit sur l'original Russien par M. le Baron de Tschoudy, St.-Petersbourg, 1759. ГПБ, Библиотека Вольтера, № 242, т. III, лл. 258—278. На последней, 42-й странице (л. 278 об.) «Панегирика», после слов «слезы, которые проливали две сестры, две дочери Петра, разлучаясь» поставлен крестик и на полях написано: «Da bord aprés la mort de Pierre le Grand sa fille la Princesse Anna fut envoiée en Holstein» («Сперва после смерти Петра Великого дочь его царевна Анна была отправлена в Голштинию»). Текст этот зачеркнут и вместо него написано: «Après la mort de Pierre le Grand et de l'Imperatrice Caterine sa fille la Princesse Anna fut envoiée en Holstein» («После смерти Петра Великого и императрицы Екатерины дочь его царевна Анна была отправлена в Голштинию»).

Великому, по моему мнению, — его камер-фурьерский журнал, в котором он всегда виден занятым мирными искусствами среди войны, пробегающим из края в край своей страны в качестве законодателя, защищая ее в то же время от Карла XII. Я всегда жду от вас новых записок с неудержимым рвением, которое вы мне внушили» (т. 40, стр. 174—175).

Никакого комментария приведенное письмо Вольтера в нашей литературе не получило, а между тем смысл его далеко не сразу уясняется.

И желание Вольтера подчеркнуть, что ему в работе нет особенной необходимости обращаться к «Слову похвальному» Ломоносова, и отсутствие в приведенном письме даже простого упоминания имени русского писателя и ученого нельзя назвать случайностью. Вольтер, конечно, хорошо понимал, что «Слово похвальное» Ломоносова не отменяло значения камер-фурьерского журнала, что оно принадлежало к разряду произведений художественно-публицистических, написанных согласно требованиям и правилам избранного жанра. Жанр похвального слова был широко распространен в современной Вольтеру французской литературе. Хорошо известный Вольтеру французский писатель Антуан-Леонар Тома (1732—1785) посвятил в 1773 г. этому жанру специальное исследование «Опыт о похвальных словах», в котором, кстати сказать, дал исключительно высокую и восторженную оценку «Слову похвальному» Ломоносова.[11] К жанру и стилистическим приемам похвального слова неоднократно прибегал в своей литературной деятельности и Вольтер. Достойно внимания также и то, что, получив в 1771 г. от кн. Е. Р. Дашковой экземпляр похвального слова Петру I, произнесенного по случаю Чесменского боя тверским архиепископом Платоном, Вольтер писал Екатерине II в письме от 15 мая 1771 г.: «Сие слово, обращенное к основателю Петербурга и вашего флота, является, на мой взгляд, одним из замечательнейших в мире памятников. Я полагаю, что никогда ни один автор не имел столь счастливой темы для своего „Слова“, не исключая и греческого Платона» (т. 47, стр. 431—432). Сравнение русского архимандрита с древнегреческим философом

---

[11] Essai sur les éloges, par Thomas, de l'Académie Française, t. II. Paris, 1804, pp. 281—282.

(«Архимандрит по имени Платон, столь же красноречивый, как и афинянин») Вольтер не забыл повторить также и в письме к А. Л. Тома от 14 июня 1771 г. (т. 47, стр. 450).

Неоднократно высказывал Вольтер восхищение также историческими познаниями и красноречием И. И. Шувалова, называя при этом себя «секретарем» последнего (ср. т. 39, стр. 470; т. 40, стр. 359). В свете этих фактов трудно понять, почему «Слово похвальное» Ломоносова получило столь сдержанную, более того, уклончивую и двусмысленную оценку Вольтера.

Следует думать, что Вольтеру стало известно желание Ломоносова оказать своим «Словом похвальным» воздействие на общее направление и план «Истории России при Петре Великом». Это желание Вольтер мог оценить как посягательство на свою авторскую самостоятельность, как претензию члена Петербургской Академии на соавторство с ним, Вольтером. Только уязвленное авторское самолюбие Вольтера могло, на наш взгляд, продиктовать ему письмо к И. И. Шувалову от 18 сентября 1759 г., в содержании и в самом тоне которого Вольтер явно отступал от этикета, соблюдавшегося им по отношению к всесильному русскому вельможе.

Оценка «Слова похвального» Ломоносова, данная Вольтером, является, может быть, первым, но отнюдь не заключительным звеном в истории своеобразного «общения» этих двух крупнейших представителей просветительной мысли XVIII в. Возникнув однажды, интерес Вольтера к Ломоносову не мог исчезнуть бесследно.

В перечисленных выше работах А. И. Андреева были установлены новые факты, свидетельствующие об огромной заинтересованности Ломоносова в подборе, редактировании, а отчасти и написании различных «экстрактов» и других материалов, предназначавшихся для «Истории России при Петре Великом». Отправленные Вольтеру и частично им использованные «Описание стрелецких бунтов», «Описание Камчатки», «Описание России» были подготовлены и написаны при самом непосредственном участии Ломоносова.

Когда в начале 1760 г. Вольтером был послан в Россию пробный экземпляр первого тома «Истории Российской империи при Петре Великом», Ломоносов написал

на него замечания, ставившие целью повысить научный уровень книги.[12]

Е. Ф. Шмурло и А. И. Андреевым, как выясняется, были установлены далеко не все материалы, которые через И. И. Шувалова Ломоносов посылал автору «Истории Российской империи при Петре Великом». Так, например, в начале 1760 г. Ломоносов отправил Вольтеру французский перевод своего «Краткого летописца», о чем более подробно будет сказано несколько ниже.

Огромное, поистине самоотверженное участие, проявляемое Ломоносовым в деле снабжения Вольтера необходимыми ему материалами, должно было привлечь внимание последнего, чему не могли не способствовать также и непрекращавшиеся связи Вольтера с русскими людьми. Здесь следует упомянуть прежде всего Бориса Михайловича Салтыкова (1723—1808), отправленного в мае 1759 г. в Женеву в качестве специального посредника в отношениях И. И. Шувалова с Вольтером. В существующей литературе, к сожалению, нельзя найти сколько-нибудь обстоятельных сведений о Б. М. Салтыкове,[13] хотя деятельность этого человека для историка русской литературы представляет несомненный интерес. Воспитанник дворянской гимназии, основанной при Московском университете, Б. М. Салтыков был одним из ранних представителей русского «вольнодумства» XVIII века. Он имел самое непосредственное отношение также и к русской литературе своего времени. Отметим здесь один не упоминавшийся в литературе факт: приблизительно в период пребывания в Женеве Б. М. Салтыков был занят переводом на русский язык анонимного французского романа «Амуры графа де Суассона и герцогини делль Бефф». Рукопись названного перевода хранится в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде.[14] У Б. М. Салтыкова, как следует полагать, были связи не

---

[12] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. VI, стр. 359—364 и 592—594.

[13] См.: «Библиографические записки», 1861, т. 3, стлб. 71, 78—80; «Русский архив», 1879, № 12, стр. 418—419; Л. Б. Модзалевский. Собеседник Вольтера Б. М. Салтыков и два его новых письма 1760—1761 гг. Сб. «Вольтер. Статьи и материалы», стр. 174—184.

[14] ГПБ, Отдел рукописей: Q.XV.124. Рукопись на 154 лл. На рукописи рукою переписчика поставлена дата: «20 мая 1760 г.».

только с Вольтером, но и со многими парижскими писателями. В письме к И. И. Шувалову от 1 июня 1760 г. А. Р. Воронцов писал о Б. М. Салтыкове следующее: «Г-н Салтыков не испортил репутации, которую он завоевал себе по справедливости. Многие литераторы (gens de lettres) рассказывали мне о нем неоднократно в Париже, и всегда с похвалой, которую он заслужил. Это человек большого ума и прилежания, он делает честь Московской императорской Академии и выбору вашего превосходительства».[15]

Из переписки Вольтера мы узнаем, что Б. М. Салтыков поддерживал близкие связи с фернейским отшельником, часто посещал его и подолгу беседовал с ним. В этих беседах должны были с неизбежностью затрагиваться вопросы, связанные с состоянием русской культуры и литературы. Сам Салтыков в письме к И. И. Шувалову от 11 (22) июля 1760 г. из Женевы писал: «Он (Вольтер, — *Ф. П.*) всегда питает наилучшие чувства к особе покровителя российских муз (это его манера выражения)».[16] О повышенном интересе Вольтера к «российским музам», т. е. русской науке, культуре и литературе, мы находим многочисленные свидетельства в его сочинениях и переписке.

В письме к И. И. Шувалову от 1 апреля 1760 г. Вольтер с восхищением отзывался о двух русских путешественниках, друзьях Б. М. Салтыкова, гостивших в Фернее несколько дней: «Они говорят на моем языке в такой же мере правильно, в какой вы на нем пишете. Я еще не видел среди ваших соотечественников таких, которые не убеждали бы меня в достоинствах вашего народа» (т. 40, стр. 342). Нам неизвестны имена этих путешественников, однако не исключена возможность, что одним из них был молодой А. Р. Воронцов. О том, что А. Р. Воронцов был частым гостем Вольтера в этом году, мы узнаем из письма французского просветителя к И. И. Шувалову от 7 июня 1760 г., в котором Вольтер писал: «Молодой г. Воронцов сделал мне честь своими многократными посещениями моего убежища и укрепил мое рвение по отношению к вашей стране. Все молодые люди, состоящие при вашем дворе, которых я видел, кажутся намного

[15] П. А. Вяземский. Фонвизин. СПб., 1848, стр. 305.
[16] Там же.

старше своего возраста; но г. Воронцов возвышается, как мне кажется, над нами всеми» (т. 40, стр. 412). Важно отметить, что А. Р. Воронцов принадлежал к числу почитателей Ломоносова и стремился всеми доступными средствами пропагандировать труды великого русского ученого и писателя за границей. Так, например, в неопубликованном письме к Я. Я. Штелину, написанном в Париже 10 (21) июня 1760 г., А. Р. Воронцов писал: «Г-н Павлов передал мне, милостивый государь, по моем прибытии сюда письмо, которое вы соблаговолили мне написать, вместе с одой г. Ломоносова, за которую я вам весьма признателен. Она, конечно, разрушает представление о том, что поэзия не может развиваться в соседстве с северными льдами. Если здесь когда-либо сомневались в хорошем состоянии петербургских муз, то вот, может быть, случай, благодаря которому наша литература станет известна за границей».[17]

Заметим здесь же, что и в другом своем письме к Я. Я. Штелину из Вены — от 27 августа (7 сентября) 1761 г. — А. Р. Воронцов также благодарил адресата за присылку какого-то научного труда Ломоносова («observations de M. Lomonossow»).[18]

Если А. Р. Воронцов с таким рвением стремился на примере Ломоносова рассеять предубеждения иностранцев в отношении возможностей развития русской науки и литературы, то естественно будет предполагать, что в роли пропагандиста научных и поэтических трудов Ломоносова должен был выступить А. Р. Воронцов прежде всего перед Вольтером.

Можно было бы привести немало примеров того, что начиная с середины XVIII в. возможность появления на Западе русских путешественников, пропагандировавших Ломоносова, становилась все более и более реальной. Ярким подтверждением этому является, в частности, и «Письмо русского вельможи к ***», напечатанное в 1760 г. в одном из парижских журналов и содержавшее довольно обстоятельный очерк творчества двух русских писателей, Ломоносова и Сумарокова.[19]

---

[17] ГПБ, Отдел рукописей, фонд Я. Я. Штелина, ед. хран. 409.
[18] Там же.
[19] См.: П. Н. Берков. О «Письме молодого русского вельможи». Сб. «XVIII век», вып. 1, М.—Л., 1935, стр. 351—366.

Особенно участившиеся начиная с 1759 г. встречи Вольтера с русскими людьми, многочисленные беседы знаменитого французского просветителя на русские темы, в частности на тему о Ломоносове, и послужили, как мне кажется, основой для написания Вольтером в мае 1760 г. стихотворного памфлета под названием «Русский в Париже». Это произведение рельефно отразило то представление о русской культуре и ее деятелях, которое сложилось у французского писателя в связи с его работой над историей России и вызванными этой работой многообразными личными и письменными общениями с русскими людьми. Сатирический памфлет Вольтера носил подзаголовок «Маленькая поэма в александрийских стихах, составленная в Париже, в мае месяце 1760 года Иваном Алетовым, секретарем русского посольства» (т. 10, стр. 119). Скрываясь под вымышленным именем русского писателя Алетова, Вольтер разоблачал и беспощадно высмеивал в памфлете своих идейных противников, представителей воинствующего католицизма и клерикальной реакции, Лефрана де Помпиньяна и его единомышленников.

Поэма «Русский в Париже» была написана в виде диалога между парижанином и русским путешественником, прибывшим в Париж с намерением приобщиться к сокровищам французской культуры. Наделенный трезвым и критическим умом, русский путешественник сразу же убеждается в том, что ему нечего делать в Париже: культура великого народа померкла от засилья ханжей и иезуитов, свободная мысль преследуется. Чувство восхищения французской культурой сменяется у русского путешественника чувством сострадания. Он покидает Францию, обещая вернуться тогда, «когда французы станут иными» (т. 10, стр. 131).

Можно предположить, что образ представителя русской культуры в памфлете «Русский в Париже» складывался в сознании Вольтера под заметным воздействием тех рассказов о Ломоносове, которые приходилось слышать французскому писателю от его русских знакомых. Судить об этом позволяет небольшое предисловие Вольтера к памфлету, в котором дана краткая характеристика Ивана Алетова, воображаемого автора произведения, образ которого служил дополнением к образу русского путешественника.

«Всему миру известно, — сообщал здесь Вольтер, — что г. Алетов изучал французский язык в Архангельске, откуда он родом, занимался художественной литературой с невероятным рвением и достиг в этом еще более невероятных успехов: его труды разрушили его здоровье. Он легко возбуждался, как и Гораций [был] irasci celer.[20] Он никогда не прощал авторам, наводившим скуку» (т. 10, стр. 119).

Возникновение русской темы в художественном творчестве Вольтера не являлось чем-то неожиданным. В связи с Семилетней войной русская тема нашла самый широкий отклик во всех европейских странах. Характерно, однако, что Вольтера заинтересовала в данном случае не русская тема вообще, а тема русского мыслителя и писателя. Если замыслу Вольтера хоть в какой-либо мере соответствовала реальность, то она, несомненно, была связана с личностью и образом Ломоносова. И место рождения, и упорство в преодолении трудностей, и принципиальность изображенного Вольтером русского литератора вполне совпадают с теми сведениями о Ломоносове, которые в то время уже начали проникать в западноевропейскую печать.

Автор, разумеется, не ставил перед собой цели добиться портретного сходства образа Ивана Алетова с Ломоносовым, поскольку главной задачей памфлета «Русский в Париже» была борьба с клерикальной реакцией во Франции. Вместе с тем, создавая образ положительного героя, представителя самобытной русской культуры, Вольтер едва ли мог не вспомнить оригинальную фигуру выдающегося русского писателя и ученого — Ломоносова. Автор памфлета хорошо понимал, что Ломоносов — примечательнейшее явление русской культуры своего времени, тогда как Шувалов, Воронцов, Салтыков и другие, которыми Вольтер, соблюдая этикет, продолжал восхищаться, при всех их достоинствах — личности заурядные.

И вместе с тем великий французский просветитель не мог быть доволен «вмешательством» Ломоносова в работу над «Историей Российской империи при Петре Великом». Вольтеру казалось, что критика петербургских ученых помешает своевременному и успешному завершению его труда.

---

[20] Вспыльчив.

В апреле 1760 г., как уже указывалось выше, Вольтер отправил в Петербург на одобрение первый том своего труда. В ожидании замечаний на него из Петербурга 9 августа 1760 г. Вольтер писал де Мэрану: «Я совсем не хотел выпускать в свет этот том, не выставив его предварительно на критику ученых из Архангельска и Камчатки» (т. 40, стр. 498). В этих словах отразилась, на мой взгляд, тревога Вольтера в связи с ожидаемыми им критическими замечаниями Ломоносова и Миллера на «Историю Российской империи при Петре Великом». Ответ из Петербурга был получен Вольтером только в начале 1761 г. Замечания Ломоносова, как и замечания Миллера и Тауберта, носили весьма серьезный характер.[21] Петербургские критики обнаружили в книге Вольтера большое количество уязвимых мест, и это обстоятельство не могло не встревожить автора, подтверждением чего является его письмо к И. И. Шувалову от 11 июня 1761 г. Вольтер отвечал раздраженно и, отказываясь от последовательного рассмотрения полученных замечаний, переходил к критике присылаемых Шуваловым материалов, ставя под сомнение их научную ценность. С особой силой нападал Вольтер на полученное им накануне из Петербурга «Abrégé des recherches de l'antiquité des Russes, tiré de l'Histoire étendue à laquelle on travaille». Достаточно сравнить приведенное Вольтером название с названием первой части «Краткого российского летописца» Ломоносова («Показание российской древности, сокращенное из сочиняющейся пространной истории»), чтобы убедиться в том, что именно этот труд Ломоносова и имел в виду Вольтер в упомянутом письме. Впрочем, в этом нас убеждает не одно только сличение названий, но также и сравнение содержания «Показания российской древности» Ломоносова с тем его выборочным и несколько искаженным изложением, которое дано в письме Вольтера:

«Эта странная записка начинается рассказом о том, „что древность славян простирается до Троянской войны и что король их Полимен ездил с Антенором на край Адриатического моря и т. д.“. Подобным образом у нас писали историю лет тысячу тому назад; подобным образом через Гектора выводили наше происхождение от

---

[21] См.: М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. VI, стр. 359—364.

Франкуса и, по-видимому, из-за этого хотят восстать против моего предисловия, в котором я указываю, как следует думать об этих жалких вымыслах. У вас, милостивый государь, слишком много вкуса, слишком много разума и ясности мысли, чтобы в столь просвещенный век допустить, чтобы такие смешные примеры выставлялись бы в виде образца.

«Я подозреваю, что тот же самый немец[22] является сочинителем и этой записки, ибо я вижу, как в ней Jvanovitz, Basilovitz написаны следующим образом: Wanovitsch, Wassiliewitsch. Я пожелал бы этому человеку побольше рассудка и поменьше согласных [...].

«Поверьте мне, милостивый государь, и держитесь вы Петра Великого. Я отдаю на ваше усмотрение наших Шильперика, Шильдерика, Сижеберта, Кариберта и равняюсь на Людовика XIV.

«Если вы, ваше сиятельство, думаете так же, как я, то покорнейше прошу известить меня об этом» (т. 41, стр. 319—320).

По счастливой случайности до нас дошел черновик ответного письма Шувалова к Вольтеру, из которого мы узнаем, что всесильный русский вельможа поспешил успокоить своего знаменитого и взыскательного корреспондента. Не называя имен ни авторов «Замечаний», ни автора «Показания», Шувалов признал справедливыми требования Вольтера.[23]

Вряд ли есть необходимость отводить от Ломоносова обвинения в том, что он в своей истории слепо следовал мифам и народным преданиям. Еще в «Замечаниях на диссертацию Миллера» (1749) Ломоносов писал: «Правда, что и в наших летописях не без вымыслов меж правдою, как то у всех древних народов история сперва баснословна, однако правды с баснями вместе выбрасывать не должно, утверждаясь только на одних догадках».[24] Об «известиях невероятных»[25] летописного пре-

---

[22] В опущенной части цитируемого письма Вольтер подвергал критике полученные из Петербурга замечания на первый том его «Истории России», одним из авторов которых был Г. Ф. Миллер.

[23] Н. С. Платонова. Вольтер в работе над «Историей России при Петре Великом», стр. 19—20.

[24] М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. VI, стр. 20.

[25] Там же, стр. 296.

дания говорил Ломоносов и в «Показании российской древности», французский перевод которого читал и подвергал критике Вольтер. Однако в том же «Показании» Ломоносов приводил пример того, какой реальный смысл могли содержать отдельные «баснословные» предания.

Ломоносов-историк относился с большим уважением к национальным летописным преданиям, хотя, как мы видели, и отдавал себе отчет в том, что истина в последних нередко смешивается с вымыслом. Ломоносов дорожил при этом не вымыслом как таковым, а тем реальным зерном, которое могло лежать в его основе.

Впрочем, искренность Вольтера там, где он критикует «устаревшие» методы исторического исследования Ломоносова, крайне сомнительна.

Среди многочисленных материалов, которые начиная с 1757 г. И. И. Шувалов посылал Вольтеру, многие были сделаны наспех, содержали непроверенные сведения, ошибочные взгляды, несостоятельные гипотезы. Тем не менее Вольтер никогда не подвергал названные материалы критике, так как ему предоставлялась полная свобода в характере и степени их использования. В критике, направленной на «Показания российской древности» Ломоносова, нашли отражение не столько убеждения Вольтера, сколько его раздражение, угнетенное состояние духа. Замечания петербургских критиков на первый том «Истории Российской империи при Петре Великом» были расценены Вольтером как стремление поколебать его авторитет как историка, и отсюда возникает у него желание нанести удар авторам или основному автору «Замечаний». Указание Вольтера в письме к Шувалову от 11 июня 1761 г. на то, что, якобы, он воюет с немцами, засевшими в Петербургской Академии наук, на мой взгляд, нельзя принимать всерьез; оно сделано из предосторожности, чтобы не оскорбить чувства национальной чести И. И. Шувалова. Вольтер не мог не знать, что над пространной историей России, отрывок из которой он подвергал столь суровой критике, в течение ряда лет трудился Ломоносов.

В работе над «Историей Российской империи при Петре Великом» Вольтер обнаружил огромную силу исторического мышления, незаурядные качества историка, разделяющего передовые идеи эпохи. Поставленная Вольтером задача — написать историю Петра I не

как биографию выдающейся исторической личности, а как экономическую и культурную историю целого народа, была новаторской и смелой.

Принадлежавшая Ломоносову концепция истории Петра I остается для нас неизвестной, и трудно поэтому посредством сравнения на конкретных примерах дать оценку преимуществ и недостатков исторических взглядов Вольтера, с одной стороны, и Ломоносова — с другой. Сильные и слабые стороны исторической концепции Ломоносова в достаточной мере освещены советской наукой.[26]

Как бы то ни было, воздействие старой, «описательной» традиции на концепцию автора «Древней российской истории» значительно, однако Ломоносов-историк обнаружил ряд важных достоинств не только в своих общих воззрениях (проблема происхождения славянства и русского народа, проблема периодизации истории России и т. д.), но и при рассмотрении конкретных явлений русского исторического процесса.

Одно из достоинств исторической концепции Ломоносова обнаружилось и в его полемике с Вольтером-историком. Ломоносов воспринимал русский исторический процесс в его целостности. Деятельность Петра I была для него логическим завершением многовековой истории Русского государства. Исходя из этого взгляда, Ломоносов и в цитированном выше письме 1757 г. к Шувалову, и в замечаниях на «Историю Российской империи при Петре Великом» Вольтера настаивал на необходимости ввести в последнюю не только материалы по предшествующим царствованиям, но и представить в ней даже краткий очерк древней русской истории.

Подобная точка зрения, как известно, вызывала неоднократные возражения Вольтера, считавшего излишним заходить в глубокую «варварскую древность». Собственный взгляд на этот вопрос Вольтер изложил довольно обстоятельно в цитированном выше письме к И. И. Шувалову. Заметим тут же, что подобная точка зрения разделялась не только Вольтером, но и большинством французских просветителей. Не случайно Дени Дидро, позна-

---

[26] См.: Б. Греков. Ломоносов-историк. «Историк-марксист», 1940, № 11, стр. 18—34; К. Пономарева. У истоков русской исторической науки. «Исторический журнал», 1940, №№ 4—5, стр. 85—92.

комившись в конце 70-х годов XVIII в. с «Древней российской историей» Ломоносова и отдавая должное «большим разысканиям» автора, писал: «Что бы ни говорили Жан Жак Руссо и фанатические враги прогресса человеческого духа, трудно читать историю о веках варварства какого бы то ни было народа, не радуясь тому, что ты рожден в просвещенный век и среди цивилизованного народа».[27] Яркую характеристику этой слабости в идеологии западноевропейских буржуазных просветителей мы находим у Энгельса: «Все существовавшие дотоле государственные и общественные порядки, все унаследованные от прошлого воззрения были отвергнуты как неразумные и свалены в одну кучу. Мир в течение прошедших веков руководился нелепыми предрассудками; лишь теперь его озарил яркий свет разума, и все прошлое заслуживало лишь сострадания и презрения».[28]

Исторические воззрения Ломоносова испытали воздействие просветительской идеологии. Тем не менее отмеченную Ф. Энгельсом ограниченность исторических взглядов просветителей, которая целиком приложима к Вольтеру, нельзя относить к Ломоносову. Достоинства исторической концепции последнего, не говоря уже о его поистине обширных познаниях в области русской истории, не были, однако, правильно оценены Вольтером.

Мы не говорим здесь, наконец, о том, что отзыв Вольтера о «Показании российской древности» был оскорбительным по форме. Коллектив петербургских ученых, занятый подготовкой материалов для Вольтера, во многих случаях снабжал его не сырыми только материалами, не статистическими выкладками, а вполне законченными историческими очерками, результатами напряженной творческой научной работы. Названный коллектив по справедливости мог претендовать на соавторство с Вольтером. И в форме взаимоотношений Вольтера с петербургскими учеными (через «покровительственное» посредничество Шувалова), и в характере использования Вольтером петербургских материалов нашла своеобразное отражение существовавшая в то время культурная зависимость России от западноевропейских государств.

---

[27] Oeuvres complètes de Diderot, t. 17. Ed. de J. Assezat et M. Tourneux. Paris, 1876, pp. 495—496.

[28] К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIV, стр. 357.

Пренебрежительно высокомерный отзыв Вольтера об извлечении из «Краткого российского летописца», несомненно, стал известен Ломоносову. Как реагировал он на резкий и несправедливый отзыв французского просветителя, остается неизвестным. Не будет, однако, ошибкой утверждение, что по ознакомлении с грубой выходкой Вольтера Ломоносов не мог более продолжать подготовку материалов для его труда. И действительно, у нас нет решительно никаких данных об участии автора «Краткого российского летописца» и «Древней российской истории» во втором томе «Истории Российской империи» Вольтера, вышедшем в свет в 1763 г. Изучение фактов, связанных с отношением петербургских ученых к написанию Вольтером «Истории Российской империи при Петре Великом» помогает, как мне кажется, понять ту крайне непримиримую позицию, которую спустя некоторое время занял Ломоносов по отношению к Шлецеру и его попытке воспользоваться материалами русских архивов для своих исторических занятий. Заявляя о том, что русские архивные материалы, попав в руки Шлецеру, будут преданы «вечному забвению»,[29] Ломоносов, несомненно, учитывал печальный опыт «общений» с Вольтером. Из этого опыта великий русский просветитель вынес твердое убеждение в том, что история России должна быть написана не иностранцами, изучающими незнакомую им страну из своего «прекрасного далека», а хорошо знающими как прошлое, так и настоящее русского народа отечественными историками.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Письмо И. И. Шувалова к Вольтеру

Перевод

Милостивый государь!

Я сейчас только получил письмо, которым вы меня почтили 27 сентября. Если бы вы только знали, какое удовольствие доставляет мне получение ваших известий, вы бы не жалели о времени, потраченном вами на письма ко мне. Письмо графа Головкина,

---

[29] П. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 703—704. См. также: М. В. Ломоносов, Полн. собр. соч., т. IX, М.—Л., 1955, стр. 416—423, 427—434.

о котором вы соблаговолили мне сообщить, мною получено, но экземпляра вашего труда все еще нет. Я всегда вспоминаю, милостивый государь, ваши слова о том, что, к несчастью, отсюда до Женевы слишком большое расстояние. Я теряю от этого много во всех отношениях.

Я в такой же мере удивлен, как и возмущен тем, что г. Пушкин не прибыл к вам. Он был срочно послан мною, и у него нет никакого другого дела, которое могло бы его задержать в его путешествии. Бумаги, которые я с ним отправил, приводят меня в смущение. Уже порядочное время прошло с тех пор, как я имел известие, что он прибыл в Вену; и после этого я не слыхал о нем ничего более.

Нет ничего более странного, милостивый государь, и более фантастического, конечно, как анекдоты, касающиеся принцессы, жены царевича. Ложь всех этих подробностей слишком очевидна, чтобы удостаивать ее какими-либо опровержениями. Я удовлетворюсь тем, что сообщу вам, что названная принцесса умерла в Петербурге в 1715 году. Она была любима и уважаема императором, особенно императрицей, которая во время ее болезни почти не покидала изголовья ее ложа. Ее приветливый характер и ее ум возбудили к ней всеобщую привязанность. У меня есть копия ее завещания и несколько ее писем, которые я мог бы сообщить вам, если бы я знал, что это могло бы быть для вас в какой-либо мере полезно.

Небольшие подробности, рассказанные мне г. Салтыковым об очаровании беседы с вами, заставляют меня завидовать ему. Я весьма рад, однако, узнать, что он делает успехи в своих занятиях: он не упустит возможности под вашим покровительством сделать когда-нибудь честь своему отечеству.

Я имею честь послать вам, милостивый государь, копии двух писем, оригиналы которых разысканы мною в архивах. Они весьма интересны, тем более потому, что принадлежат монарху, столь знаменитому своими добродетелями, сколь же и славному теми преобразованиями, осуществление которых в результате [1 нрзб] исхода битв выпало на его долю.

Я побеспокою вас еще, милостивый государь, по поводу стихов под портретом Петра Великого. Гравировальная доска уже изготовлена. Она сделана одним молодым человеком, моим соотечественником, учеником Академии, которая находится под моим управлением. Портрет должен быть помещен в начале вашего сочинения.

С чувством уважения и признательности, милостивый государь,
ваш нижайший и покорнейший слуга

И. Шувалов.

С.-Петербург,
19 ноября 1760 г.

*Георг Форстер — переводчик Ломоносова**

Георг Форстер принадлежит к числу тех немногих немецких просветителей XVIII века, которые, встретив с воодушевлением французскую буржуазную революцию 1789 года, продолжали относиться к ней сочувственно и в тот период, когда к власти пришли якобинцы, объявившие решительную борьбу феодальному строю и «на плебейский манер» подавлявшие сопротивление реакционных сил.

А. И. Герцен называл Форстера «лицом великим», «прямым продолжателем Лессинга» и «знаменитым майнцским депутатом при Конвенте 1793 года».[1] Отличие Г. Форстера от современных ему немецких писателей, даже от таких, как Гёте и Шиллер, Герцен видел в том, что мысль Форстера никогда не теряется в «филистерских и гелертерских подробностях».[2]

Георг Форстер прожил недолгую жизнь (1754—1794), полную неудач и лишений, стремления к подвигу и борьбе. Он был сыном известного в свое время немецкого филолога и натуралиста Иоганна-Рейнгольда Форстера (1729—1798), ученого большого дарования и огромных знаний, но человека вспыльчивого и раздражительного,

---

* Статья первоначально опубликована в «Докладах и сообщениях Филологического института Ленинградского государственного университета», вып. 3. Л., 1951, стр. 209—220.

[1] А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. II, М., 1954, стр. 330—331.

[2] Там же, стр. 330.

который вследствие материальной необеспеченности вел скитальческий образ жизни.

В марте 1765 г. по приглашению Екатерины II И.-Р. Форстер с одиннадцатилетним сыном приехал в Россию. Работа, которую предложили Форстеру-отцу в Петербурге, вероятно, не соответствовала его склонностям, и по выполнении нескольких случайных заданий императрицы в начале 1766 г. И.-Р. Форстер вместе с сыном отправился в Англию.

В 1772 г. оба Форстера приняли участие во втором кругосветном путешествии Джемса Кука, длившемся три года; оно было описано Форстером-сыном в книге «Путешествие И.-Р. Форстера и Г. Форстера вокруг света в 1772—1775 годах», изданной в 1777 г. на английском, а в 1778 г. также и на немецком языке. Эта книга доставила автору мировую известность.

Уже в описании кругосветного путешествия Георг Форстер показал себя не только выдающимся ученым и тонким наблюдателем, но и передовым человеком своего времени. В своей книге он подверг суровой критике Ж.-Ж. Руссо с его идеализацией «естественного человека» и вместе с тем резко выступил против насилия и грабежа европейских колонизаторов, и в особенности против тех исключительно жестоких форм колониальной политики, которые практиковала знаменитая «Ост-Индская компания».

В 1778 г. Георг Форстер вернулся в Германию и получил кафедру естественной истории в г. Касселе. Угнетающее впечатление произвела на него жизнь Гессен-кассельского курфюршества: жалкая фигура князя, копирующего во всем Фридриха II, праздное существование, раболепие и подражание французским модам придворной знати, тяжелая жизнь крестьянства. Уже в марте 1782 г. Георг Форстер записал в своем дневнике: «Европа стоит на пороге страшной революции».[3]

В 1784 г. Георг Форстер принимает приглашение перебраться в Вильно. Работая здесь в должности профессора естественной истории и директора ботанического сада, он знакомится с жизнью местного населения, с ув-

---

[3] Цит. по кн.: K. Kersten. Ein europäischer Revolutionär Georg Forster. Berlin, 1921, S. 31.

лечением изучает польский язык. Однако и в Вильно Форстер не может найти применения своей энергии и своим планам; не приносит ему счастья и женитьба в 1784 г.

В 1787 г. Георг Форстер переезжает в город Майнц, где получает место профессора и библиотекаря в университете. В этот период, непосредственно предшествовавший Французской буржуазной революции 1789 г., Георг Форстер становится убежденным республиканцем. Наблюдение над окружающей жизнью приводит его к мысли, что дворянство утратило способность к разумному управлению государственными делами, что оно измельчало, отжило свой век. В духовенстве с его сословной замкнутостью, догматизмом и проповедью фанатизма Г. Форстер также видит силу, задерживающую общественный прогресс. Форстер становится республиканцем-демократом. Его мировоззрение вырастало не столько из просветительского рационализма, отвергавшего старый порядок доводами разума, сколько из непосредственной ненависти к общественному злу, из страстного желания покончить с господством немецких князей и феодалов, уничтожить сословные различия и добиться не только равенства всех перед законом, но и равенства состояний.

Майнцский период в жизни Георга Форстера был насыщен весьма разнообразной литературной и практической революционной деятельностью. Здесь издает он вызвавший восторженные отзывы Гёте и Шиллера перевод с английского на немецкий язык древнеиндийской «Сакунталы», здесь в 1791 г. печатает поставившую его в один ряд с крупнейшими немецкими писателями-реалистами XVIII в. книгу «Ландшафты Нижнего Рейна, Брабанта, Фландрии, Голландии, Англии и Франции», здесь пишет замечательную статью об отношении искусства к действительности («Искусство и современность»), здесь же, начиная с 1789 г., развивает Форстер страстную деятельность просветителя-революционера.

В октябре 1792 г. Майнц был взят французскими республиканскими войсками и стал центром Майнцской республики. Самым ярким и деятельным членом правительства названной республики был Георг Форстер. Он произносит пламенные речи против сторонников старого строя, раскрывает планы заговорщиков и предателей, набрасывает проекты новых законов, организует

первый в Германии якобинский клуб, редактирует «Новую майнцскую газету, или Друг народа», переводит якобинскую конституцию 1793 г. на английский и немецкий языки, разрабатывает планы распространения революционных идей в Германии.

Г. Форстер по праву рассматривал свою публицистическую и революционную деятельность как патриотический долг. В понятие «патриотизм» он вкладывал революционный смысл. Высшей формой патриотизма, с точки зрения Форстера, была готовность жертвовать личными интересами и даже собственной жизнью ради интересов революции. С подобным пониманием патриотизма мы неоднократно встречаемся в его переписке и статьях.[4]

В условиях политической отсталости Германии XVIII в. имя якобинца Форстера не могло не стать объектом самой грязной клеветы и самых ожесточенных нападок. Немецкая реакционная пресса стремилась превратить гуманиста Форстера в пугало для отсталых масс бюргерства.

Майнцская республика просуществовала около года. Летом 1793 г., после трехмесячной осады, Майнц был сдан прусско-саксонским войскам. Над участниками майнцской революции победители учинили жестокую расправу. Георг Форстер избежал печальной участи своих соратников случайно: за несколько недель до падения республики он был отправлен майнцским правительством в Париж, чтобы там добиться помощи осажденным. Форстер больше не возвратился в Майнц. Остаток жизни он провел в изгнании, в Париже. Покинутый друзьями, он не отошел от революционной борьбы и не изменил своим взглядам. До конца дней Форстер выполнял задания парижского Конвента. Он умер 11 января 1794 г. в Париже непримиримым якобинцем.

Буржуазная историография и история литературы тщательно замалчивали замечательную жизнь и труды Георга Форстера. Литературное наследство Форстера и до

---

[4] См., например, его «Воспоминания о 1790 годе в исторических картинах и образах», главу «Патриотическая смерть Дезилля в Нанси», в которой изображен героический поступок офицера Дезилля, сознательно пожертвовавшего собой во имя республики.

настоящего времени полностью не собрано и не издано; его личность и творчество еще ждут своей оценки.[5]

Основная цель настоящего сообщения — осветить остававшийся долгое время неизвестным эпизод в творческой биографии знаменитого немецкого просветителя-революционера: его работу над переводом на английский язык «Краткого российского летописца» Ломоносова.

Названный перевод относится к самому раннему периоду литературной деятельности Георга Форстера. Перевод был напечатан в Лондоне в 1767 г. и вышел в свет без указания полного имени переводчика под следующим названием: «Сокращенное хронологическое изложение русской истории; переведено с русского текста. Написано Михаилом Ломоносовым, статским советником и профессором химии Петербургской Академии наук, с продолжением изложения до настоящего времени, написанным переводчиком».[6]

Тексту перевода было предпослано небольшое обращение переводчика к русскому посланнику в Англии Алексею Семеновичу Мусину-Пушкину. Приводим полностью его содержание:

«Милостивый государь, я льщу себя надеждой, что ваше превосходительство соблаговолит оказать свое покровительство этой небольшой книжке, содержащей историю вашего родного государства, написанную одним из его самых одаренных и ученейших людей. Важность этого предмета, многие материалы о котором еще ни разу не появлялись на английском языке, равно как и способ их истолкования, дают мне право надеяться, что ваше превосходительство окажет покровительство этому труду и своим одобрением поддержит юного автора (the young Writer).

---

[5] Из исследований, посвященных Георгу Форстеру, не считая цитированной выше работы К. Керстена, назовем следующие: Karl Klein. Georg Forster in Mainz, 1788—93. Gotha, 1863; Arthur Chuquet. Etudes d'histoire. I. Le révolutionnaire Georg Forster. Paris, 1903; Paul Zincke. Georg Forster nach seinen Originalbriefen. Dortmund, 1915; Georg Forsters Briefe an Christian Friedrich Voss. Hrsg. von Paul Zincke. Dortmund, 1915. Единственная на русском языке о Г. Форстере — статья К. С. Анисимовой «Георг Форстер — немецкий просветитель-революционер» («Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», 1939, т. 26).

[6] A chronological Abridgment of the Russian History; translated from the Russian original. Written by Michael Lomonossof; Connsellor of State, and Professor of Chymistri at the Academie of Sciences at Petersburg; and continued to the present time by the translator. London, 1767.

Примите выражение почтения и уважения покорнейшего слуги вашего превосходительства.

И. Г. А. Ф.»[7]

Инициалы, стоящие под обращением, соответствуют полному имени Георга Форстера — Иоганн-Георг-Адам Форстер.[8]

Переводчик в обращении назван «юным автором». Таким образом, и в этом отношении предположение, что переводчиком «Летописца» Ломоносова был Георг Форстер, получает подкрепление: в 1767 г. Г. Форстеру было 13 лет. Наше предположение подкрепляется, наконец, и тем соображением, что английский перевод «Краткого российского летописца» вышел в скором времени после приезда Форстеров из Петербурга в Англию. Среди английских историков и литераторов того времени нет лица, имя которого совпадало бы с инициалами, стоящими под обращением.

Совершенно несомненно, что перевод книги Ломоносова Георг Форстер выполнял не без помощи своего отца, ученого, который, по словам биографов, говорил и писал на 17 языках. Самый замысел перевода мог также принадлежать Иоганну-Рейнгольду Форстеру. Причины, побудившие Форстера-отца обратиться к трудам М. В. Ломоносова, объяснить нетрудно. Ломоносов занимал такое огромное место в развитии русской науки и просвещения, что не обратить внимания на его колоссальную фигуру просвещенному иностранцу, приехавшему в Россию, было просто невозможно. Знакомство с деятельностью Ломоносова для Иоганна-Рейнгольда Форстера было тем более неизбежным, что он претендовал на звание члена Петербургской Академии наук, где роль Ломоносова была необыкновенно значительной. У Форстера, филолога и натуралиста, не могло, наконец, не возникнуть и личной заинтересованности Ломоносовым-лингвистом, историком, естествоиспытателем и географом. Смерть Ломоносова последовала через несколько недель после приезда Форстеров в Петербург, и поэтому о факте личного знакомства И.-Р. Форстера с великим русским ученым и просветителем, хотя оно и могло иметь место, нельзя сказать ничего утвердительного.

---

[7] В оригинале: J. G. A. F.

[8] Johann-Georg-Adam Forster.

Заинтересованность Форстера-отца в переводе «Краткого российского летописца», разумеется, не исключает огромного интереса к Ломоносову также и со стороны Форстера-сына. Известно, что Георг Форстер отличался очень ранним умственным развитием, и стремление к научной, писательской и просветительской деятельности пробудилось в нем также очень рано. Просветительская и научная деятельность Ломоносова как нельзя более соответствовала тем представлениям о типе ученого-просветителя, которые начали складываться у Георга Форстера, безусловно, с ранних лет и о которых мы можем судить по его трудам и переписке. Мы считаем поэтому не только возможным, но и правомерным предположение, что самобытный образ Ломоносова, его огромная, не имеющая никаких аналогий на Западе роль в развитии культуры целого народа должны были произвести исключительное впечатление на двенадцатилетнего Форстера-сына.

Георг Форстер, как и его отец, во время пребывания в России, несомненно, занимался изучением русского языка. Кстати сказать, один из исследователей Г. Форстера, касаясь его исключительно высокой образованности, добавляет, что знания Георг Форстер приобрел самостоятельным путем и что «только в Петербурге он несколько месяцев сидел на школьной скамье».[9] Нам неизвестно, в какой школе в Петербурге обучался Георг Форстер, но почти несомненно, что в планы Форстера-отца входило обучение сына русскому языку. Общение с русскими людьми для любознательного мальчика явилось также своеобразной школой. Знание русского языка давало Георгу Форстеру возможность выполнить работу над переводом «Краткого российского летописца» самостоятельно. Во всяком случае у нас нет никаких оснований видеть какую-либо мистификацию в том, что на переводе книги Ломоносова стоит имя тринадцатилетнего Георга Форстера. То обстоятельство, что переводчик книги обратился к покровительству русского посланника, следует рассматривать как дополнительный аргумент в пользу нашего мнения, так как названное обращение говорит о том, что перевод книги Ломоносова осуществлялся под

---

[9] K. Kersten. Ein europäischer Revolutionär.., S. 9.

своеобразным наблюдением, а может быть, и при помощи А. С. Мусина-Пушкина.

Любопытные данные, дополняющие историю перевода «Краткого российского летописца» на английский язык, находим мы в архиве Я. Я. Штелина, хранящемся в Публичной библиотеке в Ленинграде. Из переписки последнего с сыном, П. Я. Штелиным, явствует, что между Форстером-отцом и семьей Штелиных начиная с 1765 г. существовали дружеские отношения, что летом 1765 г., например, И.-Р. Форстер ездил из Петербурга в Копенгаген, где в это время служил советником в русском посольстве П. Я. Штелин, для того, чтобы сопровождать последнего во время его поездки в Россию.[10] Возникшие не позднее 1765 г. дружеские связи между Форстерами и Штелиными продолжались долгое время, как свидетельствует сохранившееся среди бумаг Я. Я. Штелина письмо к нему И.-Р. Форстера от 28 марта 1777 г.

Близость Форстеров к семье Штелиных не может не заинтересовать исследователя, так как хорошо известно, что П. Я. Штелин еще при жизни Ломоносова начал работать над переводом «Краткого российского летописца» на немецкий язык. В 1765 г. этот перевод был уже издан.[11] В 1771 г. перевод П. Я. Штелина в исправленном виде вышел вторым изданием. В предисловии к новому изданию переводчик заявлял, что к переводу книги его склонил покойный автор («ich ehemals schon von dem seligen Verfasser Hrn. Lomonossoff darzu angemahnt worden»).[12]

В письме Ломоносова к Я. Я. Штелину от 27 декабря 1764 г., в словах «постараюсь всеми способами его (П. Я. Штелина, — *Ф. П.*) ободрить» [13] мы находим известное подтверждение приведенного выше заявления

---

[10] См. письмо Я. Я. Штелина к сыну от 26 июня 1765 г. и письмо П. Я. Штелина к отцу от 27 июля (7 августа) того же года (ГПБ, Отдел рукописей, фонд Я. Я. Штелина, ед. хран. 274).

[11] M. Lomonossoff. Kurzgefaßtes Jahr-Buch der Russischen Regenten, übersetzt durch Peter von Stählin. Copenhagen und Leipzig, 1765.

[12] M. Lomonossoff. Kurzgefaßtes Jahr-Buch der Russischen Regenten... Riga, 1771, Vorrede, S. XIV.

[13] М. В. Ломоносов, Сочинения, т. VIII, М.—Л., 1948, стр. 308.

П. Я. Штелина. Впрочем, письмо Ломоносова к Я. Я. Штелину от 27 декабря 1764 г. могло относиться и к предпринятому Штелиным-сыном переводу на немецкий язык «Древней российской истории», уцелевшую часть которого мы находим в бумагах последнего.[14] Этот перевод не вышел в свет, вероятно, потому, что Штелина-сына успел опередить Л. И. Бакмейстер, напечатавший в 1768 г. тщательно сделанный и хорошо прокомментированный перевод «Древней российской истории» на немецкий язык.[15]

Выход в свет «Летописца» Ломоносова, несмотря на специальное его предназначение служить кратким справочником, был важной вехой в развитии русской исторической науки. Являясь всего лишь «экстрактом» из большого труда Ломоносова по русской истории, «Краткий российский летописец» представлял собой тем не менее результат упорных и долголетних занятий великого ученого вопросами русской истории, трудом, исправлявшим в своей области целый ряд получивших широкое распространение антинаучных теорий, ложных мнений и неправильных датировок.

Большую настойчивость и энергию, которую проявлял при переводе на немецкий язык исторических трудов Ломоносова не только П. Я. Штелин, но также и его отец, следует объяснять, конечно, не дружеским отношением Штелиных к гениальному русскому ученому, а трезвой оценкой серьезных научных достоинств трудов Ломоносова и учетом потребностей заграничного книжного рынка. Повышение интереса к русской культуре и всевозрастающая известность научных и, в частности, исторических работ Ломоносова за границей заставляли Штелина-отца добиваться второго немецкого издания «Краткого российского летописца», а Штелина-сына браться за новый, необыкновенно трудный перевод из Ломоносова — перевод его «Древней российской исто-

---

[14] ГПБ, Отдел рукописей, фонд П. Я. Штелина, ед. хран. 948 (перевод на немецкий язык третьей главы «Древней российской истории» Ломоносова).

[15] M. Lomonossoff. Alte russische Geschichte von dem Ursprunge der russischen Nation bis auf den Tod des Grossfürsten Jaroslavs I. Aus dem russische ins deutsche übersetzt von H. L. Backmeister. Riga und Leipzig, 1768.

рии». Успешное распространение этих трудов в немецких переводах, равно как и успех, выпавший на долю французского перевода «Древней российской истории»,[16] подтвердили впоследствии правильность расчетов Штелина-сына и Штелина-отца.[17]

Длившаяся несколько лет (1761—1768) работа П. Я. Штелина над переводом исторических трудов Ломоносова на немецкий язык не могла, несомненно, не привлечь к себе внимания также и Форстеров. Выяснение зависимости английского перевода «Краткого российского летописца» от ранее сделанного П. Я. Штелиным перевода этой книги на немецкий язык, на наш взгляд, представляет значительный интерес. На титульном листе английского перевода «Летописца» сказано, что перевод сделан с русского текста. Однако так ли это? Если теория и техника точного перевода в XVIII в. были вообще плохо разработаны, то переводы с русского языка за пределами России в то время, при отсутствии необходимых справочных изданий и словарей, для иностранцев были делом почти невыполнимым. Не случайно французский перевод «Древней российской истории» Ломоносова был сде-

---

[16] Французский перевод «Древней российской истории» Ломоносова, сделанный с немецкого Эйдусом, с 1769 по 1776 г. выдержал три издания и вызвал большое количество печатных откликов.

[17] В письме от 26 февраля 1771 г. Штелин-отец писал сыну: «В моем последнем письме я забыл вам сообщить, что на мое предложение книгопродавец Гарткнох потребовал от меня ваш немецкий перевод „Российского Летописца", очищенный от массы ошибок и снабженный новым предисловием, с тем чтобы напечатать его в Лейпциге у Брейткопфа на его средства (я надеюсь, в мою пользу) и выставить его на публичную продажу на ближайшей лейпцигской ярмарке. Так как я настоятельно рекомендовал ему самое точное исправление этого нового издания, то он мне ответил, что он обяжет г. Брейткопфа посылать вам на окончательный просмотр каждый отпечатанный лист, и вы будете по исправлении возвращать их ему, каждый лист в отдельности, сразу же, чтобы не остановить издание. Вы должны поэтому пристально наблюдать за ходом дела, чтобы не допустить в книге никаких ошибок, которые смогут исказить новое издание так же, как было искажено первое. Ввиду этого отправьте немедленно к Брейткопфу от своего имени прилагаемое замечание. Кроме того, договоритесь с г. Гарткнохом о напечатании на фронтисписе этого нового издания погрудного изображения Петра I, хороший рисунок которого я ему вышлю» (ГПБ, фонд Я. Я. Штелина, ед. хран. 275).

лан с немецкого перевода Бакмейстера. Но в таком случае возникает вопрос, не воспользовался ли также и Георг Форстер немецким переводом «Краткого российского летописца»? И, следовательно, не является ли названный перевод Форстера предприятием, преследующим не научные, а чисто коммерческие цели?

К чести Георга Форстера следует сказать, что перевод его — вполне самостоятельная и добросовестная работа. Наличие немецкого перевода, сделанного знакомым лицом, оказывается, нисколько не соблазнило Георга Форстера на экономию своих усилий. В работе над переводом Ломоносова он избрал необычайно трудный, но единственно правильный путь. Он держал перед собою русский текст книги. По этому тексту Форстер исправил целый ряд вкравшихся в немецкий перевод ошибок (даты жизни и царствования Ярополка, Владимира Мономаха и др.). В отличие от Штелина, который в передаче прозваний русских князей удовлетворялся одним только их переводом на немецкий язык (Semen Iwanowitsch mit Beynamen der Stolze, Wasilei-Wasiljewitsch der Dunkle), Форстер приводил эти прозвания сначала в русском звучании (Ghordy, Temnoy), а затем уже давал их в переводе на английский язык (the Proud, the Brown). Форстер уделял чрезвычайно большое внимание фонетике и этимологии русских слов. Если П. Я. Штелин название Переяславля-Залесского передавал весьма небрежно (Pereslavi Salesky), то Форстер стремился это же название передать с фонетической точностью и дать ему этимологическое истолкование (Pere-yaslaf Zalesskoy). Если у Штелина Заиконоспасское училище переведено просто как Gymnasium in dem Kloster Spassky, то Форстер переводит эти два русских слова, хотя и не совсем точно, посредством описательного оборота: college in Moskow, behind the monastery of Ikonospaskoy (or of the Redeeming Image).

В отличие от Штелина в передаче русских собственных имен Георг Форстер всегда сохраняет их русское звучание, стараясь вместе с тем передать своему читателю их этимологический смысл (Jurey Dolgorucky, that is, George the Longhanded. Andrey Bogoliubskoy, or Andrew who loveth God) и т. д.

В одном случае стремление сохранить самостоятельность привело Г. Форстера даже к досадной ошибке.

В главе «Родословие российских государей», в разделе, посвященном киевскому князю Мстиславу Владимировичу, слова Ломоносова «дочь новгородского посадника» Форстер перевел как «the daughter of a Novogrodian citizen», спутав, таким образом, посадника с посадским человеком, горожанином. У Штелина в соответствующем месте дан довольно точный перевод этих слов: «die Tochter des Nowogorodischen Burgermeisters».

Названная ошибка — единственная значительная оплошность, которую мы смогли обнаружить в переводе Форстера.

Таким образом, если даже допустить, что в работе над переводом «Краткого российского летописца» Ломоносова Георг Форстер пользовался помощью как своего отца, так и А. С. Мусина-Пушкина, то труд молодого переводчика можно назвать тем не менее примером вполне самостоятельного научного начинания.

Свой перевод «Летописца» Ломоносова П. Я. Штелин отважился выпустить в свет, по собственному его признанию в предисловии, только после четырех лет размышлений и труда. И это не удивительно, если учесть сложность предмета и совершенную для того времени новизну самого дела — перевода с русского языка. Работа Георга Форстера над аналогичным переводом длилась гораздо меньший срок — около года (1766—1767). Тем не менее совершенно несомненно, что изучение русского языка и перевод «Краткого российского летописца» были значительным событием, если не сказать этапом, в умственном развитии Георга Форстера. Труды Ломоносова, пример его ни с чем не сравнимой просветительской деятельности оказали несомненное воздействие на формирование просветительских взглядов молодого Форстера. Образ Ломоносова служил также для Георга Форстера источником представлений о характере русского народа и уровне его культуры.

Даже те далекие от полноты сведения о Форстере, которыми мы обладаем, дают основание заключить, что в своих отношениях к русской культуре он был намного проницательнее и выше современников.

Известно, что в 1787 г. Г. Форстер собирался принять участие в новом кругосветном путешествии, подготовка к которому была возложена на адмирала А. Н. Се-

нявина. Этот план Г. Форстера не осуществился только потому, что сама экспедиция по причине вступления России в войну с Турцией расстроилась.

Георг Форстер был очень высокого мнения о предприимчивом и пытливом характере русского народа. В очерке «Северо-западный берег Америки и тамошняя торговля мехами» (1791), в главе «Открытия русских» Форстер писал: «Весь северный берег Азии вдоль Ледовитого океана открыт и освоен в морском отношении русскими. Русские смельчаки в своих плаваниях нередко достигали берегов Шпицбергена, и Дежнев, казак и потомок тех, кто открыл и завоевал Сибирь, уже в 1648 году, обогнув северо-восточный мыс Азии, через пролив, отделяющий эту часть света от Америки, достиг устья реки Анадыря».[18]

В этой же статье, описывая экспедицию Беринга, Форстер трижды отмечал выдающиеся заслуги перед географической наукой капитана Алексея Чирикова и заявлял, что русским в этом случае удалось разрешить задачу, которую неоднократно и тщетно пытались до них разрешить англичане.

Георг Форстер был хорошо ознакомлен с достижениями русской науки, и в особенности русской географической науки. В 1791 г. в рецензии на автобиографические записки гр. Беньовского, ставя под сомнение достоверность книги в целом, Форстер писал: «Напротив, все то, что он рассказывает о России, Сибири и Камчатке, так хорошо согласуется с давно уже известными описаниями этих стран, что хочется даже предположить — не заимствовал ли он свое описание Камчатки из Крашенинникова».[19]

Интересно, что, отзываясь о русском народе и его культуре с чувством глубокого уважения, Георг Форстер не раз подвергал суровой критике деспотизм Екатерины II и ее фаворитов.[20]

---

[18] Georg Forster. Kleine Schriften, Bd. II, Zweiter Theil. Berlin, 1794, SS. 80—81.

[19] G. Forster. Sämmtliche Schriften, hrsg. von dessen Tochter mit einer Charakteristik Forster's von G. G. Gervinus, Bd. V, Über historische Glaubwürdigkeit. Leipzig, 1843, S. 294.

[20] См., например, его небольшую заметку «Katharina II» (G. Forster. Sämmtliche Schriften, Bd. VI, S. 231).

В формировании взглядов Георга Форстера на русский народ и его науку и культуру, безусловно, большая роль принадлежала Ломоносову, первую дань восхищения и уважения которому Форстер отдал еще в детские годы. Вряд ли можно сомневаться поэтому в том, что когда литературное наследство Георга Форстера будет издано полностью и когда его жизнь и деятельность сделаются предметом серьезного изучения, нам станут известны новые факты, указывающие на еще более близкое знакомство знаменитого немецкого просветителя-революционера как с лучшими достижениями русской культуры XVIII века в целом, так и, в особенности, с трудами великого русского ученого и просветителя М. В. Ломоносова.

*Ксавье Мармье и русская литература**

Личность и литературное творчество французского писателя, историка литературы и критика Ксавье Мармье (1809—1892) уже неоднократно становились предметом научного исследования.[1] И тем не менее многие стороны жизни и деятельности этого писателя и до сих пор остаются неизученными. Некоторые произведения Мармье, в том числе и его содержательные «Воспоминания», до настоящего времени продолжают оставаться неопубликованными.[2] Никогда еще не подвергались специальному изучению и личные взаимоотношения французского писателя с современными ему русскими литературными деятелями. А между тем без учета русских

---

* Статья первоначально опубликована в сборнике «Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков» (М.—Л., 1958, стр. 141—155).

[1] Из работ о Ксавье Мармье отметим здесь главнейшие: A. de Pontmartin. Xavier Marmier. В кн.: Dernières Causeries de Samedi. Paris, 1860, pp. 311—318; A. France. X. Marmier. «Le Temps», 1892, 16 octobre; A. Estignard. Xavier Marmier; sa vie et ses oeuvres. Paris, 1893; E. Biré. Xavier Marmier. В кн.: Etudes et portraits. Lyon, 1894, pp. 313—333; René Martel. Xavier Marmier: un précurseur ignoré des études slaves en France. Сб. «Mélanges publiés en l'honneur de M. Paul Boyer», Paris, 1925, pp. 289—296; C. Aymonier. Xavier Marmier. Sa vie, son oeuvre. Besançon, Sequana, 1928; L. Jousserandot. Xavier Marmier et la Russie. В кн.: Melanges de la Société d'Emulation du Jura, 1936.

[2] В частности, неопубликованной в большей своей части остается и переписка Ксавье Мармье с И. С. Тургеневым, представляющая несомненный интерес для исследователя русско-французских литературных отношений. См.: René Martel. Xavier Marmier. . ., pp. 292—295. Ср.: И. С. Тургенев. Полн. собр. сочинений и писем. Письма, т. XIII, кн. 2, Л., 1968, стр. 198, 259, 278.

связей писателя нельзя определить и его место в истории французской литературы. Литературное наследие Ксавье Мармье по-прежнему продолжает ждать от историков литературы объективной и справедливой оценки.

Основным видом литературного творчества Мармье были очерки его путешествий. Первая книга этих очерков «Lettres sur l'Islande» вышла в 1837 г. В последующее время Мармье были изданы «Histoire de la littérature en Danemark et en Suède» (1839), «Lettres sur la Russie, la Finlande et la Pologne» (1843, 2 vol.), «Lettres sur le Nord» (1845, 2 vol.), «Lettres sur l'Algérie» (1847), «Lettres sur l'Amérique» (1852, 2 vol.), «Lettres sur l'Adriatique et le Montenegro» (1854, 2 vol.), «Un Eté sur le bord de la Baltique» (1856) и ряд других книг того же рода, не говоря уже о громадном количестве статей и очерков, опубликованных Мармье во французской периодической прессе.

«Путешествия, — пишет Эдмон Бире, — были областью, где Мармье был полновластным хозяином; в этой области у него не было наставников и едва ли были соперники».[3] «Ему принадлежит заслуга в стремлении познакомить своих современников с Европой и в особенности с славянскими странами», — утверждает Рене Мартель.[4]

Очерками путешествий и поэтическим творчеством[5] далеко не исчерпывается литературное наследство Ксавье Мармье. Во вторую половину жизни им было написано значительное количество романов и новелл, из которых мы назовем здесь только главнейшие: «Les Fiancés du Spitzberg» (1858), «Gazida» (1860) — оба романа были отмечены Французской академией, «Hélène et Suzanne» (1862), «L'Avare et son trésor» (1863), «Les Mémoires d'un orphelin» (1864), «Histoire d'un pauvre musicien» (1866).

Но гораздо богаче и разнообразнее оригинального художественного творчества Мармье была его многолетняя переводческая деятельность. Переводы К. Мармье из Шиллера, Гофмана, Циммермана, Ауэрбаха, Теннисона, Эленшлегера и Андерсена до настоящего времени не потеряли своего значения. Сохраняют свое значение и пе-

---

[3] E. Biré. Xavier Marmier, p. 324.

[4] René Martel. Xavier Marmier..., p. 289.

[5] В юные годы Мармье напечатал книгу стихов «Esquises poétiques» (Paris, 1831).

реводы Мармье из русской литературы. Достаточно сказать, что книга его переводов из И. С. Тургенева «Scènes de la vie russe» (в нее вошли «Яков Пасынков», «Муму», «Бреттер», «Два приятеля», «Фауст» и «Три портрета») со времени выхода в 1858 г. до 1919 г. выдержала девять изданий. В специальном исследовании, посвященном французским переводам произведений Лермонтова, перевод «Героя нашего времени», принадлежащий Мармье, определяется как лучший из трех существующих.[6]

Мармье как переводчик проявлял интерес к русской, английской, немецкой, датской, шведской и финской литературе. Любопытно отметить, однако, что его интерес к русской литературе был наиболее длительным и прочным, что русская литература в этом ряду по количеству переводов и авторов занимает у Мармье первое место.

Список произведений русской литературы, переведенных Мармье, весьма внушителен. «Метель», «Выстрел», «Станционный смотритель» и «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, отдельные стихотворения и «Герой нашего времени» Лермонтова, «Шинель» Гоголя, «Аптекарша», «Приключение на железной дороге», «Воспитанница», «Неоконченные повести» В. А. Соллогуба, упомянутые уже выше рассказы И. С. Тургенева, «Большая барыня» и «Ночь на 28-е сентября» В. А. Вонлярлярского, «Дурочка» Н. А. Полевого, «Испытание» Марлинского, «Именины» Н. Ф. Павлова, «Джеллаледин» и «Утбалла» Е. А. Ган, «Портретист» А. Я. Панаевой, «Приятное открытие» бар. Корфа, отдельные стихотворения А. С. Хомякова и В. А. Жуковского.

Если к этому списку, который, впрочем, мы не считаем полным, добавить ряд переводов и переделок К. Мармье из русской народной поэзии, если учесть, что он является автором ряда статей и заметок о русской литературе, в том числе двух больших статей, посвященных творчеству Пушкина и Лермонтова,[7] то его значение как переводчика и популяризатора русской литературы во Франции может стать темой, заслуживающей самостоятельного исследования.

---

[6] См.: В. К. Шульц. Лермонтов в переводе французских писателей. «Русская старина», 1883, № 2, стр. 469.

[7] Обе статьи вошли в книгу К. Мармье «Voyages et littérature» (Paris, 1862).

В отличие от многих французских публицистов середины XIX в., которые под флагом ненависти к самодержавию клеветали на русский народ и его культуру, Мармье в своих произведениях никогда не смешивал самодержавный строй с Россией и русским народом. Он был исполнен глубокого уважения к русской культуре.

Без исследований о русской литературе и переводов Мармье пропаганда русской литературы во Франции, предпринятая в 80-х годах XIX в. Э. М. де Вогюэ, не получила бы такого большого и «внезапного» успеха. Крупную роль Мармье в этом смысле, равно и как свою от него зависимость Вогюэ отметил в одной из своих работ.[8] На важное значение этой роли не забыл указать в названной выше статье также и Анатоль Франс. Литературная и переводческая деятельность Мармье подготовила почву и расчистила путь для более глубоких и серьезных изучений русской литературы во Франции. Именно поэтому переводческая и публицистическая деятельность К. Мармье не может не привлечь внимания исследователя истории русско-французских литературных взаимоотношений. Несомненный интерес приобретают вследствие этого и те полузабытые, а то и вовсе неизвестные русские знакомства и связанные с ними эпизоды публицистической и переводческой деятельности К. Мармье, которым посвящается настоящая статья.

Интерес к русской литературе, точнее, к русскому языку, пробуждается у Мармье в молодые годы. Еще в 1834 г. в одном из писем к своему другу Вейсу Мармье заявлял о готовности приступить к изучению «своеобразного» русского языка.[9] Возможно, что уже в начале 30-х годов через посредничество Альфреда де Виньи К. Мармье познакомился с А. С. Хлюстиной и стал посетителем ее парижского салона. Не позднее чем к 1839 г. относится знакомство К. Мармье с А. И. Тургеневым.[10] В 1841 г. К. Мармье выступил с двумя большими статьями — «Северная и Южная Россия» и «Северная Сибирь», в которых он обнаружил незаурядную осведом-

---

[8] См. рецензию Э. М. де Вогюэ на книгу А. Леруа-Болье (L'Empire des Tzars et les Russes. «Journal des Debats», 1889, 30 mai).

[9] См.: René M a r t e l. Xavier Marmier. . ., p. 290.

[10] См.: Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. Остафьевский архив, т. IV. СПб., 1899, стр. 62, 66.

ленность в вопросах русской жизни.[11] Эти статьи давали обстоятельный обзор ряда посвященных России изданий, вышедших на немецком языке.

В начале 1842 г. К. Мармье предпринимает поездку в Россию. К этому времени у любознательных русских читателей он уже пользовался известностью как видный исследователь скандинавских стран. В 1835 г. Белинский называл К. Мармье «известным литератором» и считал, что его очерки о Германии и скандинавских странах принесли огромную пользу французским читателям.[12]

Поездка Мармье в Россию, в частности его пребывание в Гельсингфорсе и Петербурге, нашла довольно обстоятельное отражение в переписке Я. К. Грота с П. А. Плетневым. И Грот, и Плетнев изображают К. Мармье скромным, простодушным, любознательным и эрудированным путешественником.[13] За несколько дней пребывания в Петербурге (с 28 мая по 11 июня 1842 г.) К. Мармье успел познакомиться со многими русскими писателями: П. А. Плетневым, П. А. Вяземским, В. А. Соллогубом, В. Ф. Одоевским, Е. П. Ростопчиной и многими другими. Особый интерес представляет для нас знакомство К. Мармье с Гоголем, состоявшееся 28 мая 1842 г. в доме В. Ф. Одоевского. О своей встрече с Гоголем К. Мармье рассказал в очерке, предпосланном изданному им в 1856 г. французскому переводу «Шинели». «В 1842 году, — писал в нем Мармье, — после блестящего успеха его повестей и „Мертвых душ" мы видели Гоголя в Петербурге, появлявшегося, подобно одной из своих мертвых душ, в кружке преданных друзей, безучастно слушающего все то, что говорилось вокруг него, и отвечающего лишь холодной улыбкой на те искренние похвалы, которые расточались его произведениям; с интересного вечера он возвращался столь же

---

[11] См.: «Revue des Deux Mondes», 1841, tt. 27, 28.

[12] В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. I, М., 1953, стр. 248—249. Здесь же отметим, что имя К. Мармье было известно Пушкину. В библиотеке поэта находились «Études sur Goethe» (Paris, 1835) Мармье и его же французский перевод «Руководства к истории германской национальной литературы» Коберштейна. См.: Пушкин и его современники, вып. IX—X. СПб., 1909, стр. 262—263, 282.

[13] См.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. I. СПб., 1896, стр. 527—547.

пасмурным и угрюмым, каким был и в момент своего там появления».[14]

На формирование первоначальных представлений К. Мармье о русской литературе сильное влияние оказал П. А. Вяземский. В статье «О литературном движении в России» Мармье называет Вяземского «одним из тех лиц, с которыми я имел большое счастье встретиться в Петербурге и которое заслуживает быть названным среди выдающихся поэтов своего народа».[15]

О близком знакомстве с В. А. Соллогубом Мармье имел случай рассказать в предисловии к своему переводу повести Соллогуба «Аптекарша», изданному в Париже в 1856 г.[16]

Письмо кн. В. Ф. Одоевского к И. П. Сахарову от 10 июня 1842 г. позволяет составить некоторое представление о характере отношений К. Мармье с В. Ф. Одоевским.

«Я сегодня еду за море — у меня Мармье, французский литератор, которому я перевел несколько мест из ваших сказаний — от чего он без ума. Хорошо бы вы сделали, если бы вы прислали ему экземпляр, а и того лучше — пришли бы со мною проститься», — писал Одоевский.[17]

Около 11 июня 1842 г. Мармье отправился в Москву, посещению которой он придавал большое значение. Если Петербург Мармье определил только как «сверкающий очаг современной цивилизации», то Москва была для него «древней колыбелью русского могущества».[18]

Посещение Кремля, вид московских улиц вызывают у французского путешественника воспоминание о Москве 1812 года. Он относится с уважением к национальным и патриотическим чувствам русского народа, он старается

---

[14] X. Marmier. Au bord de la Néva. Paris, 1856, p. 214.

[15] X. Marmier. Du mouvement littéraire en Russie. «Revue de Paris», 1843, t. 18, p. 259 (перепечатано: X. Marmier. Lettres sur la Russie, t. II. Paris, 1843, pp. 172—173).

[16] X. Marmier. Au bord de la Néva, p. 264 (предисловие к переводу «La Pharmacienne»).

[17] ГПБ, фонд П. И. Савваитова, письма к И. П. Сахарову, т. III, л. 37; см. также: П. Н. Сакулин. Из истории русского идеализма. Кн. В. Ф. Одоевский, т. I, ч. 2. М., 1913, стр. 317—318.

[18] X. Marmier. La Russie. «Revue des Deux Mondes», 1843, t. 1, pp. 95, 98 (перепечатано: X. Marmier. Lettres..., t. I, pp. 317, 323).

быть объективным, но тем не менее Москву 1812 года он изображает со своей, французской точки зрения. Главное место в этом изображении занимают зрительные впечатления.

Изредка, правда, писателю удается изобразить в жизни Москвы и то, что открывается только более внимательному и опытному глазу: таково, например, описанное им посещение вместе с доктором Гаазом московской пересыльной тюрьмы[19] или живописное изображение выступлений московского цыганского хора.

Пребывание К. Мармье в Москве длилось около трех недель. Если в Петербурге французского путешественника интересовала по преимуществу литература, то в Москве его внимание было сосредоточено главным образом на русской народной поэзии.

Глубокий интерес к ней позволил К. Мармье в скором времени по возвращении во Францию выступить в одном из журналов с обширной статьей о русских народных песнях.[20]

Круг лиц, с которыми познакомился и деятельно общался в Москве Ксавье Мармье, состоял главным образом из сотрудников «Москвитянина», и это следует объяснить тем, что П. А. Вяземский в письме от 10 июня 1842 г. к С. П. Шевыреву настоятельно просил последнего взять под покровительство знаменитого французского гостя.[21] В Москве Мармье познакомился с С. П. Шевыревым, А. С. Хомяковым, И. В. Киреевским, Н. Ф. Павловым, В. П. Титовым и другими московскими литераторами.[22]

---

[19] Останавливаясь на своем посещении московской пересыльной тюрьмы, Мармье передает слышанный им, вероятно, от кого-либо из русских писателей рассказ «поэта Пушкина» о молодой девушке-крепостной, по прихоти своего помещика-владельца отправленной в Сибирь. Н. О. Лернер находил возможным считать упомянутый рассказ неосуществленным замыслом Пушкина. Об этом см. статью: Н. О. Лернер. Забытый рассказ Пушкина. «Жизнь искусства», 1921, № 808. Названная статья вошла также в книгу: Н. О. Лернер. Рассказы о Пушкине. Л., 1930, стр. 125—131.

[20] X. Marmier. Chantes populaires de la Russie. «Revue de Paris», 1943, t. 15, p. 214 et al.

[21] См.: Письма П. А. Вяземского к С. П. Шевыреву. «Русский архив», 1885, т. II, стр. 308.

[22] О литературных знакомствах К. Мармье в Москве см.: «Revue des deux Mondes», 1843, t. 1, p. 122 (перепечатано: X. Mar-

А. И. Герцен, вернувшийся из Новгорода в Москву в скором времени после отъезда оттуда К. Мармье, отмечал в своем «Дневнике» (июль 1842 г.), что в Москве «принялись было его [Мармье] образовывать в славянофильство, предложили ему исследовать все превосходство православия над католицизмом... Затаскали его до того, что ему, наконец, опротивели монахи, похвалы древнего быта и т. п.».[23]

Вопреки желаниям С. П. Шевырева и А. С. Хомякова, К. Мармье стремился, как свидетельствует А. И. Герцен, уйти от «покровительства» славянофилов. Утверждение А. И. Герцена подтверждается также фактом посещения К. Мармье в 1842 г. в Москве П. Я. Чаадаева. В присутствии Мармье Чаадаев подверг едкой критике как идеологию крепостничества, так и примирительное отношение к ней, нашедшее выражение в статье А. С. Хомякова «О сельских условиях», напечатанной в «Москвитянине» за 1842 г. «К сожалению, — писал П. Я. Чаадаев Е. А. Свербеевой в письме от 10 июня 1842 г., — интересный путешественник приехал повидаться со мною накануне своего отъезда, почему я и не мог, в тот короткий промежуток времени, который он провел у меня, дать ему оценить вещи во всем их значении».[24]

Стремление проявить известную независимость от славянофильских воззрений, как будет показано ниже, недвусмысленно сказалось и в статьях Ксавье Мармье на русскую тему, написанных по возвращении на родину.

В конце июня 1842 г. Ксавье Мармье был снова в Петербурге. В Вышнем Волочке, по пути из Москвы в Петербург, Мармье написал стихотворение «En Russie», подкупающее русского читателя непосредственностью чувства, искренностью тона и редким для писателя-иностранца уменьем изобразить русский пейзаж. Автограф

---

mier. Lettres..., t.I, p. 393); «Русский архив», 1878, № 5, стр. 61; два письма К. Мармье к С. П. Шевыреву в архиве последнего в ГПБ (картон II); Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. Остафьевский архив, т. IV, стр. 248.

[23] А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. II, М., 1954, стр. 221.

[24] Н. В. Голицын. П. Я. Чаадаев и Е. А. Свербеева. «Вестник Европы», 1918, январь—апрель, стр. 241.

этого стихотворения Мармье вручил П. А. Плетневу с просьбой передать его Я. К. Гроту.[25]

Свои впечатления о поездке в Россию, как уже было сказано, К. Мармье изложил в серии статей, напечатанных им на протяжении 1842—1843 гг. в «Revue des Deux Mondes» и «Revue de Paris». В 1843 г. эти статьи вышли отдельным двухтомным изданием под названием «Lettres sur la Russie, Finlande et la Pologne». В 1851 г. «Письма о России» вышли вторым изданием.

О влиянии «Писем о России» на французское и европейское общественное мнение свидетельствует и тот факт, что в 1844 г. книга Мармье вышла в немецком переводе, который, кстати сказать, в 1854 г. был напечатан вторым изданием.[26]

В России распространение книги Мармье было запрещено царской цензурой, так как некоторые места ее, и в особенности глава о Троице-Сергиевой лавре, носили обличительный по отношению к русскому самодержавию и церкви характер. В письме от 29 сентября 1843 г. Плетнев писал Гроту: «Не могу прислать Мармье, ибо этой книги в продаже у нас нет, да и не будет. Я брал ее на просмотр у Вяземского».[27]

В 1843 г. в роли сурового критика К. Мармье и его книги выступил на страницах «Северной пчелы» Ф. Булгарин. Главным предметом нападок Булгарина было то, что Мармье, восхищаясь талантом Пушкина, в своей книге не сказал ничего похвального о Булгарине.[28]

Критическая по отношению к царскому самодержавию и православной церкви сторона «Писем о России» вызвала недовольство П. А. Вяземского. В письме от 25 декабря 1842 г. к А. И. Тургеневу он писал о Мармье:

---

[25] Автограф стихотворения Мармье «En Russie» хранится в настоящее время среди иностранных автографов ГПБ. Я. К. Грот воспроизвел это стихотворение в статье «Листки из скандинавского мира» («Современник», 1843, т. 29, стр. 103—104). В 1842 г. К. Мармье напечатал стихотворение «En Russie» в расширенном виде в журнале «Revue des Paris» (t. 12, pp. 127—128).

[26] X. Marmier. Russland, Finland und Polen. Aus dem Französischen. Vv. 1—2. Regensburg, 1884; 2-te Ausg., vv. 1—2, Regensburg, 1854.

[27] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. II. СПб., 1896, стр. 123.

[28] Ф. Булгарин. Журнальная всякая всячина. «Северная пчела», 1843, № 157, 17 (29) июля; ср.: В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, т. IX, М., 1955, стр. 610, 648.

«Видно, что ему хотелось не раздразнить ни нас, ни парижский журнализм, а это лучший способ не угодить ни той ни другой стороне».[29]

Вяземский приходит к мысли о необходимости напечатать в парижской прессе опровержение на статью Мармье о Троице-Сергиевой лавре. «Читали ли вы в „Revue des Deux Mondes“ статью Мармье о Троицком монастыре? — спрашивал в марте 1843 г. Вяземский Шевырева. — Надобно вам собраться с московскими православниками и пощелкать его за промахи и недоброжелательство».[30]

Но ни С. П. Шевырев, ни И. В. Киреевский не проявляли торопливости в ответ на предложение Вяземского. Что же касается А. И. Тургенева, то он советовал Вяземскому «умерять свои заключения, кои могут зачерстветь в нашей сидячей жизни», и не скрывал своего восхищения статьей Мармье.[31]

На восприятии «Писем о России» русской читающей публикой, безусловно, отразилась напечатанная в 1848 г. в Париже книга «La Russie en 1839» маркиза Адольфа де Кюстина. Несмотря на то что ввоз книги Кюстина в Россию был воспрещен, ее известность в кругах русской интеллигенции была огромной. В книге Кюстина был собран большой материал, изобличающий реакционную сущность Николая I. Однако, несмотря на серьезную и глубокую критику самодержавия, маркиз де Кюстин обнаружил полное невежество и грубые преувеличения в оценках отдельных сторон жизни русского народа и ничем не оправданное высокомерие в оценке его культуры.

В первую половину XIX в. вера в то, что Франция является единственной законодательницей эстетических вкусов и мнений, была так сильна среди французских литераторов, что ни у пропитанного злобой ко всему русскому маркиза Кюстина, ни у более объективного и более

---

[29] Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. Остафьевский архив, т. IV, стр. 196.

[30] Письма П. А. Вяземского к С. П. Шевыреву, стр. 309 (письмо от 10 марта 1843 г.).

[31] См.: Переписка П. А. Вяземского с А. И. Тургеневым. Остафьевский архив, т. IV, стр. 196, 213, 233, 238—239, 243; о книге К. Мармье весьма положительные отзывы дали также В. Балабин («Journal de Victor de Balabine, secrétaire de l'ambassade de Russie», Paris, 1914, p. 82) и А. В. Никитенко (Дневник в трех томах, т. I, М., 1955, стр. 267).

проницательного Бальзака, посетившего в 1843 г. Россию, русский народ и его культура не могли возбудить серьезного внимания. То обстоятельство, что К. Мармье в обстановке почти полного равнодушия к духовной жизни русского народа указывал своим соотечественникам на русскую литературу как на серьезную силу и дал при этом в своей статье краткий обзор творческой деятельности Пушкина, Гоголя, Грибоедова, Жуковского, Крылова, Вяземского, Баратынского, Языкова, Веневитинова, Батюшкова, Одоевского и других русских писателей, свидетельствовало не только об отсутствии националистических предрассудков у автора «Писем о России», но также и о его глубоком и проникновенном понимании соотношения культурных ценностей, созданных народами Европы.

Уступая книге маркиза де Кюстина в характеристике и критике русского самодержавия, «Письма о России» Мармье стояли неизмеримо выше по объективности и вдумчивости, проявленных при изучении жизни русского народа, его быта и нравов, его духовной культуры.

По напечатании в 1843 г. своей книги о России Мармье некоторое время был увлечен разработкой новых тем.[32] В 1844 — 1845 гг. он совершает путешествие в Африку, творческим итогом которого явились книги «От Рейна до Нила» (1846) и «Письма об Алжире» (1847). К русской теме Мармье возвращается только в 1847 г., когда он, как упоминает Эдмон Бире, настойчиво приступает к совершенствованию своего знания русского языка. Напечатанный в 1853 г. перевод повести Пушкина «Выстрел» был результатом этих занятий и положил начало большой серии переводов с русского, которые были опубликованы Мармье на протяжении 50—60-х годов прошлого века.[33]

На характер занятий К. Мармье русской литературой в указанный период заметное воздействие оказали С. Д. Полторацкий и И. С. Тургенев.

---

[32] Следует отметить, что в 1843 г. Мармье напечатал первый перевод с русского языка — «Метель» Пушкина («Illustration», 1843, № 13, mai); перевод был напечатан без указания имени переводчика.

[33] Перевод «Выстрела» появился в газете «Le Correspondant» за 1853 г. (стр. 514). Отметим, что в 1856 г. в газете «Le Moniteur» (17 janvier) был напечатан перевод «Выстрела», принадлежащий Проспèру Мериме.

О связях С. Д. Полторацкого с Ксавье Мармье мы можем судить по пяти письмам французского писателя, хранящимся в фонде С. Д. Полторацкого в Государственной Публичной библиотеке в Ленинграде. Помета «К. Мармье, 1855», сделанная рукою С. Д. Полторацкого на конверте, в который заключены письма, указывает на год их написания.

Ниже мы приводим в переводе с подлинника извлечения из этих писем.

Письмо № 1 (без даты):

«Я добился, наконец, преодоления тех трудностей, с которыми долго сражался, и я теперь уверен, по крайней мере, в том, что с помощью словаря я смогу читать ваши ужасные русские книги (vos terribles livres russes). Я твердо надеюсь, что в скором времени достигну того, что смогу читать их бегло».

Письмо № 2 (без даты):

«Я премного вам благодарен за ваши литературные указания, которые оное письмо содержит. Надеюсь, что придет день, когда я смогу употребить с пользой эти указания... В проспекте, который вы мне прислали, я вижу объявления о продаже многих произведений, которые меня сильно привлекают, особенно рассказы Тургенева, из которых у меня есть только „Записки охотника“, маленький роман в стихах под названием „Помещик“ и „Три портрета“. Я отправлю требование на другие книги в Петербург, и если бы вы смогли до того, как я сделаю этот запрос, указать дополнительно несколько произведений этого же рода, только не слишком длинных, но действительно характерных и интересных, я был бы вам обязан».

Письмо № 3 (13 апреля 1855 г.):

«Вы осыпали меня обилием как мнений, которым я придаю большое значение, так и филологических советов, за которые я вам очень признателен. Если я до сих пор не сделал ожидаемого вами употребления из того, что вы мне столь великодушно прислали, то будьте уверены, что совсем не у меня не хватало для этого живейшего и серьезнейшего желания. Во-первых, я не столь сведущ в знании вашего драгоценного языка, чтобы я мог читать на нем бегло, как на других языках Севера, как, например, на прекрасных языках Германии, Швеции и Дании, которые были изучены мною на их собственной почве. И потом, должен вам сказать и то, что я не смогу, как я того желаю, заинтересовать нашу публику даже самыми невинными произведениями вашей страны, не встречаясь то здесь, то там с разными сомнениями и сопротивлением, в особенности с той стороны, где я менее всего защищен: вот почему я сомневаюсь, что опровержение (rectification), которое вы мне прислали, будет напечатано».

Письмо № 4 (7 мая 1855 г.):

«Нынешним утром я прочитал ваше письмо с чувством глубокого сожаления, так как из всех просьб, в выполнении которых вы могли бы на меня рассчитывать, просьба, с которой вы ко мне обратились, была для меня в прошлом, так же как остается и в настоящем, настолько невыполнимой, что с наилучшим желанием, какое только можно вообразить, я не могу даже и мечтать о ее осуществлении».

Письмо № 5 (27 мая 1855 г.):

«Я благодарен вам, милостивый государь, за любезную присылку нескольких новых ваших публикаций и с радостью наблюдаю, что мой старый друг Брокгауз обзавелся для своей типографии русским шрифтом. Может быть, благодаря этому мы сможем доставать русские книги гораздо легче, чем посредством затяжных и затруднительных сношений с Петербургом... Как я благодарен вам за все литературные богатства, которыми вы меня одарили!».

Комментарием к напечатанным выше письмам может служить сохранившийся в архиве С. Д. Полторацкого черновик его письма к Мармье от 31 марта 1855 г. По этому черновику восстановить письмо полностью нам не удалось, и мы попытаемся процитировать здесь или изложить только ту его часть, которая поддается (полному или частичному) восстановлению:

«Уже с давних пор наши русские книги, которые вы в вашем письме называете terribles, не являются более таковыми для вас, в особенности произведения знаменитого Пушкина, к которому вы, как мне кажется, питаете расположение и произведения которого вы цените выше, чем произведения других наших талантов... Сколько раз в тишине своего кабинета мечтал я увидеть лучшие отрывки из Пушкина в поэтических переводах ваших собственных, Мериме, Гюго, Ламартина и Барбье! Каким образом доныне устояли вы от соблазна перевести на ваш прекрасный язык такие замечательные стихотворения Пушкина, как «Наполеон», «Андре Шенье», «Деревня» (конец которой остался в рукописи по цензурным соображениям), «Послание к Лицинию», так называемый перевод с латинского, и другие, каждое из которых лучше другого?».

Значительная часть письма Полторацкого была посвящена перечислению измышлений в отношении жизни и деятельности Пушкина, нашедших место в изданной в 1855 г. в Париже книге (Ach. Galler de Kulture «Le tzar Nicolas et la Saint Russie»). Как можно думать, в своем письме Полторацкий обращался к Мармье с просьбой напечатать в парижской прессе опровержение на вымыслы автора указанной книги.

В письме к Полторацкому от 13 апреля 1855 г. (письмо № 3) Мармье, вероятно, и имел в виду это предложение, высказывая сомнение в том, что присланное Полторацким опровержение согласится напечатать какое-либо из французских периодических изданий.

Коснувшись напечатанной в «Полярной звезде» за 1825 г. «Исповеди Наливайки» К. Рылеева, Полторацкий спрашивал Мармье: «Почему вы не переложите это стихотворение превосходным французским стихом, как это вы делали неоднократно и как, надеюсь, вы не перестанете делать и в будущем?»

В письме к Полторацкому от 7 мая 1855 г. Ксавье Мармье, как мы видели, при всем своем уважении к русскому корреспонденту отказывался выполнить одну из его просьб. О какой просьбе шла речь? Мы можем высказать предположение, что в названном письме Мармье отказался принять участие в издании «Русской исторической библиотеки» на французском языке, план создания которой был задуман С. Д. Полторацким. Этот план, вероятно, не учитывал ни спроса читателей, ни политической конъюнктуры и был настолько грандиозным, что известный библиофил Керар в письме к Полторацкому от 15 марта 1854 г. писал: «Я покажу вам мой план исторической библиотеки России, который по сравнению с вашим — пылинка».[34]

* * *

Из русских литературных знакомств Ксавье Мармье, восходящих к 1842 году, его знакомство с П. А. Плетневым нуждается в некоторых дополнительных объяснениях. Хотя, расставаясь в 1842 г. с Мармье, Плетнев и обещал писать ему, о существовании подобной переписки в 40-е годы XIX в. нам ничего не известно. Но из переписки Плетнева с Гротом мы узнаем, что, попав в начале 1857 г. в Париж, Плетнев неоднократно встречался там с Мармье.

Письма Мармье к Плетневу, хранящиеся в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, по-

---

[34] ГПБ, фонд С. Д. Полторацкого (письмо Керара к Полторацкому от 15 марта 1854 г.).

зволяют нам осветить содержание возобновившихся связей между Плетневым и Мармье.[35]

Начало возобновлению этих связей было положено, как следует полагать, Плетневым, который после отъезда в 1855 г. за границу, будучи еще в Германии, посылает Мармье тюк русских книг и журналов и кратким письмом предупреждает его о своем возможном приезде в Париж. Письмо Мармье к Плетневу от 31 октября (н. ст.) 1856 г., вероятно, и было ответом на это не дошедшее до нас напоминание о себе Плетнева. Отдыхавший в деревне Мармье благодарил Плетнева за присылку книг и газет, сообщал о своем скором возвращении в Париж и выражал желание встретиться со старым другом у своего домашнего очага.

Ответом на это письмо Мармье, несомненно, было то письмо Плетнева, недатированный черновик которого хранится в архиве Плетнева под шифром Оп. 1, № 131. «Ваше прелестное письмо, мой дорогой г. Мармье, — писал в нем Плетнев, — заставило меня испытать самые нежные чувства. Я хорошо вижу, что, вопреки времени и пространству, которые нас разделили, ваша душа сохранила все ее наилучшие впечатления».[36]

В изданной в 1856 г. книге переводов с русского «Au bord de la Néva», в предисловии к переводу «Шинели» Гоголя, Мармье назвал имя Плетнева в числе друзей автора «Шинели». В письме к Плетневу от 6 ноября 1856 г. Мармье напоминает ему о выходе в свет этой книги и просит при случае приобрести ее у парижских книгопродавцев. В том же письме Мармье просит Плетнева быть снисходительным к его переводам с русского и жалуется на плохое знание русского языка — знание, приобретенное без посторонней помощи. «Впрочем, к этому языку я питаю нечто вроде чувства благодарности. Он так крепко и надолго приковал меня к своим глаголам и склонениям, что удержал меня тем самым от излишних раздумий над печальными событиями, которые происходили в моей стране. Когда вы придете повидаться

[35] Письма К. Мармье к П. А. Плетневу (на французском языке), о которых мы говорим и которые в извлечениях приводим ниже, хранятся в Отделе рукописей ГПБ (ф. 234, оп. 1, 3 и 4). Цитируя в дальнейшем изложении выдержки из писем Мармье, мы будем указывать только номер описи и единицы хранения.

[36] Оп. 1, № 131.

со мной, вы найдете у меня небольшой уголок вашей Святой Руси. Многих ваших поэтов, ваших романистов, ваших историков... Несомненно — моя библиотека в вашем распоряжении».[37]

В недатированном письме к Плетневу (дата получения 26 ноября 1856 г.) обращают внимание следующие строки: «Я читаю „Большую барыню“, которая меня весьма заинтересовала». «Большая барыня» Вонлярлярского была, вероятно, в числе книг, рекомендованных Мармье Плетневым. Как известно, Мармье так сильно заинтересовался Вонлярлярским, что перевел впоследствии «Большую барыню» и «Ночь на 28-е сентября» на французский язык.[38]

Мармье прибыл в Париж в конце ноября или в начале декабря 1856 г. В начале января 1857 г., как можно заключить из переписки Плетнева с Гротом, туда же прибыл и Плетнев. Встреча его с Мармье состоялась, по-видимому, между 10 и 15 января 1857 г. Недатированное письмо Мармье к Плетневу, на котором рукою последнего отмечена дата его получения — 16(28) января 1856 г. (мы убедимся в дальнейшем, что Плетнев допустил здесь описку; следует читать 16 (28) января 1857 г.), по всем признакам, было написано после их встречи. Мармье писал: «Сегодня вечером я видел мадам де Лагрене, которая, едва только услыхав, как я произнес ваше имя, сказала мне, что она была бы рада повидать вас. Она живет по улице La Cazes № 7 и принимает обычно по воскресеньям... Тысяча поклонов мадам Плетневой... Не забудьте, прошу вас, о сочинении г. Толстого, о котором вы мне говорили, и о рассказах г. Тургенева».[39]

В январе 1856 г. Мармье не мог обращаться к проживавшему в Петербурге Плетневу с просьбой навестить в Париже мадам де Лагрене. Ошибочность даты, поставленной на приводимом письме Плетневым, подтверждается также письмом последнего к Гроту от 19(31) января 1857 г. В этом письме Плетнев, несомненно, побуждаемый

---

[37] Оп. 3, № 413.

[38] В. А. Вонлярлярский (1814—1852) — второстепенный писатель-беллетрист. Семитомное собрание сочинений его было издано в 1853—1854 гг. Ксенофонтом Полевым.

[39] Оп. 3, № 413; упоминаемым в письме Мармье «сочинением Толстого» было, как выясняется ниже, «Детство и отрочество», первое издание которого увидело свет в 1856 г.

напоминанием Марье, писал Гроту: «Сделай одолжение, купи неотлагательно две новые книги: „Собрание рассказов графа Льва Толстого“ („Детство и отрочество“ и его военные рассказы), а также „Собрание повестей Ивана Тургенева“ (последний выбор из журналов), да и перешли их ко мне немедленно через министерство иностранных дел. Это все желает получить Марье».[40]

Потребность в русских книгах у Марье была настолько большой, что через несколько дней в письме, полученном Плетневым 25 января (2 февраля) 1857 г. (дата написания отсутствует), он обратился к последнему с новым заказом на покупку русских книг, прося прибегнуть к посредничеству Я. К. Грота. В списке требуемых книг, помимо Тургенева и Толстого, Марье назвал также произведения В. А. Соллогуба, Н. А. Полевого и других авторов.[41]

Знакомство К. Марье с И. С. Тургеневым возникло, вероятно, не без участия П. А. Плетнева. Первая встреча Марье с Тургеневым имела место накануне 26 февраля (10 марта) 1857 г., как свидетельствует письмо Тургенева к П. В. Анненкову, на котором мы остановимся несколько ниже.

Но еще до этой встречи Марье предпринимал несколько попыток сблизиться с Тургеневым. В одном из недатированных писем к Плетневу, вероятно, при возвращении прочитанного «Детства и отрочества» Толстого, Марье писал: «Вот, милостивый государь, книга Толстого. Я весьма глубоко сожалею, что меня не было дома и я не смог принять ни вас, ни г. Ивана Тургенева, с которым мне так хотелось познакомиться». А в другом своем письме к Плетневу, датированном необычайно кратко «Lundi», Марье писал: «Я был на улице l'Arcade № 11 и к моему большому сожалению г. Тургенева не застал уже дома. Не согласитесь ли вы склонить его зайти ко мне вместе с вами на завтрак, который состоится в ближайший понедельник в 11 часов».[42]

---

[40] Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. III. СПб., 1896, стр. 648.

[41] Оп. 3, № 413.

[42] В очередном письме к Плетневу Марье просил перенести назначенный завтрак на другой день ввиду полученного им от одного из друзей приглашения на свадьбу.

В письме к Плетневу, написанном под свежим впечатлением от состоявшейся встречи с Тургеневым (дата получения письма 26 февраля 1857 г.), Мармье писал: «Ваш любезный друг Тургенев по доброте своей дал мне три тома рассказов, которые я просил вас заказать для меня в Петербурге. Если есть еще время, напишите, пожалуйста, г. Гроту, чтобы он не покупал или чтобы заменил их, если это возможно, другими книгами, которых у меня еще нет, напр., книгами Толстого, рассказами Полевого».[43]

Об изменении этого решения Мармье П. А. Плетнев в тот же день сообщал Я. К. Гроту.[44]

Весьма интересна попытка Мармье устроить у себя дома завтрак для трех русских литераторов — Тургенева, Толстого и Плетнева. Получив от Тургенева согласие явиться к нему с Толстым, Мармье писал Плетневу: «Мой дорогой друг! В ближайший понедельник к 11-ти часам Тургенев приходит ко мне завтракать с г. Толстым. Не пожелаете ли и вы присоединиться к ним? Вы доставили бы мне этим большое удовольствие».[45]

Получив согласие Плетнева, в очередном письме к нему Мармье писал: «Я рад, что вы соблаговолили принять мое приглашение на понедельник. Но отсюда до понедельника еще четверо долгих суток! .. Итак, до свидания в понедельник в 11 часов в любом случае. Тысяча наилучших пожеланий. Четверг. К. Мармье».[46]

В дневнике Л. Н. Толстого (за 1857 г.) под датой 16(28) марта читаем: «... обедал с Тургеневым и Мармье у Miss Pancouk с академиками».[47] Насколько можно судить по этой записи, желание К. Мармье познакомиться с Л. Н. Толстым осуществилось.

Интерес, проявленный Мармье в 1857 г. к личности и творчеству Льва Толстого, — факт большой значительности. Это первая известная нам попытка познакомиться

---

[43] Отметим, что «Детство и отрочество» Толстого вместе с «Энциклопедическим словарем» Старчевского были своевременно переданы К. Мармье П. А. Плетневым.

[44] См.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. III, стр. 650 (письмо к Гроту от 26 февраля 1857 г.).

[45] Оп. 3, № 413.

[46] Там же.

[47] Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 47, М., 1937, стр. 120.

с творчеством великого русского романиста, возникшая во французской писательской среде. Не исключена возможность, что К. Мармье был также первым французским писателем, испытавшим воздействие Л. Толстого: в романе Мармье «Mémoires d'un orphelin» (1864), как нам кажется, обнаруживаются следы воздействия «Детства и отрочества».

Мармье поддерживал самые близкие отношения с Плетневыми на протяжении их семимесячного пребывания в Париже. Регулярно посещая Плетневых, Мармье становится «своим человеком» в их доме. Плетневы снабжают Мармье русскими книгами и в свою очередь пользуются его библиотекой, Мармье доставляет Плетневым билеты на ученые заседания и выступает посредником в знакомстве Плетнева с французскими учеными и литераторами. Со стороны Плетнева и его жены Александры Васильевны Мармье встречает самый искренний прием и расположение.

Связи Мармье с Плетневыми не прерывались и после отъезда их из Парижа. В письме к А. В. Плетневой от 24 августа 1857 г. Мармье писал: «Когда же я снова увижу моего хорошего и дорогого Плетнева, который с 1842 года в нищете моего духа посеял столько семян просвещения и в верности моей памяти столько сердечных чувств? Мне так сильно хотелось посмотреть когда-нибудь Курляндию, Литву, а оттуда отправиться в Петербург. Но смогу ли я осуществить проект? Кто знает?». «Мне бы очень хотелось повидать снова Тургенева, — писал в этом же письме Мармье. — Немногие люди в моей жизни внушили мне такую внезапно возникающую и глубокую симпатию. Однако его симпатия мною не завоевана, как это мне, к моему величайшему сожалению, кажется. Но как бы там ни было, я не стану от этого любить его меньше. Я с наслаждением трудился над переводом его рассказов, стараясь выполнить его как можно лучше. Перевод уже готов и сдан в типографию. Он появится через несколько недель, если только в ближайшие дни я не отправлюсь в мою дорогую Франш-Конте!».[48]

Тургеневу и русской литературе посвящена значительная часть следующего, датированного 24 января 1858 г. письма Мармье к А. В. Плетневой. «Тургенева я не видал

---

[48] Оп. 4, № 117.

с прошлой зимы, — писал в нем Мармье. — В ближайшие дни будет издан том его рассказов, которые я переводил, пользуясь любезными советами Вашего просвещенного мужа. Когда я закончу свой роман, тогда я с большим рвением возьмусь за вашу литературу.[49] Мой дорогой Плетнев доставил бы мне большое удовольствие, если бы смог послать мне несколько новых книг. . .».[50]

Просьба Мармье и на этот раз была удовлетворена исполнительным Плетневым. Мы узнаем об этом из письма Мармье к Плетневу от 25 марта (6 апреля) 1858 г. В том же письме он извещал об окончании работы над романом «Обрученные на Шпицбергене»: «Я вложил в него мои лучшие воспоминания и мой лучший труд. Я льщу себя надеждой, что он понравится мадам Плетневой, и как только он выйдет в свет, я пришлю его вам».[51]

Роман «Обрученные на Шпицбергене» (1859) создавался в период самых интенсивных занятий автора русской литературой, в обстановке близкого общения Мармье с семьей Плетневых и Тургеневым. К одной из глав романа (второй) автор взял в качестве эпиграфа слова Тургенева из «Якова Пасынкова»: «Жалок тот, что живет без идеала». Наряду с французским переводом Мармье привел в книге этот эпиграф и по-русски, в латинской транскрипции: «Jalok tott, kto jiwett bess ideala. J. Tourguéneff».[52] Как в романе «Обрученные на Шпицбергене», так и в романе «Елена и Сюзанна» (1862) Мармье обнаружил заметную зависимость от Тургенева-романиста.

То обстоятельство, что Тургенев разрешил в 1857 г. Мармье работать над переводом своих произведений на французский язык, следует рассматривать как свидетельство высокого доверия со стороны русского писателя к Мармье-переводчику. В то время когда Мармье трудился над переводом рассказов Тургенева для первой серии «Scènes de la vie russe» (Paris, 1858), над переводом рассказов для второй серии этого же издания работал совместно с Тургеневым Луи Виардо.[53]

---

[49] Мармье работал в это время над романом «Обрученные на Шпицбергене».

[50] Оп. 3, № 412.

[51] Оп. 3, № 412.

[52] X. Marmier. Les Fiancées du Spitzberg. Paris, 1859, p. 35.

[53] См.: Ivan Tourguéneff. Lettres à madame Viardot. Paris, 1907, pp. 177—178.

Общение с Тургеневым в жизни Мармье было событием многозначительным. И примером своей писательской деятельности, и своими литературными взглядами Тургенев не мог не оказать воздействия на Мармье. Не без участия Тургенева (хотя здесь вероятно также участие С. Д. Полторацкого) Мармье знакомится с сочинениями и литературными взглядами А. И. Герцена. Влияние последнего отразилось на статьях Мармье о Пушкине и о Лермонтове, снабженных ссылками на А. И. Герцена и выдержками из его брошюры «Du développement des idées revolutionnaires en Russie» (Paris, 1851). Мармье называет Герцена «лучшим критиком произведений Пушкина» («le meilleur appréciateur des oeuvres de Pouchkine»).[54]

Взгляд на русскую литературу как на самую своеобразную и самую реалистическую литературу мира возник и оформился у Мармье в результате ее пристального и многолетнего изучения, знакомства с лучшими произведениями русского художественного слова и общественной мысли, в частности в результате ознакомления с идеями А. И. Герцена. Этот взгляд сложился у Мармье не сразу и нашел яркое выражение в названной книге «Путешествия и литература» (1862). «Насколько мы может судить об этом, — писал в ней Мармье, — ни одна литература, кроме русской, не проявила такого сильного стремления сохранить свой самобытный тон, свои местные формы, одним словом, свои отличительные черты национальной литературы; подобный факт воспринимается первое время с удивлением; но он становится понятным, если вспомнить, что эта литература была единственным убежищем для чувств национальной независимости и индивидуальной свободы, у которых не было иных способов для своего проявления и которые даже в своем литературном выражении подвергались суровой цензуре. Поэты избегали вмешательства цензуры посредством ухода в область вымысла, где и изобразили нужды и страдания народа».[55]

Приблизительно в то же время в статье о Лермонтове Мармье писал: «В его произведениях, как и в произведениях Пушкина, заметен реализм, который является одной из главных характерных черт литературы его народа.

---

[54] X. Marmier. Voyages et littérature. Paris, 1862, p. 355.
[55] Там же, стр. 331.

С их живой впечатлительностью, с их талантом наблюдения и умением постигать переживания других русские в особенной степени способны развивать тот литературный реализм, который, кажется, становится основой современного искусства».[56]

В конце 50—начале 60-х годов прошлого века во Франции не только читательские, но и писательские круги вынуждены были довольствоваться весьма туманными и сбивчивыми понятиями о России, русском пароде и его культуре. Именно поэтому скромная переводческая и критическая деятельность Ксавье Мармье в немалой мере способствовала появлению среди французов правильных представлений о русской литературе, ее освободительных идеях и стремлении к реалистическому отображению жизни.

* * *

Литературное творчество Ксавье Мармье имело широкий успех и большое влияние на современников. Принятие Мармье в члены Французской академии в 1871 г. явилось признанием прочности завоеванного им научного и литературного авторитета. Общественно-политические взгляды К. Мармье были ограничены рамками буржуазного мировоззрения. И тем не менее своим отрицательным отношением к теории «чистого искусства», своей способностью возвыситься над националистическими предрассудками, своим сочувствием к передовым идеям времени Ксавье Мармье был близок к писателям-демократам; в его литературном наследии найдет немало живых страниц и наш современный читатель.

Переводческая и популяризаторская деятельность составляют наиболее ценную часть литературного наследия К. Мармье. Исследование вопроса о русских связях К. Мармье дает поучительные результаты. Содействуя более глубокому уяснению творчества этого писателя, оно вместе с тем дает материал для характеристики условий проникновения русской литературы на французскую почву в 40—60-е годы прошлого века.

Увлечение К. Мармье русской литературой, несмотря на неблагоприятную политическую обстановку, созданную

[56] Там же, стр. 380.

бонапартистским режимом, отличалось большим постоянством и было гораздо сложнее и глубже простого тяготения к экзотической теме. В этом увлечении отразилась осознанная передовой частью французского общества необходимость приобщения к духовной культуре русского народа.

Ксавье Мармье много сделал для распространения русской литературы среди французской читающей публики. Несмотря на то что расцвет его переводческой и публицистической деятельности совпадает с начальным периодом в изучении русской литературы во Франции, Мармье как переводчик и критик русских писателей обнаружил незаурядные познания и способности. То обстоятельство, что испытавший в молодости известное воздействие славянофильских идей К. Мармье не только успешно преодолел их, но и возвысился до понимания и усвоения важнейших общественных и литературных взглядов А. И. Герцена, характеризует его с наилучшей стороны. Упорной и умелой пропагандой лучших достижений русского художественного слова среди своих соотечественников К. Мармье завоевал почетное место в истории французской литературы.

*Герцен — пропагандист и интерпретатор русской литературы на Западе**

Среди предшественников и современников А. И. Герцен как пропагандист и интерпретатор русской литературы на Западе занимает совершенно особое, незаменимое и неповторимое место. Это обнаруживается со всей очевидностью, если мы сравним автора «О развитии революционных идей в России» с такими, например, представителями русской общественной мысли и литературного движения, как А. И. Тургенев или С. Д. Полторацкий. Последний, кстати сказать, популяризировал в живом общении среди своих западных друзей поэзию декабристов,[1] однако наиболее значительным и почти единственным печатным вкладом его в дело пропаганды русской литературы за рубежом явилась изданная им в 1855 г. в Лейпциге книга 15 переводов оды Г. Р. Державина на французский язык.[2] Большинство вошедших в эту книгу переводов было инспирировано самим издателем, и естественно, что она не могла стать сколько-нибудь значительным событием зарубежной общественно-литературной жизни.

---

* В виде доклада статья была прочитана 30 марта 1962 г. на научной сессии, посвященной 150-летию со дня рождения А. И. Герцена, проведенной Институтом русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде.

[1] См.: Ф. Приймa. С. Д. Полторацкий как пропагандист творчества Пушкина во Франции. «Литературное наследство», т. 58, М., 1952, стр. 298—307.

[2] См.: Dieu. Hymne du poète russe Derjavine. 1743—1816. Notice sur quinze traductions françaises de cette hymne. Leipzig, 1855.

Герцен был пропагандистом иного типа. И даже если мы будем сравнивать его в этом отношении с И. С. Тургеневым, то и здесь сходство обозначится скорее всего в масштабах их деятельности, а не в ее характере.[3] Мы не говорим уже о том, что деятельность Тургенева по распространению русской литературы на Западе падает главным образом на 70-е годы и автору «Записок охотника» нередко приходилось идти по путям, проложенным еще в 50—60-е годы Герценом. Тургенев популяризировал на Западе Пушкина, Лермонтова, Гоголя и с особенным рвением Л. Толстого, добиваясь того, чтобы созданные ими художественные ценности получили и за рубежом такое же признание, как и в России. Герцен же пропагандировал на Западе прежде всего русскую революционную литературу, обращаясь, как правило, не только к зарубежному, но и к русскому читателю. К кому была адресована «Полярная Звезда» или изданное Герценом в 1858 г. в Лондоне «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, или женевское издание «Колокола», а также многие другие издания и сочинения Герцена? Сам он, как известно, делил свою деятельность на два периода: до 1857 г. — период «русской пропаганды на Западе», после 1857 г. — обращение со словом пропаганды к русскому читателю. Не следует, однако, забывать, что выходившие за границей на русском языке герценовские издания оживленно комментировались английской, французской и, особенно, немецкой периодической прессой, приобретая тем самым общеевропейский резонанс.

В отличие от тургеневских герценовские зарубежные связи ограничивались преимущественно средой демократической эмиграции разных стран, возникшей в результате поражения революции 1848 г. «Его дом, который он купил в 1848 году в Париже, в Avenue Елисейских полей, — писал Густав Раш, — служил сборным пунктом для изгнанников самых различных национальностей, тут встречались немцы и итальянцы, поляки и румыны, венгры и сербы».[4] Но, кроме деятелей политического мира, таких, как Маццини и Гарибальди, Ворцель и Кошут, Луи

[3] См.: М. П. Алексеев. И. С. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе. «Труды Отдела новой русской литературы», 1948, № 1, стр. 39—80.

[4] М. К. Лемке. Герцен в Европе (1847—1851 гг.). «Современный мир», 1906, октябрь, стр. 45.

Блан и П. Ж. Прудон, Герцен, как известно, был знаком и с эмигрантами-писателями, — В. Гюго, Ф. Пиа, Г. Гервегом.

В 1840—1850-е годы со статьями о русской общественно-политической жизни и русской литературе неоднократно выступал на страницах французских газет и журналов Н. И. Сазонов.[5] Подобно Герцену, он рассчитывал на моральную поддержку по преимуществу в радикально настроенных кругах французского общества. Однако ни по длительности, ни по размаху пропагандистская деятельность Сазонова не может идти ни в какое сравнение с пропагандой Герцена. К тому же литературно-эстетическим взглядам Сазонова не хватало той последовательности и глубины, которой характеризовалась историко-литературная концепция Герцена.

«Благодаря вынужденной царизмом эмигрантщине, — писал В. И. Ленин, — революционная Россия обладала во второй половине XIX века таким богатством интернациональных связей, такой превосходной осведомленностью насчет всемирных форм и теорий революционного движения, как ни одна страна в мире».[6]

Подлинным зачинателем традиций по установлению этих связей был Герцен. Уже в 1849 г., будучи убежденным в том, что «Цезарь знал галлов лучше, чем Европа знает русских»,[7] он писал: «Для русских за границей есть еще другое дело. Пора действительно знакомить Европу с Русью. Европа нас не знает; она знает наше правительство, наш фасад и больше ничего» (VI, 17 и 322). И многие произведения Герцена, появлявшиеся с конца 1849 г., если не полностью, то частично, были посвящены реализации этого намерения. Красной нитью проходила в них мысль о том, что западноевропейский буржуазный строй жизни исчерпал себя и что он должен и может быть преображен в процессе всемирной революции, которая придет из России, не затронутой тлетворным воздей-

---

[5] О Н. И. Сазонове как пропагандисте русской литературы на Западе см.: «Литературное наследство», т. 41—42, М., 1941 (статья Н. И. Сазонова «Литература и писатели в России»); Wiktoria Śliwowska. Mikołaj Sazonow. «Slavia Orientalis», 1966, № 3, str. 323—363; Michel Cadot. L'image de la Russie dans la vie intellectuelle française (1835—1856). Paris, 1967, pp. 29—34, 36—40.

[6] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 8.

[7] А. И. Герцен, Собрание сочинений в тридцати томах, т. VI, М., 1957, стр. 191. Ниже ссылки на это издание приводятся в тексте.

ствием буржуазной цивилизации. Сохранившаяся в русском народе крестьянская община, как полагал Герцен, явится зародышем и основой нового социалистического общественного устройства.

Герценовская теория «русского социализма», будучи утопической в своей основе, имела и сильную сторону, состоявшую в том, что великому русскому демократу удалось найти и определить объективно существовавшие, хотя и в скрытом виде, способность русского мужика к социальному протесту и его стремление к лучшим формам жизни. «Мне кажется, — писал он, — что в русской жизни есть нечто более высокое, чем община, и более сильное, чем власть; это „нечто“ трудно выразить словами, и еще труднее указать на него пальцем» (VI, 199). Под этим «нечто» он понимал созидательные и революционные потенции русского народа.

Таким образом, свое учение об общине Герцен никогда не рассматривал как какую-то непогрешимую догму; его социологические взгляды находились в постоянном движении; в последние годы жизни Герцен проявлял живой интерес к рабочему движению, к марксизму. По свидетельству мемуаристов, огромное и благоприятное впечатление произвела на него работа состоявшегося в 1868 г. Брюссельского конгресса Интернационала...

Пропагандируя свои общественные идеи, Герцен привлекал на помощь русскую литературу. Напомним, что упомянутая работа его «О развитии революционных идей в России», изданная почти одновременно на немецком и на французском языках в 1851 г., имела в качестве приложения статью «О сельской общине в России».

Лейтмотивом этой работы была мысль, что передовая русская литература является подтверждением непобедимого революционного развития России. «Революционные идеи, — писал здесь Герцен, — за эти двадцать пять лет распространились шире, чем за все предшествующее столетие...» (VII, 211). «Влияние литературы заметно усиливается и проникает гораздо далее, чем прежде; она не изменяет своему призванию и сохраняет либеральный и просветительский характер...» (VII, 215). Пушкин, Рылеев, Бестужев, Грибоедов, Лермонтов, Белинский, Кольцов, Веневитинов, Полежаев, Баратынский были охарактеризованы в герценовской брошюре как жертвы самодержавия. Но, анализируя литературную жизнь 30—

40-х годов, особенно деятельность Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского и Кольцова, автор приходил к обнадеживающим выводам. «Поэзия Пушкина была залогом и утешением. Поэты, живущие во времена безнадежности, не слагают таких песен» (там же). «Но можно ли сомневаться в существовании находящихся в зародыше сил, когда из самых глубин нации зазвучал такой голос, как голос Кольцова?» (VII, 226). И, заметим кстати, оптимистический тон герценовских прогнозов нисколько не снизился от того, что брошюра его была написана в годы «мрачного семилетия», когда русская литература пребывала в состоянии известной растерянности и кризиса.

«Великий обвинительный акт, — говорил, подводя итог своим рассуждениям, автор, — составляемый русской литературой против русской жизни, это полное и пылкое отречение от наших ошибок, эта исповедь, полная ужаса перед нашим прошлым, эта горькая ирония, заставляющая краснеть за настоящее, и есть наша надежда, наше спасение, прогрессивный элемент русской натуры» (VII, 247).

С такими словами обращался Герцен к демократической общественности Европы в надежде добиться взаимопонимания. И пафос этого обращения сочетался с полемическим смыслом, направленным против исторически сложившихся и глубоко ошибочных и невежественных представлений Запада о русском народе, его духовном облике, культуре и литературе.

О том, как ревниво оберегал Герцен честь и достоинство передовой русской литературы, можно судить на примере столкновения его в том же 1851 г. с известным французским историком Жюлем Мишле, представителем отнюдь не реакционного лагеря. В статье «Россия и Польша: легенда о Костюшке» Мишле имел неосторожность сказать: «Мы не станем придавать важности опытам тех немногих умных людей, которые вздумали упражняться в русском языке и обманывать Европу бледным призраком будто бы русской литературы».[8]

В ответ на это Герцен написал и напечатал в газете «L' Avènement du peuple» известное письмо-статью «Рус-

---

[8] Статья публиковалась первоначально в газете «L'Avènement du peuple», впоследствии была перепечатана в книге: J. Michelet. Légendes démocratiques du Nord. Paris, 1854, pp. 123—124.

ский народ и социализм», адресованное Мишле. В этой статье, утверждая, что «человек будущего в России — мужик, точно так же как во Франции — работник» (VII, 326), автор показал всю ограниченность представлений почтенного французского историка о русском народе и русской литературе. «О как я хотел бы, — взывал не только к адресату, но и ко всей мыслящей Франции Герцен, — достойным образом перевести вам несколько стихотворений Пушкина и Лермонтова, несколько песен Кольцова! Вы бы тогда нам тотчас протянули дружескую руку. Вы бы первый попросили нас забыть сказанное вами!» (VII, 329). Эта статья произвела сильнейшее впечатление на Мишле. «Я вас прошу, — отвечал он автору статьи „Русский народ и социализм“, — не судите об этих легендах по крайне неточному тексту, который появился в газете. Я собираюсь перепечатать их в книге и не премину доставить их вам очищенными от типографских и моих собственных ошибок. Я вычеркну непременно мой несправедливо резкий отзыв о русской литературе. Мне жаль сказанного мною о славных патриотах, великая заслуга которых заключалась в том, что они своими головами приподняли этот страшный ледяной свод и открыли хоть малую щель, чтобы погребенный народ мог несколько вздохнуть».[9]

Занятый популяризацией произведений русских авторов лично, Герцен побуждал к этому также членов своей семьи и лиц, принадлежавших к его ближайшему окружению. Показательно относящееся к марту 1857 г. следующее письмо к нему Дж. Маццини: «Я знаю, что ваш сын Александр перевел французской прозой несколько отрывков из Пушкина. Мне очень хотелось бы, чтобы он дал мне их на время. И если бы он согласился перевести для меня дословно оду „К кинжалу“, я был бы ему бесконечно благодарен».[10]

В 1859 г. Герцен советует М. К. Рейхель заняться переводом на английский язык рассказов Марко Вовчок, и благодаря его посредничеству один из этих переводов (рассказ «Червонный туз») был напечатан в английской прессе.

---

[9] «Былое», 1907, апрель, стр. 85.
[10] «Литературное наследство», т. 62, М., 1955, стр. 306.

Герцен содействовал европейской известности даже тех русских писателей, с которыми у него были натянутые личные отношения. В 1857 г. он писал Мальвиде Мейзенбуг по поводу ее статьи о русской литературе, предназначенной для немецкой прессы: «Почему не сказано ни одного слова о стихотворениях Некрасова? Хотя я его как человека не люблю, но это поэт весьма примечательный своей демократической и социалистической ненавистью» (XXVI, 98).

В 1858 г. издатель «Колокола» поощрял М. Мейзенбуг в ее работе по переводу на немецкий язык произведений Льва Толстого, а в 1864 г. он хлопочет о переводе на английский язык «Записок из Мертвого дома» Достоевского. И только исключительной занятостью Герцена издательской и творческой деятельностью следует объяснить то, что своих больших планов, связанных с популяризацией на Западе русской литературы, он не смог выполнить полностью.

В 1857 г. Герценом было написано предисловие к немецкому переводу «Рыбаков» Д. В. Григоровича. Издатель «Колокола» воспользовался случаем, чтобы высказать свою точку зрения на русскую литературу о народном быте, представленную сочинениями Кольцова, Тургенева, Григоровича и Даля, в которой, по его словам, выступила «Россия забытая, Россия бедняков, крестьян, подавшая наконец голос... Наступило время, когда Золушка вошла в бальный зал» (XIII, 176). В развитии народной темы Герцен увидел новое подтверждение жизнеспособности русской литературы и ее национальной самобытности.

В июне 1864 г. в парижской газете «Le Temps» Герцен опубликовал письмо к редактору, которое начиналось следующими словами: «Дорогой друг! Перед нами письмо из С.-Петербурга, сообщающее гнусные подробности о наказании, которому был подвергнут знаменитый русский публицист, руководитель „Современника“, самый крупный литературный талант нынешней России Николай Чернышевский. Мне кажется, что эти позорные действия русского самодержавия должны стать известными Европе».[11]

---

[11] «Литературное наследство», т. 63, М., 1956, стр. 72.

Аналогичное письмо было опубликовано Герценом и в английской газете «Daily News», а затем перепечатано и в других английских, французских и немецких газетах.

Совершенно бесспорно, что уже одно это небольшое публицистическое выступление Герцена для дела пропаганды русской литературы на Западе имело гораздо большее значение, чем сотни заметок библиографического характера и бесстрастных информационных статей.

В том же 1864 г. Герцен публикует на французском языке брошюру «Новая фаза русской литературы», в которой, бросая ретроспективный взгляд на предшествующее полувековое развитие и на оппозиционный дух русской литературы, охарактеризовал литературную политику самодержавия как систему неслыханных насилий и произвола. Автор «Новой фазы» оценил наступавшее торжество политической реакции как временное явление, как знамение того, что «Россия императорская, военная и дворянская... окончила свое существование» (XVIII, 220), что на сцену общественной борьбы и в литературу пришли разночинцы, «нигилисты» типа Чернышевского, и этим «новым людям», преодолевая собственные сомнения, Герцен отдавал свои симпатии.

Деятельность великого русского агитатора помогала демократическим силам Западной Европы понять Россию, русский народ, его культуру и литературу. Под заметным воздействием Герцена официальная зарубежная печать, запугивавшая в 20—40-е годы общественное мнение русским деспотизмом, приблизительно с 50-х годов, меняя голос и тон, начинает запугивать читателей призраком русской революции. Процесс подобного рода сдвига в общественном сознании можно проследить на истории восприятия сочинений и идей Герцена буквально во всех европейских странах.

Особенно оживленными были споры вокруг имени и сочинений Герцена во французской публицистике, лучшие представители которой видели в нем посланника «молодой России» и своего незаменимого соратника. Неутомимым посредником между Герценом и французской общественностью был Шарль Эдмон (Хоецкий), который еще в 1849 г., рекомендуя автора статьи «Россия» читателям радикальной газеты «La Voix du Peuple», называл его «знаменитым писателем». В 1861 г. в альбоме «Pantheon parisien» Ш. Эдмон поместил статью о Герцене

с его портретом. С неизменным энтузиазмом встречал любое печатное или публичное выступление русского изгнанника Теофиль Торе, тесно связанный со многими демократически настроенными французскими художниками и писателями — Гюставом Курбе, Огюстом Прео и другими. В «Дневнике» за 1852 г. Торе писал: «Среди изгнанников всех наций наиболее разумным и истинным представителем всеобщей Революции является, по-моему, Герцен».[12]

С чувством недоверия или вражды относилась к Герцену французская консервативная печать. Французско-бельгийский реакционный публицист Гюстав Молинари, сокрушаясь по поводу феноменальной популярности «Колокола» в России и на Западе, видел причину этого явления в чрезмерной строгости царской цензуры, препятствовавшей русской общественной мысли свободно высказаться при посредстве легальных изданий. «„Колокол“, — рекомендовал царскому правительству Молинари, — перестанут читать сразу же, как только цензура перестанет поставлять ему читателей».[13]

На страницах французских журналов и газет неоднократно высказывалась мысль о том, что идеи Герцена готовят почву для революции, которая может помешать осуществлению правительственных реформ — единственного спасения России, поскольку русский народ еще не осознал потребности в гражданской свободе. И даже такие благосклонно относившиеся к Герцену критики, как Ипполит Деляво, а он был переводчиком на французский язык «Былого и дум», рекомендовали русскому автору отказаться от политической деятельности. В связи с выходом второго издания «Тюрьмы и ссылки» Деляво писал: «Нам остается обратить единственное замечание к самому автору. Мы думаем, что спокойное и искреннее изложение одной из самых тревожных эпох его жизни возбудит больше интереса, вызовет больше сочувствия, чем резкие его памфлеты... Теперь Герцен вступает в область ясную и из горячего поборника трибуны становится беспристрастным наблюдателем. Инстинкт оппозиции в нем сохранился, но он очистился и просветлел под благотворными

---

[12] Souvenirs et pensées de Théophile Thoré (1807—1869). «Nouvelle revue retrospective», 1901, № 86, p. 82.

[13] G. de Molinari. Lettres sur la Russie. Bruxelles. Paris, 1861, p. 78.

ударами судьбы. Да не отступает автор „Тюрьмы и ссылки“ от своего пути; вместо бесплодной борьбы с общим злом пусть истина, без гнева и малодушия, говорит его языком. Это самый верный способ разрушать предрассудки, выводя их на суд общественного мнения, это неизбежно приведет к спасительным реформам и окажет огромную услугу его отечеству».[14]

Преждевременную смерть великого русского изгнанника французская консервативная печать встретила почти полным молчанием, в то время как буржуазно-либеральная пресса откликнулась на эту утрату многочисленными статьями, в которых, впрочем, Герцен изображался крайне тенденциозно, как сторонник реформистского образа мыслей. Несколько удачных попыток сказать о подлинном облике и значении Герцена предприняла в то время французская демократическая печать. В некрологической статье о великом русском демократе-революционере, напечатанной в бельгийской газете «L' Internationale», деятель французского революционного движения Альфред Таландье, называя умершего «величайшим мыслителем из всех рожденных Россией», отмечал его любовь к «истинной Франции, Франции революционной и социалистической». «С этих пор Франция, — писал Таландье, — на долю которой выпало хранить бренные останки Герцена, будет верно оберегать эту могилу — залог мира и дружбы между Западом и русским народом».[15]

Концепция русского литературного движения, изложенная в трудах великого русского демократа-изгнанника, как при его жизни,[16] так и в последующее время[17] плодотворно отразилась на работах Ксавье Мармье, Луи Виардо, Лоредана Ларше, Эмиля Омана и других французских исследователей русского художественного слова.

Политическая деятельность и литературное творчество Герцена не могли не оказать воздействия на французскую художественную литературу XIX в.

---

[14] «Revue des deux Mondes», 1854, 1 septembre, p. 210.

[15] «Литературное наследство», т. 63, стр. 530.

[16] См.: Ф. Я. Прийма. Белинский во французский литературе. Сб. «Белинский. Статьи и материалы», Л., 1949, стр. 247—258; см. также настоящую книгу, стр. 111.

[17] См.: А. Л. Григорьев. Влияние А. И. Герцена на освещение русской литературы в зарубежном литературоведении. «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», 1963, т. 237, стр. 157—172.

У нас есть все основания полагать, что как о личности, так и о сочинениях Герцена имела достаточно верное представление Жорж Санд. Этому должно было способствовать и то, что великий русский демократ-изгнанник, как и знаменитая французская романистка, был активным участником событий французской революции 1848 г., и то, что у них было большое количество общих знакомых в литературно-общественных кругах Франции. В конце 1852 г., задумав вынести свой конфликт с Г. Гервегом на суд европейской демократической общественности, Герцен через Германа Мюллера-Стрюбинга пожелал поставить об этом в известность Жорж Санд. Известно письмо об этом Герцена к Мюллеру от 18 октября 1852 г., с содержанием которого адресат должен был ознакомить писательницу. Известно также и вызванное герценовской просьбой письмо Мюллера к Жорж Санд от 19 октября того же года. Отправитель вложил в него, кроме названного выше письма Герцена, также и брошюру последнего «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», в чем убеждают нас следующие строки мюллеровского письма: «Я присоединяю к этому (к письму Герцена, — *Ф. П.*) брошюру, которую он точно так же передал мне для вас. Я еще не прочел ее, но полагаю, что она весьма замечательна... Герцен написал еще и другую брошюру о современном состоянии России, которая, к несчастью, была конфискована французским правительством. Он очень жалуется на это, так как считает ее гораздо лучше, чем этот первый опыт».[18]

Ответное письмо Жорж Санд Мюллеру-Стрюбингу, по-видимому, не сохранилось, остаются неизвестными для нас и суждения писательницы хотя бы о тех произведениях Герцена, которые были переведены при ее жизни на французский язык; однако можно не сомневаться в том, что содержание герценовской брошюры «О развитии революционных идей в России» уже в начале 1850-х годов стало известно и Жорж Санд. Дополнительные данные о ее отношении к Герцену-художнику и публицисту, без-

---

[18] Wladimir Karénine. George Sand, sa vie et ses oeuvres. 1848—1876. Paris, 1926, p. 143. «Первый опыт» — это, безусловно, брошюра «Du développement des idées...», изданная в Ницце летом 1851 г.; «другая брошюра» — «Le peuple russe et le socialisme», напечатанная также в Ницце в конце 1851 г., весь тираж которой был конфискован в Марселе полицией.

условно, будут разысканы в будущем в результате усилий коллективной научной мысли.

Внимательно следил за всем тем, что создавал Герцен, Виктор Гюго. Несмотря на известные расхождения в политических и эстетических воззрениях, Гюго с полной искренностью называл издателя «Колокола» и «Полярной звезды» «дорогим изгнанником и братом по скитаниям». Ознакомившись с французским переводом «Былого и дум», 15 июля 1860 г. Гюго писал автору: «Благодарю вас за прекрасную книгу, которую вы прислали мне. Ваши воспоминания — это летопись чести, веры, высокого ума и добродетели... Вы заставляете ненавидеть деспотизм, вы способствуете уничтожению чудовища; в вас виден неустрашимый боец и великодушный мыслитель. Я с вами!».[19]

Нам нет необходимости останавливаться на взаимоотношениях Герцена и Гюго подробно, так как это превосходно сделано М. П. Алексеевым в работе «Виктор Гюго и его русские знакомства». Напомню лишь об одном забытом эпизоде этих взаимоотношений, показывающем, насколько внимателен был великий французский писатель к литературным интересам Герцена. Когда в 1858 г. Н. Греч выступил в «Северной пчеле» в защиту царской цензуры, ссылаясь на то, что в свое время (в 1837 г.) русскую цензуру будто бы восхвалял В. Гюго, Герцен обратился к последнему с просьбой выступить с протестом против этой наглой спекуляции. Гюго прислал Герцену ответ, в котором назвал бесцеремонную стряпню Греча «неправдой», и соответствующая выдержка из ответа была напечатана Герценом в «Колоколе».[20]

Имя Герцена было хорошо известно братьям Гонкур. В их «Дневнике» под 8 февраля 1865 г. читаем: «Обедаем у Шарля Эдмона вместе с Герценом. Лицо Сократа, цвет лица теплый, прозрачный, как на портретах Рубенса, между бровями — красный рубец, словно клеймо от раскаленного железа, борода, волосы с проседью. Он беседует, и речь его то и дело прерывается ироническим гортанным смешком. Говор мягкий, медлительный, без той грубости, какой можно было бы ожидать, глядя на его коренастую, массивную фигуру; мысли тонки, изящны, отточены, иногда даже изощренны и всегда уточняются, освещаются

[19] «Литературное наследство», т. 31—32, М., 1937, стр. 830.
[20] «Колокол», 1859, 1 февраля, л. 35.

словами, которые приходят к нему не сразу, но зато каждый раз удачны, как всегда бывают выражения умного иностранца, говорящего по-французски».[21] Из последующего текста этой записи видно, насколько необычайными для Гонкуров были суждения русского демократа-революционера о разложении монархического строя в России, об «унтер-офицере» Николае Первом и т. д.

В правильном понимании французами особого места Герцена среди русских писателей, несомненно, был заинтересован И. С. Тургенев. Нам известно, что говорил он своим парижским друзьям о Пушкине, Лермонтове и Льве Толстом, но как аттестовал он им Герцена, мы не знаем. Об авторе «Былого и дум» должны были расспрашивать Тургенева и Золя, и Флобер, и А. Доде, и Мопассан. В статье «Изобретатель слова „нигилизм“» (1880) Мопассан так начинал свой рассказ об «отцах» новой русской литературы: «Это — Пушкин, молодой Шекспир, умерший в расцвете таланта... Он был убит на дуэли в 1837 году. Это — Лермонтов, байронический поэт, но еще более оригинальный, живой, впечатлительный и более необузданный, чем Байрон; он был убит на дуэли в 1841 году в возрасте 27 лет. Следовало бы предавать проклятию тех, кто губит подобных людей, жизнь которых так важна для истории человеческой мысли и для всех будущих поколений».[22] И гневный тон этого «мартиролога», и его стиль («убит на дуэли», «убит на дуэли» и т. д.) невольно заставляют нас вспомнить о Герцене, впервые создавшем (в брошюре «О развитии революционных идей») скорбный и классический текст «мартиролога» русских писателей, загубленных царизмом.

Об отношении к герценовскому духовному наследию Анатоля Франса нам удалось пока что найти лишь одно указание — сообщение газеты «Le Temps» о созданном во Франции накануне 100-летия со дня рождения Герцена (1912) специальном юбилейном комитете, в перечне членов которого называется также и имя автора нашумевшего в то время «Острова пингвинов».[23] Можно выска-

---

[21] Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник. Записки о литературной жизни, т. I. М., 1964, стр. 488—489.

[22] Ги де Мопассан, Полное собрание сочинений в двенадцати томах, т. XI, М., 1958, стр. 66.

[23] См. заметку: La centenaire d'Alexandre Herzen. «Le Temps», 1912, № 18576, 2 avril, p. 4.

зать предположение, что обращение к «герцениане» А. Франса было предопределено его повышенным интересом к русскому «нигилизму», засвидетельствованным уже в статье «Иван Тургенев» — одном из самых ранних его критических выступлений.[24]

Неопровержимая логика герценовского скептицизма по отношению к буржуазно-европейской цивилизации, его презрение к устаревшим традициям и нормам обывательской морали, его язвительная ирония, его свободная от всяких литературных условностей писательская манера, сочетающая художественно-образное мышление с публицистичностью и философским анализом, — все это не могло не импонировать А. Франсу. Весьма соблазнительной представляется поэтому попытка будущего исследователя найти и определить герценовский элемент в творчестве зрелого А. Франса.

Сравнительно богатые документальные данные о творческих связях с Герценом содержит литературно-художественное и эпистолярное наследие Ромена Роллана. С произведениями Герцена Роллан познакомился в юности, в конце 80-х годов, в период горячих споров французской критики о кризисе французского натурализма и противопоставляемой последнему русской литературе. Герценовское наследие было воспринято молодым Р. Ролланом как органическая часть русского литературного процесса XIX в. В повести Герцена «Поврежденный» молодой Роллан увидел «зародыш» основных художественных и философских идей Льва Толстого. Но Р. Роллан превосходно осознал также и то, что отделяло Герцена от Толстого, не случайно русских революционеров последней трети XIX в. он называл «детьми Герцена».[25] Дружеские отношения на протяжении многих лет с Мальвидой Мейзенбуг, современницей и соратницей Герцена, позволили Р. Роллану ознакомиться с миром герценовских идей и чувствований с той глубиной, которая была недоступна для других французских писателей, сформировавшихся в конце прошлого века. Переписка Р. Роллана с М. Мей-

---

[24] См. об этом: Ф. Я. Прийма. Новые данные о «Записках охотника» Тургенева во французской литературе. Сб. «„Записки охотника" И. С. Тургенева (1852—1952)», Орел, 1955, стр. 331—363.

[25] См.: А. Л. Григорьев. Ромен Роллан о Герцене. «Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», 1963, т. 237, стр. 180.

зенбуг свидетельствует о том, что в круг идейных исканий молодого писателя, в его раздумья о судьбах европейской культуры органически входило имя Герцена. Правомерен поэтому следующий вывод исследователя: «Размышления Роллана о Герцене были одним из тех многочисленных истоков того широкого и многообъемлющего замысла, который вылился в создание одного из замечательнейших произведений начала двадцатого века — „Жана Кристофа“».[26]

Тема «Герцен в Германии» за истекшее десятилетие получила освещение прежде всего в солидных исследованиях Г. Цигенгайста[27] и Э. Рейснера.[28] Вместе с тем изучение этой темы, как мне уже приходилось говорить,[29] нельзя признать завершенным.

Уже в 1849 г. в Париже через посредство немецкой революционной эмиграции Герцен устанавливает прочные связи с рядом периодических немецких демократических изданий. В январском номере журнала «Deutsche Monatschrift für Politik, Wissenschaft, Kunst und Leben» за 1851 г. (издававшегося Адольфом Колачеком в Бремене) была впервые напечатана (в немецком переводе) статья «О развитии революционных идей в России».

В лондонский период жизни Герцен поддерживал связи с участником немецкой революции 1848—1849 гг. публицистом Отто Юлием Бернгардом Вержбицким.[30] В начале 1860-х годов Герцена печатал (и поддерживал с ним связи) издатель гамбургского журнала «Deutsches Magazin» поэт Юлиус Роденберг.[31] Известно также, что герценовские «Письма из Франции и Италии» появились раньше, чем где бы то ни было, в Германии, в Гамбурге. В том же издательстве в 1850 г. вышло и знаменитое сочинение Герцена «С того берега».

---

[26] Там же, стр. 182.

[27] G. Ziegengeist. 1) Unbeachtete Ausserungen Alexander Herzens über die russische Geistesbewegung 1812—1848. «Zeitschrift für Slawistik», 1958, H. 2—4, SS. 445 ff.; 2) Über die Bedeutung von A. J. Herzens Schaffen für das progressive deutsche Geistesleben in den fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts. «Zeitschrift für Slawistik», 1962, H. 4, SS. 515 ff.

[28] Eberhard Reissner. Alehander Herzen in Deutschland. Berlin, 1963.

[29] Ф. Прийма. Ценная монография о Герцене немецкого ученого. «Русская литература», 1965, № 2, стр. 245—250.

[30] См.: «Литературное наследство», т. 64, М., 1958, стр. 447.

[31] См.: «Литературное наследство», т. 63, стр. 800.

На протяжении первых 12 лет пребывания Герцена на Западе в немецкой печати появилось о нем особенно много вполне доброжелательных отзывов. В качестве примера можно указать хотя бы на анонимную статью под названием «A. Herzen» в лейпцигском ежегоднике «Unsere Zeit» за 1859 г. (стр. 128—140). Автор этой статьи находил в «Былом и думах» картины исключительной художественной силы, а о книге «С того берега» писал: «Книга возбудила всеобщее внимание. Она содержит в себе самую острую и самую радикальную критику состояния Европы, которую только можно себе представить». «Герцен выступил, — читаем мы в той же статье, — как красноречивый адвокат славянского народного гения, указав нам на покоящуюся в последнем природную силу и потребовав признания его прав с демократической точки зрения». Примечательно окончание статьи: «Пусть же еще долгие годы служит он (Герцен, — *Ф. П.*) на пользу своей родине!».

В первый период пребывания Герцена в эмиграции благожелательное к нему отношение проявляла порою и отнюдь не радикальная печать. Вот что писала, например, в своем первом сообщении о Герцене аугсбургская «Allgemeine Zeitung» (1855, № 63, 4 марта): «Первая русская типография, не знающая никакой цензуры, основана в Лондоне в феврале 1853 года неутомимым Александром Герценом... Ее деятельность, во всяком случае в литературном отношении, оценивается высоко, так как среди других целей она преследует и такую: исторгнуть из забвения русскую поэзию, которая передается из рук в руки исключительно в рукописном виде, равно как и восполнить те зияния, которые нанесены калечащей лапой царской цензуры произведениям Пушкина, Лермонтова и других авторов».

Впрочем, отдельные органы консервативной немецкой печати еще до возникновения «Колокола» откликались на печатные выступления Герцена с чувством плохо скрываемого раздражения. Так, например, в 1854 г. штутгартский «Literaturblatt» один из номеров (№ 86, 28 октября, стр. 341—344) полностью посвятил герценовской брошюре «О развитии революционных идей в России». Отклик этот вышел, несомненно, из-под пера известного немецкого публициста и критика Вольфганга Менцеля, ответственного редактора «Literaturblatt». Монархист по убежде-

ниям, снискавший печальную славу непримиримого противника идей французских просветителей и французской революции 1789 г., Менцель рядился иногда в одежды либерала. Согласно его мнению, выраженному в интересующей нас рецензии, спасти человечество от варварства и рабства можно только при помощи католической церкви, которая к тому же резко враждебна русскому деспотизму. Герцен-де не в силах понять эту истину. В борьбе с русским самодержавием он возлагает все надежды на революционное движение в Европе. Однако развитие последнего было бы только на руку царизму. «И с другой стороны, для революционных партий Европы нет ничего более желанного, чем победа русских, вследствие которой Франция, а возможно, и Германия, были бы снова направлены на путь революции» (стр. 344). Автор рецензии из штутгартского литературного листка, отдавая предпочтение «западному социализму» перед «русским социализмом» Герцена, считает его деятельность, направленную на объединение сил молодой России с действиями итальянских и французских революционеров, чреватой крайне опасными последствиями для западноевропейских стран.

Весной 1854 г. прусскими властями было конфисковано гамбургское издание брошюры «О развитии революционных идей в России». Об этом акте вандализма прусских властей Герцен сам напечатал извещение в газете «L'Homme»,[32] издававшейся на французском языке группой революционных эмигрантов на острове Джерси, а когда «Kölnische Zeitung», защищая целесообразность этой конфискации, заявила, что сочинение русского автора служит «скорее на пользу, нежели во вред царю», Герцен обратился к редактору названной газеты с письмом, в котором с достоинством заявлял: «Я показал высокомерному невежеству наших соседей, что в русском народе есть зародыши будущего. И если я тут и ошибался, то, по крайней мере, я привлек внимание к этому вопросу. Затем я и сам соорудил батарею против царя — мной организована русская типография, которая непрерывно (и притом бесплатно) печатает и которая портит русскому правительству кровь куда более, чем все донесения его дипломатов».[33]

---

[32] Там же, т. 64, стр. 381.
[33] Там же, т. 61, М., 1953, стр. 216.

Борьба с пропагандой Герцена в германских государствах заметно усилилась с 1857 г., с начала издания «Колокола». Особенную активность в этой кампании проявили Пруссия и Саксония. Известно, например, что когда в начале 1858 г. в Саксонии, а летом того же года во Франкфурте-на-Майне была запрещена продажа «Колокола», Герцен обратился с протестом к саксонскому министру внутренних дел и сенаторам Франкфурта-на-Майне (XIII, 202—203, 315—321).

Жестокие гонения на издания Герцена объяснялись не только стремлением германских правительств действовать в угоду русскому самодержавию, но и подъемом освободительного движения в России. Чем сильнее развивалось последнее и чем более явственно обозначалась его связь с «Колоколом», тем более настороженно и злобно начинала реагировать на деятельность Герцена германская официозная и реакционная пресса.

Выше был приведен вполне благожелательный отзыв об издательской деятельности Герцена аугсбургской «Allgemeine Zeitung». В последующие годы ее выступления о русском изгнаннике приобрели иной тон. В 1858 г. эта газета (№ 97) с чрезмерной суровостью оценила статью Герцена «Франция или Англия?», а в 1861 г. она же сообщала о «цинизме» разоблачительных статей в «Колоколе». В 1862 г. в связи с известным судебным процессом «32-х» «Allgemeine Zeitung» (№ 227) напечатала заметку «Герценовские подстрекательства» («Herzen'sche Wühlereien»), в которой читаем: «До сих пор Герцен пользовался известным успехом. Теперь, когда обнажились его истинные цели, авторитет его падает...». А в 1867 г. «Allgemeie Zeitung» (№ 296) напечатала корреспонденцию из Парижа, в которой Герцен обвинялся в панславизме, в том, что он будто бы признавал необходимым уничтожение Польши и руссификацию прибалтийских русских провинций.

Шовинистическую тенденцию скомпрометировать идеи Герцена проявлял и лейпцигский «Literarisches Zentrallblatt für Deutschland». В 1859 г. (№ 10) в рецензии на герценовское «14 декабря 1825 г. и барон Корф» журнал брал под защиту Корфа и называл рецензируемую брошюру «пристрастным произведением», которым-де если и можно пользоваться, то «с осторожностью». В 1865 г. в этом журнале (№ 32) была напечатана рецензия на

герценовскую «Новую фазу русской литературы» (французское издание). «Это тенденциозное политическое сочинение, — писал анонимный рецензент, — которое, кроме нескольких остроумных замечаний о ходе развития русской литературы со времени Петра Великого, больше не содержит в себе ничего литературного». «Герцен считает, — читаем далее, что политическое будущее принадлежит крестьянству... но он обеспокоен не тем, насколько последнее способно к развитию, а только тем, как он с маленькой группой своих единомышленников будет руководить этим будущим крестьянским парламентом».

Подобного же рода тенденцию можно обнаружить и в издававшемся сначала в Лейпциге, а с 1866 г. в Берлине журнале «Magazin für die Literatur des Ausland». В № 41 за 1855 г. этот журнал напечатал благожелательный отзыв о Герцене. Но в 1862 г. он выступил со статьей под названием «Тайные инструкции демократического комитета в России». «Демократы, — читаем мы в этой статье, — бесспорным главою которых является Герцен, преследуют свои цели беспощадным и энергичным способом. Рядом с „Колоколом", который для „святой Руси" бьет в набат из Лондона, под самым носом петербургской полиции действует теперь подпольная печать и бросает в толпу настоящие зажигательные ракеты». Отношение автора статьи к подпольной русской печати нескрываемо враждебное. Еще более отчетливо выразил названный журнал свое отношение к Герцену в 1865 г. (№ 19) в рецензии на «Новую фазу русской литературы». Изложив содержание работы Герцена, рецензент заключал: «Таковы взгляды, которые высказал вождь „молодой России", в настоящее время являющийся генералом без армии, о литературном развитии русского народа; они содержат много горьких истин, в каждой их строке отразилось горькое настроение господина, который еще недавно фантазировал о великой новой эпохе в культурном развитии, которая будет создана на „девственной почве России" и теперь, наконец, пришел к уразумению действительности».

Голоса в защиту Герцена от различного рода выпадов и инсинуаций во второй половине 50-х и в 60-е годы, насколько нам известно, в немецкой прессе были довольно редки. К ним следует отнести, например, статью «А. Герцен», напечатанную в № 2 лейпцигского журнала «Jahr-

zeiten» за 1859 г., автор которой, скрывшийся под псевдонимом Н., имея в виду Герцена, писал: «Такое высокое положение среди великой нации достигается не только при помощи сильного диалектического ума, отточенного стиля, большого литературного таланта; для этого требуется еще кое-что и, прежде всего, сознательная честность, безупречный, большой характер, который в состоянии внушить всему народу непоколебимое доверие к своему слову и к своим намерениям. Все это в высшей степени присуще Александру Герцену. Те, кто имел счастье жить вблизи него, знают это; они знают также и его громадную умственную одаренность, и его высокое бескорыстие, и его готовность к самопожертвованию, и его сердечность, которая скорей сто раз позволит злоупотребить ею, чем хоть раз поступить неподобающим образом».[34]

В силу отмеченных выше причин, на протяжении многих лет способствовавших понижению интереса к Герцену, смерть его не вызвала должного резонанса в немецкой прессе: многие немецкие литературные журналы, в том числе и освещавшие зарубежное литературное движение, не откликнулись на это событие. Из некрологических статей об издании «Колокола» заслуживает внимания, хотя бы потому, что она была перепечатана в нескольких других немецких изданиях, статья «Kölnische Zeitung». Автор этой статьи считает политические идеи Герцена крайне радикальными, а потому и несостоятельными, но примечательно, что он высоко ценит его литературный талант.

«Его сочинения, особенно его „Былое и думы", принадлежат к самому выдающемуся, что только произвела русская литература, и благодаря содержащимся в них классическим изображениям деспотической системы 30—40-х годов они сохранят на долгое время свою ценность».[35]

Упомянутая статья из «Kölnische Zeitung», если учесть, что автор ее должен был всячески смягчать критические замечания в адрес умершего, с достаточной ясностью обнаруживает ту пропасть, которая отделяла

---

[34] Там же, т. 63, стр. 817—818.

[35] Статья цитируется по тексту, перепечатанному в «Allgemeine Zeitung», Ausserordentliche Beilage, 1870, № 30, 30 Januar, S. 463,

Герцена не только от немецкой, но и от западноевропейской буржуазной общественности в целом.

Изучение темы «Герцен в Германии» ограничивалось до сих пор почти исключительно сферой публицистики и критики, анализом печатных отзывов о нем. Однако картина оценок творчества того или иного писателя в периодической печати дает далеко не полное представление о его роли в литературном процессе. Количество отзывов об издателе «Колокола» в немецкой прессе, как показывал в своей монографии Э. Рейснер, начиная с середины 1860-х годов идет на убыль. Но уменьшается ли с этого времени воздействие Герцена на немецкое общественное мнение и литературу? Приведем аналогию: имя Белинского в годы 1849—1856-й вовсе не упоминалось в русской печати, но воздействие в ту пору его идей на русскую литературу отнюдь не снижалось.

Чтобы решить вопрос о значении Герцена в духовной жизни любой из стран, необходимо учитывать не только количество и характер появлявшихся о нем початных откликов, но и ряд других условий и моментов общественной жизни и борьбы. Необходимо помнить также, что между Герценом-политиком и Герценом-художником не было полного тождества. И если оценка значения политических идей великого русского демократа-революционера на протяжении последних 120 лет подвергалась на Западе сильным колебаниям, то авторитет его как художника отличался сравнительной стабильностью. Именно поэтому задача изучения связей живого Герцена с живыми писателями Германии исключительно актуальна. Для решения ее едва ли не в первую очередь потребовалось бы произвести возможно полный учет отзывов о Герцене в переписке и мемуарах современников. Для осуществления этой цели потребовалось бы также изучить историю восприятия в Германии герценовских историко-литературных выступлений, и прежде всего — его предисловия к немецкому изданию «Рыбаков» Григоровича. Далее: во второй половине XIX в. в Германии неуклонно возрастал писательский престиж И. С. Тургенева. Воспринимая Тургенева, немецкая читательская публика того времени и в особенности ее наиболее активная часть — писатели, постоянно соотносили его романы и рассказы с идеями и творчеством Герцена. Таким образом, всестороннее изучение темы «Тургенев в Герма-

нии», несомненно, выявило бы ряд до сих пор неизвестных нам «вторжений» в немецкую литературу Герцена.

В необходимости привлечения к исследованию не только прямых, но и различного рода косвенных материалов и доказательств убеждает нас и ознакомление с состоянием научной разработки темы «Герцен в Англии».

В первое время после получения Герценом права на жительство в Англии (август 1852 г.) местная печать отзывалась о личности и сочинениях русского изгнанника в довольно доброжелательном и приветливом тоне. В предисловии к английскому переводу герценовских мемуаров в 1855 г. издатель писал: «Мы сожалеем, что г. Герцен не ступил на гостеприимную почву Англии ранее, для того чтобы соорудить здесь свою батарею против ненавистного русского деспотизма и тем самым способствовать общим интересам человечества».[36] «Произведение Герцена, — писал об этом же издании лондонский «Атенеум», — написанное с простодушием и мастерством и безусловно правдивое, вне всякого сомнения, намного выше по интересу, чем девять десятых всех существующих сочинений о России».[37] Но даже в то время, когда английское общественное мнение под впечатлением Крымской войны более, чем когда-либо, симпатизировало всему, что находилось в оппозиции к русскому правительству, в английской печати появлялись порой крайне недоброжелательные и даже злобные отзывы о знаменитом русском писателе-изгнаннике. В 1855 г. консервативная газета «The Morning Post» (№ 25537, 8 ноября) в рецензии на «Былое и думы», обвиняя Герцена в самовосхвалении, отсутствии патриотизма и преувеличениях, писала: «Эта книга... несомненно обладает значительными литературными достоинствами, но мы имеем смелость думать, что автор ее создал себе ошибочное представление о нашем национальном характере, вообразив, что подобное произведение может показаться приемлемым для большинства английских читателей».[38]

С чувством превосходства лондонская «Литературная газета» писала: «Г-н Герцен утверждает, что перед Евро-

---

[36] A. Herzen. My Exile in Siberia. London, 1855, Introduction, pp. XVI—XVII.

[37] «The Athenaeum», 1855, № 1460, 20 october.

[38] «Литературное наследство», т. 63, стр. 809.

пой есть два выбора: царизм или социализм. Пребывание в нашей стране, может быть, убедит его в том, что нет никакой необходимости вызывать демократическую анархию для того, чтобы опрокинуть воинствующий деспотизм».[39]

О своих далеко не идиллических отношениях с английской прессой основатель вольной русской печати нередко вспоминал в переписке. Так, например, в апреле 1854 г. он писал Л. Пьянчани: «Я хотел сообщить вам новость, что „Leader“ и „Morning Advertiser“ иносказательно, но весьма прозрачно намекают, будто мои письма к Линтону написаны по наущению русской полиции» (XXV, 173).

Герцен по возможности следил за всем тем, что писала о нем западноевропейская, и в частности английская, пресса, и делал в необходимых случаях вырезки. В 1956 г. дошедшая до нас часть их была опубликована и прокомментирована Л. Р. Ланским в т. 63 «Литературного наследства» (стр. 793—830). Большую работу по разысканию и комментированию отзывов о Герцене в английской печати 1852—1870 гг. проделала английская исследовательница Моника Партридж. В ее статье «Alexander Herzen and the english press» [40] была убедительно показана зависимость английских печатных отзывов о Герцене от политических позиций тех изданий, где эти отзывы появлялись. Если «The Saturday Review», «The Fortnightly Review», «The National Review» и некоторые другие журналы либерального толка, рецензируя издания вольной русской печати, и в частности статьи и книги Герцена, стремились сохранять объективный тон, то консервативная пресса или замалчивала деятельность Герцена («Blackwood's Magazine», «The Quarterly Review» и др.) или же вступала с ним в ожесточенную полемику («The Morning Advertiser» и др.).

Опубликованные Л. Р. Ланским и М. Партридж материалы подтвердили огромное воздействие Герцена на английскую общественную мысль. Его сочинения и издательская деятельность возбуждали внимание англичан к вопросам русской истории и современному состоянию

---

[39] «The Literary Gazette», 1855, 20 October.

[40] Опубликована в «The Slavonic and East European Review», 1958, v. XXXVI, № 87, pp. 453—470. В сокращенном виде статья опубликована в «Вопросах литературы», 1959, № 4, стр. 141—146.

России, привлекали внимание к русскому революционному движению и русской литературе.

Еще до недавнего времени наши представления об английских знакомствах Герцена в политической и научной сфере ограничивались небольшим кругом лиц, в котором на первый план выступали республиканец-радикал Вильям Джемс Линтон (ср.: XII, 134—200, 522—526) и историк Томас Карлейль.[41] Обратившейся к мемуарным и архивным источникам М. Партридж удалось пополнить список близко стоявших к издателю «Колокола» англичан рядом забытых и новых имен, таких, например, как Чарлз Брэдлаф, Джозеф Коуэн, Чарлз Дилк и др.[42] Как разыскания М. Партридж, так и осуществленная Дж. Трегенза публикация писем Герцена к английскому историку Ч. Г. Пирсону и журналисту Т. К. Сэндерсу[43] свидетельствуют о том, что тема «Герцен в Англии» еще таит немало любопытных сюжетов и ждет дальнейшей разработки.

Несмотря на длительное (12 лет) пребывание в Англии, Герцен не установил там таких прочных интеллектуальных знакомств, какие были у него, скажем, во Франции. На долю знаменитого лондонского изгнанника выпала, однако, трудная задача — разрушить предубеждение англичан к России. И если новое поколение русских революционеров, избравшее Англию местом своего жительства (С. М. Степняк-Кравчинский и др.) встречало со стороны прогрессивной части английского общества необходимое сочувствие и поддержку, то в этом была немалая заслуга Герцена. Историческое значение Степняка-Кравчинского и его «Свободной России» не может идти в сравнение с исторической ролью Герцена и основанной им вольной печати. Однако в лице Б. Шоу, Эдварда и Констанции Гарнет, Джекоба-Томаса Грейна и других английских литераторов Степняк получал такую моральную поддержку, которой не имел издатель «Колокола». Но именно Герцен впервые внушил мысля-

---

[41] См.: М. П. Алексеев. Письмо Герцена Томасу Карлейлю. «Литературное наследство», т. 61, стр. 229—232.

[42] См.: M. Partridge. Alexander Herzen and the Younger Joseph Gowen, M. P. «The Slavonic and East European Review», 1962, v. XLI, № 96, pp. 50—63; М. Партридж. Александр Герцен и его английские связи. Сб. «Проблемы изучения Герцена», М., 1963, стр. 348—368.

[43] «Проблемы изучения Герцена», стр. 16—30.

щей Англии уважение к передовой русской культуре, создавшее с тех пор определенную традицию.

В настоящее время трудно ответить на вопрос, нашла ли отражение общественно-литературная деятельность Герцена в творчестве современных ему английских писателей. Думается все же, что по крайней мере некоторые из них, и в частности А. Ч. Суинбёрн (1837—1909), поэт, подвергавшийся воздействию различных философских и литературных школ и испытавший сильное влияние Дж. Маццини, не могли не находить родственных своим поэтическим исканиям идей и струн также и в творчестве Александра Герцена.

Несмотря на известное ослабление интереса к Герцену, последовавшего после его смерти (1870), именно с 70-х годов прошлого века усиливается внимание западноевропейской общественности к русскому революционному движению — к «нигилизму». И для объяснения этого «загадочного явления» зарубежная буржуазная публицистика постоянно обращалась к Герцену. Родоначальником предаваемого анафеме «русского нигилизма» изображался Герцен в писаниях Шедо-Ферротти, Пьера Фреде, Функ-Брентано и многих других реакционных публицистов. «Отцом русского нигилизма» нередко называли знаменитого русского писателя-изгнанника и зарубежные публицисты радикального толка.

В ряде французских публицистических романов 1880—1890-х годов значительное место отводилось спорам о личности и идеях Герцена.[44]

Подъемом революционного движения в России в начале XX в. была вызвана новая волна интереса к Герцену и на Западе.

В 1905 г. в Германии были переизданы работы Герцена «О развитии революционных идей в России», повести «Кто виноват?», «Записки доктора Крупова». В 1908 г. во французском журнале «Revue blanc» были напечатаны заметки Герцена о Петрашевском, предназначавшиеся для Мишле, и неизданная глава из «Былого и дум» о Бакунине. В 1907 г. в «Revue des Revues» напечатана переписка Герцена с Мишле. В 1905 г. извест-

[44] См., например: Edouard Bongar. Les Nihilistes russes on la Conspiration infernale. Zurich, 1878; Ernest Lavigue. Le roman d'un Nihiliste. Paris, 1880; Victor Barrucand. Avec le feu. Paris, 1900.

ный французский писатель Люсьен Декав опубликовал в газете «Le Journal» (26 февраля) статью «Мужики», в которой речь шла о крестьянских волнениях в России, об изображении мужицкого быта в произведениях Тургенева, Чехова, Короленко, Решетникова, Златовратского, Николая Успенского и о том, кто первый выдвинул проблему русского мужика перед западноевропейской общественностью, — о «великом социальном критике» Герцене.

Если не во всех европейских странах, то по крайней мере во Франции повышенный интерес к великому русскому демократу позволил довольно широко отметить в 1912 г. столетие со дня его рождения.

Названный юбилей был отмечен статьями в «L'Humanité», «Le Temps» и других французских газетах и журналах.

Юбилей 1912 года во Франции заставил вспомнить и незаслуженно забытые заслуги Герцена как пропагандиста русской литературы на Западе. Подвергая сомнению распространенную версию о том, что русскую литературу во Франции ввел Э. М. де Вогюэ — французский переводчик и критик, автор изданной в 1886 г. книги «Le roman russe», Мишель Делинь в 1912 г. писал: «Таким образом, еще за 30 лет до Мельхиора де Вогюэ Герцен открыл Европе ту русскую душу, которая и до сих пор еще не утратила очарования для известной части французского юношества, и он сделал это, не окутывая ее туманом в угоду ложному религиозному мистицизму, к чему питал расположение автор „Русского романа", и не отождествляя ее с полицейской ортодоксией царизма».[45]

В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения Герцена французский юбилейный комитет поставил перед муниципалитетом города Ниццы вопрос о присвоении имени великого русского демократа одной из улиц города и получил на это предварительное согласие. Однако новый состав муниципалитета «ввиду Альянса» вынес решение о присвоении улице имени не Герцена, а Николая II.[46] Этот эпизод весьма симптоматичен. Имя вели-

---

[45] A. Herzen. Pages choisies. Notice biographique par M. Delines. Paris, 1912, p. XXI.

[46] Письмо К. Турского к Г. В. Плеханову от 29 ‹марта› 1912 г. Дом Плеханова в Ленинграде, В. 429. 4.

кого русского демократа-революционера и в 1912 г. приводило в трепет не только русских, но и зарубежных реакционеров.

Как общественный деятель и мыслитель, как пропагандист русской литературы и как беллетрист Герцен сделал исключительно много для того, чтобы показать миру не официальную и фасадно-парадную, не вооруженную казацкой пикой и нагайкой, как она представлялась многим, и не застывшую в молитвенном экстазе, а подлинную, народную и выражающую народные стремления революционную Россию, национальный характер русского народа, его несокрушимую созидательную энергию, его духовные возможности и силы.

Начало мировой славы Льва Толстого *

О мировом значении Л. Н. Толстого написан к настоящему времени не один десяток статей и даже специальных монографий. Было бы, однако, ошибкой полагать, что эта грандиозная тема уже освещена с достаточной полнотою. Особенно много необъясненных фактов содержит начальный период в истории мировой славы Льва Толстого (1879—1900). А между тем углубленное исследование этого периода исключительно важно для понимания характера последующего воздействия писателя на мировую культуру, так как именно в годы первоначального «столкновения» художественной системы Толстого с эстетическими воззрениями и вкусами, господствовавшими на Западе, особенно рельефно проявлялись типические черты «русского влияния», бросающие свет как на коллизии западноевропейского литературного движения конца прошлого века, так и на своеобразие русской литературы, в частности на саму эстетику русского романа.

За пределами нашей страны на мировое значение Льва Толстого впервые указала французская критика. Прежде чем где-либо на Западе во Франции были изданы в полном переводе два крупнейших произведения Толстого, «Война и мир» — в 1879 г. и «Анна Каренина» — в 1885 г.

«Усыновление» Толстого Францией, литературные мнения откуда расходились во все концы мира, послу-

* Статья первоначально опубликована в журнале «Русская литература», 1960, № 4, стр. 33—63.

жило прочной основой и международной славы писателя.

В западноевропейском литературоведении долгое время бытовал взгляд, согласно которому известностью во Франции Толстой был обязан «могучему вмешательству» Эжена Мельхиора де Вогюэ, французского дипломата и критика, который в 1883—1885 гг. напечатал во влиятельном французском журнале «Revue des deux Mondes» четыре этюда о русской литературе, а в 1886 г. издал эти этюды отдельной книгой под названием «Русский роман». Версию о том, что Вогюэ, долгие годы живший в России в качестве секретаря французского посольства, привез во Францию аромат русской литературы «в складках своего пальто», на разные лады повторяли в свое время Поль Дежарден, Ренэ Думик, Жюль Леметр, Виктор Жиро, Брюнетьер и многие другие видные французские, английские, немецкие и даже русские критики. Версия эта повторяется и до сих пор в зарубежном литературоведении. «Только благодаря проникновенной книге о русской литературе, опубликованной в 1886 году Э. М. де Вогюэ, гений писателей, составлявших славу России, был открыт французам», — заявляет современная исследовательница Т. С. Линдстром.[1]

Легенда о «могучем вмешательстве» Вогюэ приобрела такую устойчивость, что долгие годы никто не осмеливался взглянуть на нее критически. Лишь в 1921 г. переводчик произведений Толстого на французский язык И. Д. Гальперин-Каминский в очень деликатной форме попытался поставить ее под сомнение. В одной из статей названный критик рассказал, как ему довелось однажды слышать продолжительную беседу Эдмона Гонкура и Альфонса Доде о русских писателях. «Альфонс Доде и Гонкур так же, как Флобер и Золя, — писал Гальперин-Каминский, — с давних пор были знакомы с романами Толстого. Это Тургенев, являясь в то время вместе с четырьмя французскими писателями членом „Общества пяти“, познакомил их в 1879 году, задолго до памятных этюдов Э. М. де Вогюэ о русском романе, с переводом „Войны и мира“».[2]

---

[1] Thais S. Lindstrom. Tolstoi en France (1886—1810). Paris, 1952, p. 9.

[2] «Gaulois», 1921, 10 octobre. Цит. по: «Mercure de France», 1928, décembre, p. 504.

Мнение Гальперина-Каминского о Тургеневе как пропагандисте Льва Толстого во Франции встретило решительную поддержку со стороны Е. П. Семенова, который также был переводчиком произведений русских писателей (и Толстого в том числе) на французский язык. В 1928 г. в статье, озаглавленной «Кто ввел Льва Толстого во Францию?», Семенов самым решительным образом настаивал на том, что Толстого во Францию ввел Тургенев, а не Вогюэ. Рассказывая о своих посещениях «четвергов» Золя, Семенов вкладывал в уста последнего следующие слова: «Никто из нас не знал в то время Толстого даже по имени. Но Тургенев всегда возвращался к Толстому. Он говорил нам о нем почти на каждом обеде, знакомя нас в сокращенном виде с его романами и рассказами. Так много и так хорошо, что мы предложили ему однажды принести нам перевод одного из романов Толстого, который мы смогли бы опубликовать при помощи кого-либо из знакомых издателей. Тургенев только ждал этого случая, чтобы ввести Толстого во Францию — и под чьим покровительством — „Пятерки"! Спустя некоторое время он представил нам перевод „Войны и мира", который при нашем содействии и был принят Ашеттом».[3]

В том же году на страницах «Mercure de France» с возражениями Семенову выступил переводчик В. Бинשток, бравший под защиту Вогюэ.[4] Заметка Биншток состояла собственно из одного утверждения, а именно: дополнительный тираж изданного в 1879 г. французского перевода «Войны и мира» был напечатан в 1884 году по инициативе Э. М. де Вогюэ. Для доказательства этого утверждения Биншток сослался на письмо, полученное им в 1902 г. от автора «Русского романа».

---

[3] E. Séménoff. Qui a introduit Léon Tolstoi en France? «Mercure de France», 1928, 15 septembre, p. 720. Достоверность приведенного рассказа Е. Семенова подтверждается, в частности, состоявшейся в 1893 г. беседой Эмиля Золя с корреспондентом газеты «Фигаро». Последним были записаны следующие слова Золя о Тургеневе: «Это он познакомил нас с Толстым около 1877 года, т. е. задолго до того, как г. де Вогюэ открыл нам Россию. Несмотря на ссору, их разделявшую, Тургенев был в восторге от Толстого, считая его величайшим романистом в мире» («Le Figaro», 1893, 5 novembre).

[4] См.: «Mercure de France», 1928, 15 octobre, p. 507.

В номере «Mercure de France» от 1 ноября 1928 г. Семенов, не соглашаясь с Бинштоком, подкреплял свою аргументацию указанием еще на несколько примеров распространения Тургеневым произведений Толстого во Франции. В архиве книгоиздательской фирмы Ашетт, куда не поленился заглянуть Семенов, была обнаружена переписка издательства с переводчицей Паскевич, относящаяся к 1884 г., но следов какого-либо вмешательства Вогюэ там не было найдено. В заключение Семенов вновь категорически настаивал на том, что Толстого во Францию ввел Тургенев.

Спор, возникший в 1928 г. между Е. Семеновым и В. Бинштоком, был полезен в том отношении, что привлек внимание общественности к деятельности Тургенева как пропагандиста русской литературы на Западе, и в частности во Франции. Значительность и важность его деятельности подтверждается как свидетельствами современников, так и данными, частично уже собранными в исследовательской литературе.[5]

Первые попытки распространения Тургеневым произведений Толстого во Франции относятся к началу 1857 г., когда у автора «Записок охотника» возникает мысль «через посредство» Ипполита Делаво перевести на французский язык «Детство» Л. Толстого.[6]

Несмотря на то что ссора Толстого с Тургеневым, возникшая в 1861 г., привела к разрыву их дружеских отношений и продолжалась целых 17 лет (1861—1878), Тургенев на протяжении этого времени неустанно распространял произведения Толстого среди своих друзей и знакомых-иностранцев.

Он организует первые переводы из Толстого на французский язык,[7] снабжает эти переводы своими предисловиями, предпринимает попытку перевода на фран-

---

[5] См.: М. П. Алексеев. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе. «Труды Отдела новой русской литературы Института литературы (Пушкинский дом) АН СССР». М.—Л., 1948, стр. 30—80.

[6] См.: И. С. Тургенев. Полн. собр. сочинений и писем. Письма, т. III, М.—Л., 1961, стр. 74. Еще до своего знакомства с Тургеневым И. Делаво опубликовал о Л. Толстом статью в «Revue des deux Mondes» (1856, 15 авг.).

[7] Благодаря стараниям Тургенева в газете «Le Temps» (1875 и 1876) были напечатаны переводы «Двух гусар» и «Севастопольских рассказов» Толстого.

цузский язык «Казаков»,[8] популяризирует имя и творчество Толстого в среде парижских литераторов.

Тургенев пропагандировал творчество Льва Толстого не только среди французов, но также и среди англичан и немцев. Так, например, в письме от 19 октября 1866 г. к знатоку русской литературы английскому публицисту Вильяму Рольстону, одобряя намерение последнего познакомить английскую публику с русской литературой, Тургенев рекомендовал ему в первую очередь заняться Львом Толстым.[9] Будучи знаком с английским консулом в Москве Юджином Скайлером, Тургенев еще в 1867 г. советовал ему перевести на английский язык «Казаков» Л. Толстого.[10]

В 1880 г. Тургенев рассылает с восторженными рекомендациями экземпляры французского перевода «Войны и мира» Юлиану Шмидту и другим немецким критикам.

Стремление содействовать европейской известности Льва Толстого было у Тургенева настолько сильным, что он не жалел для его осуществления ни средств, ни сил. Названный выше трехтомный французский перевод «Войны и мира», выполненный Ириной Ивановной Паскевич и изданный в 1879 г. в Петербурге, Тургенев настойчиво распространял, где только мог, в течение ряда лет.

Из архивных данных нам известно, что огромную помощь И. И. Паскевич в переводах произведений Л. Толстого на французский язык оказал поэт Я. П. Полонский.[11] Не исключено, что одним из ее вдохновителей был также тесно связанный в то время с Я. П. Полонским И. С. Тургенев. Как бы то ни было, о выполненном

---

[8] Попытка Тургенева перевести совместно с Эмилем Дюраном «Казаков» на французский язык, оставшаяся неосуществленной, относится к 1875—1879 гг.

[9] См. литературно-художественный сборник «Недра», кн. 3 (М., 1924, стр. 180).

[10] «Тургенев говорил мне однажды, — писал Ю. Скайлер в 1878 г., — что он считает „Казаков"... наиболее изящным и наиболее совершенным произведением русской литературы» (Leo Tostoy. The Cossacks: a Tale of the Caucasus in 1852. Translated from the Russian by Eugene Schuyler. In two volumes, v. 1. London, 1878, p. VIII, Preface).

[11] См. письма И. И. Паскевич к Я. П. Полонскому от 23 ноября 1876 г. и от 6 сентября 1879 г.: Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, 11812—LXVIIIб. 24 и 12330-LXXб. 3.

И. И. Паскевич переводе «Войны и мира» Тургенев узнал задолго до его напечатания.

16 (28) сентября 1879 г. Тургенев сообщал Я. П. Полонскому из Парижа: «Хотя Паскевичи тебе и писали, что перевод романа Толстого находится в Париже, но могу тебя уверить, что ни у одного книгопродавца его нет, и никто о нем *ничего* не знает. «Пусть они распорядятся и велят мне выслать 6 экземпляров — я их раздам по принадлежности и сделаю рекламу в журналах, без чего ни одна книга (особенно иностранная) здесь расходиться не может. Боюсь я очень перевода, сделанного русской дамой: здешние издатели чуть не кусаются, когда им преподносят эту смесь французского с (великосветским) нижегородским. — Но ты не забудь передать мое предложение Паскевичам, — а мы постараемся всячески».[12]

3 (15) октября Тургенев сообщает Полонскому о том, что он получил его письмо вместе с письмом кн. И. И. Паскевич, «о которой я много слышал как об умной женщине и удивительной актрисе».[13] 5 (17) ноября Тургенев просит Полонского поспешить с высылкой просимых экземпляров «Войны и мира». 6 (18) декабря Тургенев в письме повторяет ту же просьбу.[14] 23 декабря 1879 г. (4 января 1880 г.) Тургенев сообщает из Парижа Полонскому о том, что шесть экземпляров «Войны и мира» им, наконец, получены и что он приступил к «надлежащим мероприятиям». Он просит также довести об этом до сведения кн. И. И. Паскевич.[15] А через пять дней, 28 декабря 1879 г. (9 января 1880 г.), Тургенев пишет Толстому: «Княгиня П[аскевич], переведшая Вашу „Войну и мир", доставила, наконец, сюда 500 экземпляров — из которых я получил 10. Я роздал их здешним влиятельным критикам (между прочим, Тэну, Абу и др.). Должно надеяться, что они поймут всю силу и красоту Вашей эпопеи. Я на днях в 5-й и 6-й раз с новым наслажденьем перечел Ваше, поистине, великое произведение. Весь его склад далек от того, что французы любят и чего они ищут в книгах; — но правда, в конце концов, берет

---

[12] И. С. Тургенев. Полн. собр. сочинений и писем. Письма, т. XII, кн. 2, Л., 1967, стр. 133.

[13] Там же, 141.

[14] Там же, 169, 170 и 189, 190.

[15] Там же, 194.

свое. Я надеюсь, если не на блестящую победу, то на прочное, хотя медленное завоевание».[16]

В номере газеты «Le XIX-me siècle» от 23 января 1880 г. было напечатано письмо Тургенева к редактору этого издания Э. Абу. Письмо это, датированное 20 января 1880 г., является только частью той рекламы, которую хотел создать переводу «Войны и мира» Тургенев. «Граф Толстой, — писал в этом письме Тургенев, — русский писатель до мозга костей; и те из французских читателей, кого не оттолкнут немногие длинноты и причудливость некоторых оценок, будут вправе сказать себе, что „Война и мир" дала им более непосредственное и верное представление о характере и темпераменте русского народа, вообще о русской жизни, чем если бы они прочитали сотни сочинений по этнографии и истории. Есть здесь целые главы, в которых никогда не придется ничего изменить; здесь есть исторические лица (как Кутузов, Растопчин и другие), чьи черты установлены навеки; это непреходящее. Как видите, я смел в выражениях; и однако мои слова еще далеко не передают моей мысли. Возможно, что глубокая оригинальность графа Льва Толстого самой своей силой затруднит читателю-иностранцу сочувственное и быстрое понимание его романа; но повторяю, — и я был бы счастлив, если бы мои

---

[16] Там же, стр. 197. Из письма Тургенева к Толстому от 12 (24) января 1880 г. становится известно, что перевод «Войны и мира» расходился небезуспешно и что только за первые две недели (с 9 по 24 января 1880 г.) из 500 полученных в Париже экземпляров было продано 300. Эти сведения противоречат широко распространенному мнению о том, будто бы экземпляры первого французского перевода «Войны и мира» продолжали лежать нетронутыми на полках книжных магазинов вплоть до 1884 г. Кстати сказать, опровергает это мнение статья Ги де Мопассана о Тургеневе (1880). Характеризуя в ней наиболее выдающихся русских авторов, Мопассан писал: «Это — граф Лев Толстой, ныне здравствующий, один из великих писателей нашего времени, автор великолепной книги под названием „Война и мир", имевшей *в прошлом году* (курсив мой, — *Ф. П.*) такой успех во Франции» (Ги де Мопассан, Полное собрание сочинений в двенадцати томах, т. XI, М., 1958, стр. 67). Сказанное следует дополнить рассказом Гюга Леру о том, как он задолго до появления этюда Вогюэ о Толстом, решив приобрести французский перевод «Войны и мира», не нашел в книжных магазинах Парижа ни одного экземпляра толстовской эпопеи, — «она была уже давно распродана» («Revue politique et littéraire, 1888, t. 41, № 7, 18 février, p. 215).

слова встретили доверие: это — великое произведение великого писателя, — и это подлинная Россия».[17]

Вырезку из газеты «Le XIX-me siècle» на следующий после ее напечатания день Тургенев вместе с письмом отправил Толстому. В этом же письме был послан отрывок из письма Флобера к Тургеневу, в котором находим восторженные строки о «Войне и мире». «Благодарю, — писал Флобер, — что вы дали мне возможность прочесть роман Толстого. Это первоначальная вещь. Какой художник и какой психолог! Два первых тома *изумительны*, но третий страшно катится под гору (mais le troisième dégringole affreusement). Он повторяется! и философствует! Одним словом, здесь виден сам автор и русский, тогда как до тех пор видны были только Природа и Человечество. Мне кажется, что есть места, достойные Шекспира! Мне случалось вскрикивать от восторга во время чтения, а оно продолжительно! Да, это сильно! Очень сильно!».[18]

Какое значение придавал Тургенев отзыву Флобера о Толстом, видно из его письма к Флоберу от 24 января 1880 г.: «Не знаю, что скажут господа критики („Войну и мир“ я послал также Додэ и Золя), но для меня вопрос решен: Flaubertus dixit. Остальное не имеет значения».[19]

Экземпляр «Войны и мира», посланный Тургеневым Золя, был тогда же прочитан последним. Эдуард Род рассказывает, как в 1880 г. он увидел на столе у Золя перевод романа Толстого. «Он прочел это произведение точно так же, как и Гюисманс, и оба говорили: „Это очень хорошо“. Другие отвечали: „Мы прочтем“».[20]

Среди писателей, которым Тургенев разослал в 1880 г. перевод «Война и мира», был, несомненно, и Мопассан. В статье о Мопассане Толстой, вспоминая о своей встрече с Тургеневым в 1881 г., рассказывает, как тот передал ему книжку неизвестного еще Толстому французского

---

[17] И. С. Тургенев. Полн. собр. сочинений и писем. Сочинения, т. XV, М.—Л., 1968, стр. 186, 187.

[18] И. С. Тургенев. Полн. собр. сочинений и писем. Письма, т. XII, кн. 2, Л., 1967, стр. 205.

[19] Там же, стр. 206.

[20] Эдуард Род. Русский роман и французская литература. «Русский вестник», 1893, № 8, стр. 208.

писателя — «La Maison Tellier». «„Это молодой французский писатель, — сказал он, — посмотрите, недурно; он вас знает и очень ценит“, — прибавил он, как бы желая задобрить меня».[21]

Письма Тургенева к писателю Андре Терье и коллекционеру и критику искусства Филиппу Бюрти — свидетельство того, что для популяризации Толстого Тургенев использовал даже тех лиц, с которыми он был связан довольно слабо.[22]

Изредка навещавший русского писателя в Париже в начале 80-х годов Огюст Доршэн вспоминал много лет спустя, как однажды Тургенев снял со своей книжной полки одетые в бледно-зеленые переплеты три тома, говоря: «Вот одна из превосходнейших книг этого столетия, роман одного из моих соотечественников, Льва Толстого. Хотя она уже и удостоилась перевода, вряд ли кто-либо обсуждал ее и никто не сказал, что она является выдающимся шедевром. „Война и мир“ ее название. Прочтите ее и скажите всем вашим друзьям, чтобы они также прочли ее».[23]

Летом 1881 г., находясь в Спасском и, очевидно, предупрежденный редакцией французского журнала «Nouvelle Revue» о помещении на его страницах статьи о Толстом, Тургенев написал к ней восторженное предисловие — биографическую справку о писателе, в котором говорилось о том, что талант Толстого нашел уже поклонников в Европе, и высказывалась надежда, что «число их будет неизменно возрастать».[24]

Редактору названного журнала г-же Адан, отъезжавшей в конце 1881 г. в Россию, Тургенев настоятельно ре-

---

[21] Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 30, М., 1951, стр. 3.

[22] И. С. Тургенев. Полн. собр. сочинений и писем. Письма, т. XII, кн. 2, Л., 1967, стр. 195 и 203.

[23] Цит. по кн.: F. W. J. Hemmings. The Russian novel in France. 1884—1914. Oxford, 1950, p. 20.

[24] «Nouvelle revue», 1881, t XI, p. 821. Указание на это тургеневское письмо-справку было дано мною в кандидатской диссертации «Лев Толстой во французской литературе», защищенной в Ленинградском государственном педагогическом институте им. А. И. Герцена в 1941 г. См.: М. П. Алексеев. Тургенев — пропагандист русской литературы на Западе, стр. 79.

комендовал познакомиться с переводчицей произведений Толстого И. И. Паскевич.[25]

Только с 1882 г., прикованный болезнью к постели, Тургенев уже не мог с прежней неутомимостью пропагандировать среди французов «великого писателя русской земли», как назвал он незадолго до своей смерти Льва Толстого.

Ознакомление с ролью Тургенева в развитии русско-французских литературных взаимоотношений показывает, насколько уместной была упомянутая выше попытка Е. Семенова напомнить французским читателям об этой почетной роли. Вместе с тем следует сказать также и о том, что сама постановка вопроса о том, кто ввел Толстого во Францию, Тургенев или Вогюэ, не выдерживает строгой критики прежде всего потому, что творчество Толстого пропагандировалось во Франции не только Тургеневым и Вогюэ, но и другими переводчиками и литераторами. Известно, что первый перевод из Л. Толстого на французский язык — перевод рассказа «Севастополь в декабре» — появился в 1855 г. во французской газете «Le Nord», выходившей в Брюсселе; в 1859 г. было переведено на французский язык «Семейное счастье», напечатанное в газете «Journal de S.-Pétersbourg» (№№ 229—242). В 1863 г. в журнале «Revue des deux Mondes» (t. 43) был напечатан сокращенный перевод «Детства и отрочества» (с английского); в 1877 г. «Семейное счастье» выходит на французском языке отдельным изданием и в новом переводе (И. И. Паскевич); в 1879 г. в «Revue britannique» был напечатан сокращенный перевод «Войны и мира», сделанный Курьером; «Journal de S.-Pétersbourg» с 1875 по 1885 г. напечатал целый ряд французских переводов из Толстого («Три смерти», «Два гусара», «Записки маркера», «Казаки», «Альберт», «Детство», «Чем люди живы» и «Декабристы»).

В 70-е годы прошлого века имя Льва Толстого начинает постепенно проникать и во французскую критическую литературу (книга Курьера о русской литературе, «Journal de S.-Pétersbourg», «Le Temps». «Revue britannique», «Revue des deux Mondes»), а с самого начала

---

[25] См.: «Новое время», 1882, № 2099, 1 января, стр. 4 («У г-жи Адан»).

французского читателя: в 1880 г. обстоятельную рецензию на французский перевод «Войны и мира» помещает журнал «Le livre» (№ 1, 10 января); в 1881 г. лозаннский журнал «Bibliothèque universelle et revue suisse» (№ 3) печатает аналогичную рецензию и с этого времени уже не выпускает из поля своего зрения великого русского романиста; в 1881 г. критик А. Баден печатает большую статью о Л. Толстом в «Nouvelle Revue» (t. XI); в 1883 г. этот же журнал (tt. XXII, XXIII) печатает о Толстом статью проф. Циона и статью редактора журнала г-жи Адан; в 1885 г. в Париже выходит солидное исследование о русских писателях XIX в. Эрнеста Дюпюи («Les grands maîres de la littérature russe au XIX-me siècle»).

Приведенных примеров вполне достаточно для того чтобы показать, как постепенно возрастал среди французской общественности интерес к русской литературе и Льву Толстому. Вряд ли можно возражать против того, что интерес этот был общественной закономерностью, связанной с литературным процессом. Таким образом, Тургенев, а отчасти и Вогюэ своей деятельностью только способствовали развитию этого процесса, возникшего в качестве исторической необходимости.

Несостоятельность дилеммы «Тургенев или Вогюэ?» — обнаружится еще более наглядно, если мы попытаемся, выйдя за пределы Франции, ответить на вопрос: кто ввел Льва Толстого в мировую литературу? В Германии, Англии и Соединенных Штатах Америки, где пропаганда Тургеневым Толстого, равно как и влияние книги Э. М. де Вогюэ, были гораздо менее ощутимы («Русский роман» на английский язык был переведен лишь в 1887 г., а на немецкий не был переведен вовсе), отношение читающей публики к автору «Войны и мира» эволюционировало приблизительно так же, как и во Франции. Переводы произведений Толстого на немецкий язык начинают появляться с конца 60-х годов: «Поликушка» — в 1869 г., отрывки из «Войны и мира» — в 1870—1871 гг., «Детство», «Люцерн», «Семейное счастье», «Анна Каренина», «Казаки», «Записки маркера» и др. — в 1885 г. Первый перевод из Толстого на английский язык («Детство») появился в 1862 г., второй («Казаки») — в 1878 г. Отрывки из «Войны и мира» в итальянском переводе были опубликованы в 1869 г. и т. д.

Характерно, что переводы такого произведения, как «В чем моя вера?», появляются почти одновременно на трех основных европейских языках — французском, немецком и английском — в 1885 г.

С середины 80-х годов прошлого века начинается резкий подъем интереса западноевропейской общественности к творчеству Льва Толстого. И по времени возникновения, и по интенсивности подъема первое место принадлежало Франции, и она, безусловно, оказала известное воздействие на другие страны, однако ни для Германии, ни для Англии этот подъем, или скачок, отнюдь не был неожиданностью, он был подготовлен всем процессом предшествующего литературного развития.

Разобраться в причинах проникновения творчества Льва Толстого в западноевропейские страны невозможно, наконец, без постановки вопроса о мировой известности русской литературы вообще, ибо творчество Толстого, как бы ни было оно значительно, является лишь частью целого, именуемого русской литературой.

Прослеживая в хронологической последовательности распространение русской литературы на Западе, мы обязательно придем к установлению следующей закономерности: со времени государственных преобразований Петра I Запад с любопытством и все возрастающим интересом следил за экономическим и культурным развитием России, однако в силу целого ряда обстоятельств сведения о русском народе и его культуре, которыми располагали западноевропейские историки и публицисты, содержали значительную долю фантастики, а то и прямой лжи и клеветы. Только во второй половине XIX в. традиция высокомерного отношения к русской культуре начинает терять на Западе силу. Отметим, что ознакомлению западноевропейской общественности с Россией и ее народом, с русским освободительным движением и лучшими достижениями русской культуры и литературы в исключительной мере способствовала публицистическая и издательская деятельность А. И. Герцена периода его изгнания. Со второй половины XIX в. русская литература на Западе становится уже предметом серьезных и глубоких изучений. Переводчиками и популяризаторами русской литературы выступают такие видные литераторы, как П. Мериме, К. Мармье и И. Делаво во Франции, Ф. Боденштедт и А. Видерт в Германии, Вильям Рольстон в Англии.

Творчество И. С. Тургенева уже в 60-е годы прошлого века получает всеобщую известность и признание, сперва во Франции, а затем в Германии, Англии, Дании и других странах Западной Европы и Америки.

Вслед за переводами романов Тургенева начинают появляться на Западе переводы отдельных произведений Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, Д. В. Григоровича, А. Ф. Писемского. «Переводчиков — вот кого недостает на Западе для того, чтобы оценить русский гений», — заявлял в 1875 г. французский ученый Анатоль Леруа-Болье.[26]

Последняя треть XIX в. характеризуется усиленным развитием международных литературных связей. Обмен литературными ценностями между различными странами разрастается настолько, что приводит к необходимости урегулирования ряда вопросов, затрагивавших переводческую деятельность, охрану авторского права и т. д. В это же время возникает идея о необходимости созыва международных литературных конгрессов. Первый такой конгресс, как известно, состоялся в 1878 г. в Париже. Бурное развитие международных литературных связей в немалой мере способствовало тому, что передовая общественность Запада уже в 70-е годы прошлого века оценила объективно присущие русской художественной литературе высокие достоинства, заметно облегчив тем самым ее постепенное продвижение в западноевропейские страны.

Одной из важнейших причин, способствовавших росту международного престижа русской литературы XIX в., была ее неразрывная связь с передовыми идеями эпохи и освободительным движением. Развивавшаяся под гнетом деспотизма, в обстановке крепостнического бесправия и исключительного обострения социальных противоречий, передовая русская литература прошлого века вдохновлялась идеями служения народным интересам и поисками справедливого социального устройства. Доходить до корени самыя правды» (Кантемир), «глаголом жечь сердца людей» (Пушкин), «быть провозвестником братства людей» (Белинский) — такие задачи ставили перед собою русские писатели, и это сообщало их произведениям тот

---

[26] «Le Temps», 1875, 18 mai (рецензия на «Историю русской литературы» Курьера).

боевой общественный темперамент и остроту, ту глубину и значительность проблематики и образов, то проникновение в тайники народной жизни и реалистичность, которые были в меньшей мере свойственны, а отчасти и утрачены литературами западноевропейских стран. Связь передовой русской литературы с освободительным движением обусловила ее выход на первое место среди литератур всего мира. В последнюю треть XIX в. из многих причин именно эта стала ведущей и определяющей успех русского художественного слова на Западе.

В. И. Ленин в работе «Что делать?» (1901—1902) указывал читателю на «всемирное значение», «которое приобретает теперь русская литература»,[27] ставил это явление в связь с бурным развитием революционного движения в России.

В ленинских статьях о Толстом дано классическое определение значения писателя в развитии мировой литературы. В статье «Л. Н. Толстой» (1910) Ленин писал: «Умер Лев Толстой. Его мировое значение, как художника, его мировая известность, как мыслителя и проповедника, и то и другое отражает, по-своему, мировое значение русской революции».[28]

Произведения Л. Толстого не были, разумеется, «алгеброй революции», русское освободительное движение отразилось в них «по-своему», но их связь с общественной борьбой и нарастающей буржуазно-демократической революцией в России не только русский, но и западноевропейский читатель всегда ощущал.

В последнюю треть XIX в. внимание западноевропейской общественности было властно приковано к русскому революционному движению, получившему на Западе обывательское наименование «нигилизм». «Наша литература еще не вошла в моду в Париже, а по случаю нигилизма много писали о России», — заявляла переводчица произведений Л. Толстого на французский язык О. Н. Смирнова.[29]

Потребители различного рода писаний о «нигилизме» не составляли единой массы, среди них были и люди,

---

[27] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 25.

[28] Там же, т. 20, стр. 19.

[29] О. Н. Смирнова. Заметки о книге Э. М. де Вогюэ «Русский роман». Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, 28483-ССІІб. 151, л. 9.

сочувственно следившие за растущим революционным движением в России, и обыватели, приходившие в трепет от сообщений о действиях русских революционеров. «Необычайные события, театром которых с некоторых пор стала Россия, — сообщала в 1880 г. «Bibliothēque universelle» (t. VI, p. 5), — вызывают к этой стране любопытство, смешанное с ужасом».

Заметим, кстати, что в связи с эволюцией читательских вкусов начиная с 70-х годов на Западе возникает целая отрасль беллетристики, посвященная «русским нигилистам».[30] В связи с этим русская революционная эмиграция предпринимает ряд небезуспешных попыток противопоставить всякого рода фантастическим измышлениям о русских «нигилистах и террористах» правдивую картину революционного движения в России. В 1882 г. знаменитый русский революционер-народоволец С. М. Степняк-Кравчинский издает на английском языке свою книгу «Подпольная Россия», которая в скором времени была переведена на ряд западноевропейских языков и доставила ее автору всемирную известность. Рекомендуя «Подпольную Россию» западным читателям, П. Л. Лавров писал: «Я оставляю в стороне целую категорию писаний, рассказов, романов, фельетонов, авторы которых в развлекательной манере стремились изобразить приключения и типы нигилистического мира с единственной целью — поразить воображение своих читателей. Следует признать, что в большинстве своем эти упражнения лишены всякой ценности».[31]

Знаменитый американский писатель Марк Твен, получив от Степняка-Кравчинского экземпляр «Подпольной России», отвечал ему 23 апреля 1891 г.: «Я прочел все о подпольной России с глубоким и мучительным интересом. Какого высокого самопожертвования мужчины и женщины! Я полагаю, нет ничего более дикого, чем рус-

---

[30] См., например: Edouard Bongar. Les Nihilistes russes ou la Conspiration infernale. Roman contemporain. Première partie. Zurich, 1878; Ernest Lavigne. Le roman d'un Nihiliste. Paris, 1880; Victor Tissot et Constant Améro. La Russie rouge. Roman contemporain. Paris, 1880.

[31] Stepniak. La Russie souterraine. Avec une Préface de Pierre Lavroff. Traduction française du Hugues Le Roux. Paris, 1885, pp. 1—2.

ский деспотизм, который мог породить такую жертвенность».[32]

В приведенных словах Марка Твена ярко запечатлено отношение лучшей части западноевропейской и американской интеллигенции к освободительному движению в России. Восхищаясь героизмом и жертвенностью русских революционеров, передовой зарубежный читатель не удовлетворялся коммерческими романами и газетными статьями о нигилистах и искал правдивых книг о России и ее народе. Вместе с тем «русская тема» становилась в центре внимания не только передовых, но и более широких слоев зарубежной общественности. Этим читательским запросам как нельзя лучше отвечала русская художественная литература. Обращаясь к ней, зарубежный читатель ждал ответа на многие тревожившие его сознание вопросы, и среди них прежде всего — ответа на вопрос о русском нигилизме. «Нигилизм в поэзии» — так озаглавливает в 1883 г. газета «Le Temps» статью, посвященную Некрасову. «Марк — нигилист» — под таким названием печатается в 1886 г. «Обрыв» Гончарова во Франции. «Карьерой нигилиста» («The Career of a Nihilist») назовет в 1889 г. для англичан свой роман «Андрей Кожухов» Степняк-Кравчинский. «Нигилизм и мистицизм» — так назвал Вогюэ свой этюд, посвященный Толстому.

Мы охарактеризовали вкратце важнейшие причины, способствовавшие начиная со средины 1880-х гг. резкому возрастанию мировой известности русской литературы в целом. Однако творчество каждого из больших русских писателей XIX в. имело на Западе, помимо судьбы «коллективной», также собственную неповторимую судьбу. Так, например, творчество Тургенева никогда не вызывало там такой острой борьбы мнений, какой сопровождалось появление почти любого из произведений Льва Толстого, по-видимому, потому, что эстетика романов Тургенева была более близка и понятна зарубежному читателю. Не случайно мировая известность первого на целую четверть века опередила мировую славу второго.

Исключительно насыщенной материалом и наиболее важной по историко-литературным последствиям была история «натурализации» творчества Льва Толстого во Франции.

---

[32] «Огонек», 1957, № 24 (1965), стр. 24.

Выпущенный в 1884 г. книгоиздательской фирмой Ашетт дополнительный тираж французского перевода «Войны и мира» не был чем-то неожиданным. Достаточно сказать, что другое парижское издательство (Plon) в том же году напечатало во французском переводе два романа Ф. М. Достоевского — «Преступление и наказание» и «Униженные и оскорбленные». Здесь можно было бы привести ряд других аналогичных данных, убеждающих нас в том, что этюды Э. М. де Вогюэ, вошедшие затем в его книгу «Русский роман», явились не причиной, а лишь следствием уже существовавшего у французского читателя повышенного интереса к русской художественной литературе. Непрерывно нараставшая среди французов известность Толстого превратилась в 1885 г. в подлинный его триумф. С этого времени имя автора «Войны и мира» буквально не сходит со страниц французской периодической печати. Парижские журналы и газеты разных направлений и оттенков в 1885 г. посвящают русскому писателю специальные статьи.[33] Еще более возрастает увлечение Толстым в следующем, 1886 г.

Вторжение русской литературы во Францию Э. М. де Вогюэ сравнивал в 1886 г. с «вихрем, который в одно мгновение засыпает землю сугробами снега», и был немало смущен тем обстоятельством, что в его библиотеке «Вольтер... исчез под грудой из книг Толстого, а любимый Расин был погребен под обвалом из произведений Достоевского».[34] Этот же успех русской литературы Р. Роллан сравнивал с «ударом молнии, разодравшей небо Европы».[35]

Успех Толстого во Франции был настолько велик, что критик Теодор де Визева в статье «Русское нашествие во французской литературе» (1886), несколько преувеличивая, заявлял о том, что французский читатель знает Толстого в такой же мере, если даже не лучше, как и наиболее знаменитых отечественных романистов. «Читателям, — говорил этот критик, — которые еще не-

---

[33] См., например: «Le Rappel» (3 septembre), «Le XIX-me siècle» (16 août), «Événement» (23 juillet), «Le Temps» (24 juin), «Nátional» (18 mai), «Français» (13 février), «Décade» (1 novembre) и т. д.

[34] «Revue des deux Mondes», 1886, 15 décembre, p. 823.

[35] Р. Роллан, Собрание сочинений, т. XIV, М., 1958, стр. 532.

давно объявляли непомерно длинными романы Гонкуров, предлагают теперь 1200 страниц убористого текста „Войны и мира“. Они проглатывают 1200 страниц, и вот их рты снова раскрыты».[36]

Выше уже говорилось о том, что проникновение русской литературы в умы и сердца французской публики было обусловлено исторически и что значение в этом отношении Э. М. де Вогюэ было сильно преувеличено. Однако, если Вогюэ действительно был мало причастен к «вторжению» Толстого во Францию, роль в его формировании мнений о Толстом в среде французских литераторов была исключительно важной. Автор «Русского романа» был превосходным знатоком России, русского языка и литературного движения. В отличие от критиков-дилетантов у него была своя концепция русской литературы. Блестящий стиль и яркость изложения — вот дополнительные качества, создавшие книге Вогюэ широкую популярность.

В чем же состояла концепция Вогюэ в той ее части, которая относится к Льву Толстому? Концепция эта не отличалась стройностью, она была эклектична, с заметной примесью философского идеализма и консервативных общественных взглядов. Вместе с тем философская и политическая тенденциозность книги Вогюэ была скрытой и выступала под маской своеобразно понятого демократизма. Критик уловил гуманистический пафос русской литературы, но он попытался истолковать его как выражение религиозного чувства, как проповедь евангельского «милосердия» и «прощения».

В отличие от Тургенева, «дисциплинированного западным воспитанием», Толстой, по мнению Вогюэ, более, чем кто-либо другой из его соотечественников, — выразитель особенностей русского национального характера. «Он и выразитель и распространитель того состояния русской души, которое зовут „нигилизмом“».[37]

Несмотря на произвольно субъективный характер некоторых суждений, Вогюэ, однако, мастерски анализирует ряд произведений русского писателя. Вогюэ восторгается непревзойденным даром наблюдения Толстого,

---

[36] Théodor de Wyzewa. Ecrivains étrangers. Deuxième série. Paris, 1897, p. 168.

[37] E. M. de Vogüé. Le Roman russe. Paris, 1886, p. 280.

силой его психологического анализа, естественностью и правдивостью его описаний. Критик с удовлетворением отмечает присутствие в творениях Толстого целого ряда таких особенностей, которых нет ни у французских, ни у английских романистов: высота нравственного идеала без назойливого дидактизма, соблюдение чувства меры в изображении низменного и отвратительного, непревзойденное «сочетание великого эпического дыхания с бесконечными мелочами анализа» и т. д.

Вогюэ отмечал известное сходство между художественными системами Толстого и французских натуралистов, но он подчеркивал с особой силой различие между ними. На вопрос, чем отличается Толстой от французских натуралистов, Вогюэ отвечал: «Но за марионетками, которых он (Толстой, — *Ф. П.*) заставляет двигаться, я вижу не его ничтожную руку, а таинственную и грозную, вечно присутствующую тень бесконечного» (стр. 324).

Своим этюдом о Толстом Вогюэ стремился нанести удар Золя и его приверженцам; вместе с тем критик позаботился здесь также и о том, чтобы «обезвредить» произведения Толстого, предохранить французского читателя от их «дурного» влияния. Само собою разумеется, что слабости русского писателя Вогюэ понимал по-своему. Так, например, в образе Платона Каратаева критика возмущала не философия «непротивления злу насилием», а то, что Толстой показал превосходство простого мужика над образованным Пьером. Развенчание культа Наполеона, выступления Толстого против войны, православной церкви и самодержавной власти встречали со стороны Вогюэ возражение. Возмущало критика также и то, что, по его мнению, учение Толстого «сводит все обязанности, все надежды, всю нравственную деятельность к одному предмету: уничтожению общественного зла посредством коммунизма» (стр. 336).

Если книга Вогюэ, тенденциозно изображавшая русскую литературу выразительницей «религии человеческого страдания», явилась своеобразным выступлением против французского натурализма «справа», то у Золя и его сторонников были также противники и «слева» в лице литературной молодежи, стесненной суровыми и застывшими догмами натурализма. Сложность французского литературного движения в конце прошлого века со-

стояла в том, что в борьбе с натурализмом даже представителям прогрессивно-демократического лагеря приходилось иногда пользоваться отдельными положениями и мнениями, сформулированными в «Русском романе» Э. М. де Вогюэ.

В 1887 г., вскоре после выхода в свет «Земли» Золя, группа молодых приверженцев натуралистической школы (Декав, Рони-старший, Поль Маргерит, Боннетен и Гиш) выступила на страницах газеты «Le Figaro» с протестом против «цинизма» и «грубостей» последнего романа своего учителя. «Манифест пяти» был написан в крайне резком тоне. Некоторые французские критики не без оснований связывали этот манифест с «русским» влиянием.

В спорах, возникших вокруг «Земли» Золя, русский роман привлекался для противопоставлений, целью которых была дискредитация метода французского натурализма. Русский политический эмигрант Мишель Делинь (Ашкинази) поспешил даже издать объемистую книгу «La terre dans le roman russe», вышедшую в 1887 г. и составленную на две трети из отрывков произведений Толстого.[38]

Французская антинатуралистическая критика не преминула воспользоваться названной книгой в своих целях. «Г-н Мишель Делинь, — писала „Revue politigue et littéraire“, — показывает нам эту бедную землю, столь поруганную у нас и, наоборот, столь чествуемую и восхваляемую русским романом».[39]

«Манифест пяти» на первый взгляд не представлял собой значительного факта во французской литературной жизни, так как подписавшие его писатели в то время не пользовались почти никакой известностью. Но их выступление было симптоматичным, оно отражало мнение довольно широкого круга литературной молодежи и читателей. В отрицательной оценке «Земли» с «пятеркой» сходились многие писатели, в том числе Анатоль Франс[40]

[38] «Мне представляется любопытным и поучительным, — писал в предисловии к своей книге Ашкинази, — сопоставить деревенского жителя Золя с мужиком, столь дорогим для русских писателей» (стр. 3).

[39] Maxime Gaucher. Causerie littéraire. «Revue politique et littéraire», 1887, t. 14, № 22, 26 novembre, p. 694.

[40] См.: A. France. La vie littéraire, t. I. Deuxième édition. Paris, 1888, pp. 225—238.

и Октав Мирбо.[41] Выходка пяти сильно огорчила Золя. Встревожила она и Эдмона Гонкура, писавшего 18 августа 1887 г. в своем дневнике: «Черт бы побрал эту пятерку, ведь четверо из них посещают мой чердак!» («Diable sur les cinq, quatre font partie de mon grenier!»).[42] Альфонс Доде вынужден был письменно заверить Золя, что он не имеет никакого отношения к злополучному манифесту.[43]

В истории распада французского натурализма русский роман, и прежде всего творчество Льва Толстого, безусловно, сыграли далеко не последнюю роль. Об этом в свое время Виктор Шарбонель писал: «Едва пробужденная к моральной вере и евангельской любви благодаря влиянию „русских", литературная молодежь начала штурмовать чудовищного железного идола на глиняных ногах. Натурализм пал».[44]

Сторонник мистицизма и поборник «спиритуалистического возрождения» в литературе, В. Шарбонель склонен был рассматривать русских романистов как своих литературных союзников. Вслед за Вогюэ враги «цитадели натурализма» из лагеря идеалистической реакции во Франции неустанно противопоставляли Золя Толстому как непримиримых антиподов. Однако объктивно творчество великого русского писателя противостояло прежде всего искусству декаданса, а затем уже натурализму, что превосходно понимал Вогюэ. Хорошо понимал это, кстати сказать, и Эмиль Золя. Примечательно, что в борьбе с идеалистической реакцией Золя опирался на творчество Льва Толстого, в частности на его драму «Власть тьмы».

Постановки «Власти тьмы» на парижской сцене составляют любопытнейшую страницу не только в истории французского театра, но и французской литературы конца прошлого века. В середине 1887 г. драма Толстого была переведена на французский язык Гальпериным-Каминским, и издание ее расходилось с большим успехом. Тогда же

---

[41] См.: Em. Zola. Les oeuvres complètes, Notes et commentaires de M. Le Blond, Correspondance (1872—1902). Paris, s. a., p. 683 (письмо Золя к О. Мирбо).

[42] Edm. et Jules de Goncourt. Journal, t. VII. Edition definitive. Paris, s. a., p. 163.

[43] Em. Zola, Les oeuvres complètes, p. 687 (письмо Золя к А. Доде).

[44] V. Charbonnel. Les Mystiques dans la littérature présente. Paris, 1897, p. 37.

у директора «Свободного театра» Антуана возникает мысль о постановке драмы Толстого на сцене. Не удовлетворенный, однако, переводом Гальперина, Антуан поручает сделать новый перевод Павловскому и Метенье. Новый перевод был отправлен в Россию Толстому и получил его одобрение.

Предстоящая постановка драмы на сцене становится предметом обсуждения в среде парижских театральных деятелей и писателей. После споров о «непристойностях» «Земли» Золя новое произведение Толстого, пользовавшегося репутацией самого «благопристойного» автора, произвело в среде парижских литераторов самое неожиданное впечатление. В изображении жестокости деревенских нравов Толстой, казалось, превосходил самого Золя. «Натуралистическая школа может зачислить в свои ряды этого могучего союзника», — указывая на Толстого, писал М. Ашкинази.[45]

Успех пьесы Толстого был невыгоден литературным противникам Золя. «Это произведение, — заявлял Дюма-сын, — хотя оно задумано и выполнено несколько в эсхиловском и шекспировском стиле, для нашего французского зрителя в особенности покажется полным грубостей и непристойностей».[46] Мнение Дюма-сына полностью разделяли Сарду и Ожье. Примечательно и то, что кампанию против постановки на сцене «Власти тьмы» возглавлял не кто иной, как Э. М. де Вогюэ. Возможно, что ему и его соратникам удалось бы полностью дискредитировать пьесу, если бы в дело не вмешался Эмиль Золя. О нем как о защитнике драмы Толстого рассказал Гальперин-Каминский в только что названной статье. Ценные сведения об этом находим мы также и у одного из переводчиков пьесы И. Павловского. «Между тем, — рассказывает последний, — несколько раньше Метенье прочитал пьесу актерам „Свободного театра“. На этом чтении присутствовало довольно много друзей этого театра и между прочими г. Эмиль Золя. В нем мы встретили самого горячего энтузиаста „Власти тьмы“; он защищал ее и подготовлял ее успех, как будто бы это было его собственное произведение. „Главное — повторял Золя, — не выбрасывайте ни

---

[45] «Revue d'art dramatique», 1887, t. VI, p. 142.

[46] E. Halpérine-Kaminsky. La Puissance des Ténèbres sur la scène française. «Nouvelle Revue», 1888, t. 50, p. 626.

одной сцены, ни одного слова, и не бойтесь за успех"».[47]

Первая постановка «Власть тьмы» на сцене „Свободного театра" состоялась 10 февраля 1888 г. «Спектакль „Власть тьмы" — читаем мы в «Дневнике» Антуана, — был настоящим триумфом; признают, что пьеса Толстого — настоящий шедевр. Лучших и более веских отзывов прессы нельзя и придумать. . .».[48]

14 марта (н. ст.) того же года в салонах «Фигаро» состоялся большой литературно-музыкальный концерт в честь гостившего в то время в Париже П. И. Чайковского. На этом концерте, собравшем почти всех знаменитостей парижского литературного и музыкального мира, труппой Антуана был сыгран третий акт «Власти тьмы». Успех постановки был также исключительным. «Со всех сторон, — рассказывает И. Павловский, — только и слышалось: „Как это тонко! Как глубоко! Какая шекспировская сила!" Эти восклицания, вырывавшиеся невольно, значили еще больше, чем горячие аплодисменты, которыми многократно приветствовали этот третий акт по окончании его».[49]

Несмотря на выдающийся успех драмы Толстого, литературная борьба вокруг нее не утихала. Сторонники Вогюэ утверждали, что «Власть тьмы» все же далека от жизненной правды, что это не народная драма и что интеллигентная публика приветствовала не пьесу собственно, а автора, завоевавшего огромный успех другими своими произведениями. Чтобы доказать вздорность подобных мнений, защитники Толстого, среди которых был и Эмиль Золя, добились постановки «Власти тьмы» на сцене театра «Bouffes du Nord», репертуар которого был рассчитан на вкусы народного зрителя. Вот как описывал одну из постановок драмы Толстого в этом театре (в апреле 1888 г.) И. Павловский.

«Представление кончается всегда заполночь. И однако, вот факт: „Власть тьмы" идет сегодня, в воскресенье, в десятый раз на сцене «Bouffes du Nors», давая отличные

---

[47] И. Яковлев (И. Я. Павловский). «Власть тьмы» на парижской сцене. «Новое время», 1888, № 4288, 5 (17) февраля, стр. 2.

[48] Андре Антуан. Дневник директора театра. 1887—1906. М.—Л., 1939, стр. 68.

[49] И. Яковлев. Россия во Франции. «Новое время», 1888, № 4323, 12 (24) марта, стр. 2.

сборы, и наверно пойдет еще столько же раз, по меньшей мере. Будь это в большом театре, расположенном в центре города, публика которого постоянно меняется, это было бы не удивительно. Но, я уже сказал, публика «Bouffes du Nord» чисто народная; она тяжела на подъем и если решается потратить десять су на билет, то только в том случае, когда надеется получить удовольствие гораздо больше, чем в кабаке или на bal fabrigue, которыми переполнен квартал Ла-Шапель... Беднея, вытирая ладонью катящийся пот, публика выходит после этого (четвертого) акта, точно после кошмара. Случается, какой-нибудь малый, рассмотревши гравюру, изображающую на афише последнюю сцену из пятого акта, приближается к группе и заявляет: „Il avoue, vous savez!“ (Он ведь признается!). И эта новость принимается с большой радостью.

— Он глупый, этот Никита, но не злой. Его запутали бабы.

Каждый вечер театр полон. Мне кажется, что в последние дни даже больше, чем в первые. Имя Толстого и его герои сделались вполне популярными в квартале Ла-Шапель. Теперь можно говорить что угодно, но это народная пьеса, написанная для народа, понята и одобрена народом, — что и требовалось доказать».[50]

Постановка «Власти тьмы» на сцене сильно огорчила Вогюэ и всех сторонников «спиритуалистической» реакции. В специальной статье, посвященной этому событию, Вогюэ признался в провале своих прогнозов. Он ожидал, что постановка «Власти тьмы» явится для натуралистов их Ватерлоо, на деле же оказалось, что она стала их Аустерлицем. «Спиритуалисты», засевшие в «Фигаро», находили, что «мужики Толстого удивительно похожи на мужиков из романа „Земля“» и что драма Толстого «возмутительна по грубому реализму». Правда, Вогюэ не соглашался с теми, кто уподоблял Золя Толстому, но тут же заявлял, что мысль и форму произведений русского писателя французам надо изучать вовсе «не для того, чтобы рабски подражать ему в том, что отзывается дикостью и грубостью при отсутствии искренности», «но для

---

[50] И. Яковлев. «Власть тьмы» перед парижским рабочим. «Новое время», 1888, № 4358, 16 (28) апреля, стр. 3.

того, чтобы вдохнуть молодую жизнь в изжитые формы нашей драмы».[51]

Постановка «Власти тьмы» нанесла непоправимый удар расчетам Вогюэ использовать творчество Толстого в целях групповой литературной борьбы. С этого времени пропагандистское рвение французского критика по отношению к великому русскому писателю резко ослабевает.

Ценный материал для уяснения вопроса о том, как воспринимался Толстой во Франции, дает статья Гюга Леру (Hugues Le Roux) о постановке «Власти тьмы». Принимая Толстого в целом и без особых оговорок, Леру противопоставляет его как французским натуралистам, так и декадентам. «Власть тьмы» интересует его прежде всего как выдающееся произведение русской литературы, отличительной чертой которой является высокая идейность. Произведения русской литературы являются «книгами борьбы», как говорит он. Борьбой наполнена и жизнь русских писателей, тогда как их французские собратья занимались бесплодными дискуссиями об эстетических тонкостях и только теперь увидели, что они «долгое время жили в часовне, подобно мандаринам, населяющим мертвый город, занесенный песком, что великая река жизни обогнула его бесплодные стены, что она оплодотворяет своим течением другие места».[52]

Писатель как исключительная личность, искусство как самодовлеющая ценность — такие ложные взгляды могли возникнуть, по мнению Леру, только в развращенной атмосфере царствования Луи Филиппа. «Великим желанием охвачены души молодых людей — выйти из своих часовен, вмешаться в схватку, сплотиться под знаменем, воевать с верой в душе за торжество чувства, дорогого для всей толпы. Мы жаждем чувствовать, как наши сердца бьются в унисон с массой других сердец, мы чувствуем над собой, в воздухе, столкновение идей, противником или поборником которых необходимо стать. Я изрекаю громкое слово: нас пожирает желание делать *полезное дело*».[53]

Кто такой Гюг Леру? Это был молодой, прогрессивно настроенный журналист и литератор. Его общественные симпатии в достаточной мере характеризуются тем, что он перевел в 1884 г. на французский язык «Подпольную

[51] «Revue des deux Mondes». 1888, 15 mars, p. 450.
[52] «Revue politique et littéraire», 1888, t. 41, № 7, p. 214.
[53] Там же, стр. 215.

Россию» Степняка. Нетрудно заметить, что взгляды Гюга Леру на русскую литературу существенно отличались, более того, были противоположны взглядам Вогюэ.

Независимость от Вогюэ в своих воззрениях на русскую литературу и Льва Толстого проявляли также и другие французские публицисты и литераторы. Оригинальный взгляд на Толстого был высказан уже в 1885 г. Эрнестом Дюпюи в его упомянутой выше книге. Рассматривая наряду с художественными произведениями «Исповедь» Толстого, критик увидел в ней выражение настроений «значительной части русской нации».[54] Этой «частью нации», по мнению критика, являлось русское крестьянство, недовольное материальными условиями своей жизни. Дюпюи полагал, что Россия находится накануне большого социального переворота, крестьянской революции.[55] Вместе с тем критик никак не мог понять, почему Толстой, представитель аристократии, выражает взгляды, естественным носителем которых является крестьянство.

Глубокий и объективный анализ художественных произведений Толстого был дан в 1889 г. известным французским критиком Эмилем Эннекеном в одном из его этюдов, вошедших затем в книгу «Ecrivains francisés» («Офранцуженные писатели»), посвященную творчеству Диккенса, Г. Гейне, Тургенева, Эдгара По, Достоевского и Льва Толстого. На фоне красноречивых, но неаргументированных заявлений Вогюэ и его последователей об иррациональной и мистической славянской душе этюд Эннекена о Толстом отличался ясностью рассуждений и доказательностью выводов.

Первой и основной чертой произведений Толстого Эннекен считал реалистичность содержания. Он ставил их в один ряд с произведениями Шекспира, Бальзака, Флобера, Золя. Но Толстой превосходит этих писателей необыкновенной широтой охвата жизненных явлений. Широта сочетается у писателя с глубоким проникновением в душевную жизнь героев и ему одному присущим способом изложения, всегда открывающим в обычных вещах что-то новое, необычное.

«Толстой принадлежит к числу самых великих писателей-творцов как по дару правдивого наблюдения, кото-

---

[54] Ernest Dupuy. Les grands maîtres de la littérature russe au XIX-me siècle. Paris, 1885, p. 246.

[55] Там же, стр. 354.

рое позволяет ему представить внутреннюю и внешнюю сторону своих персонажей гораздо точнее, оригинальнее и подробнее, чем это было у его предшественников, так и по бессознательному, быть может, но глубокому и удивительно ясному постижению двух важных особенностей всякой органической материи и всякого существования, а именно: избытка в проявлении ими жизненных сил и соблюдении ими же стойкого равновесия между тем, что подлежит в них изменению, и тем, что в них неизменно».[56]

Чрезвычайно интересны суждения Эннекена о несовместимости художественного метода Толстого с методом романтизма, об искусстве писателя достигать почти физической ощутимости образов, его способности изображать жизнь в вечном движении и пр.

Главные достоинства русской литературы, и особенно творчества Толстого и Достоевского, Эннекен находил в эстетике их романа, а не в присущих им религиозных тенденциях. Именно эстетике русского романа и предсказывал критик большой успех и влияние на французскую литературу.

Таким образом, в борьбе мнений, развернувшейся вокруг имени и творчества Толстого, книга Вогюэ о русском романе к концу 80-х годов утратила ореол непогрешимости. «Большинство из нас, в том числе и я, — писал Р. Роллан, — познакомились с книгой Эжена Мельхиора де Вогюэ „Русский роман" уж после того, как прочли Толстого, и его восхищение показалось нам бледным по сравнению с нашим».[57]

Если книга Вогюэ представляла собою попытку осознанной тенденциозной интерпретации облика Толстого, то во французской литературе было также немало искажений облика писателя, шедших со стороны искренних почитателей его учения, толстовцев. Французские «толстоисты», как и русские толстовцы, подхватывая слабые стороны в учении Толстого, как правило, низводили их до уровня самой реакционной поповщины. Уже в начале 90-х годов во Франции были изданы две солидные монографии Феликса Шредера («Толстоизм») и Жоржа Дюма («Толстой и философия любви»), пропагандировавшие учение Толстого с позиций ограниченной и реакцион-

---

[56] Emile H e n n e q u i n. Ecrivains francisés. Paris, 1889, p. 193.
[57] Р. Р о л л а н, Собрание сочинений, т. II, стр. 220.

ной буржуазной морали. Пропаганду толстоизма средствами художественной литературы сделали для себя специальностью также некоторые французские писатели (Эд. Род и др.).

Одновременно с заметным развитием «толстоизма» с начала 90-х годов возникает во Франции и националистическая реакция против русской литературы и творчества Льва Толстого. Немалое количество прежних поклонников русского писателя начинает заявлять о разрыве с ним. Одним из пионеров этого «движения» был критик Жан Онсэ. В 1890 г. он выступил со статьей «Понятие греха в русской литературе», в которой довольно путано говорил о различии, существующем между славянской и латинской расами, но в которой, впрочем, восторженно отзывался о Толстом. «Слишком старые литературы, — писал Онсэ, — переживают иногда периоды, когда, устав от поисков новых тайн, они, как Фауст, готовы принять от бога или от дьявола эликсир, который смог бы омолодить их».[58] Эликсиром молодости, по мнению Онсэ, обладала русская литература. Но буквально через четыре месяца в очередной статье Онсэ забил тревогу. «Русская литература, — заявлял он, — начинает проявлять свои тенденции; она не довольствуется изучением человека; она пытается исправить, излечить его; но русские лекарства заставляют морщиться французов, это темные лекарства. Неблагоразумно подсказывать философские аргументы для тех, которые мечтают о ниспровержении общественного строя... Лавренидус, русский нигилист, недавно осужденный во Франции, читал Толстого как раз во время изготовления динамита».[59]

В 1891 г. с резкими выпадами против «варварской литературы народов Севера» выступил Шарль Моррас, статья которого,[60] впрочем, не нашла большого числа сторонников. В 1894 г. со статьей, объявлявшей решительную борьбу против литературной «северомании», и в особенности против Толстого, выступил известный французский критик Жюль Леметр.[61] Статья последнего вызвала

---

[58] «Revue politique et littéraire», 1890, t. 45, № 21, p. 646.

[59] Там же, т. 46, № 14, стр. 438.

[60] Charles Maurras. Barbares et Romans. «La Plume», 1891, 1 juillet.

[61] Jules Lemaître. De l'influence récente des littératures du Nord. «Revue des deux Mondes», 1894, 15 décembre, pp. 847—872.

массу одобрительных откликов во французской периодической печати. К лагерю националистической реакции против «славянского духа» примкнули М. Баррес и другие видные французские писатели.

Критики, выступавшие против литературной «северомании», за исключением Жана Онсэ, не открывали истинных причин своего негодования, они предпочитали настаивать главным образом на тезисе о «несовместимости» русской культуры с культурой и эстетикой «латинских народов», однако общественно-политическая подоплека этих на первый взгляд чисто литературных споров была несомненна. Выступления против русской литературы и «русского влияния» были предопределены общеполитической реакцией, господствовавшей во Франции в последнее десятилетие прошлого века.

Если иметь в виду не русскую литературу XIX в. в целом, а только творчество Льва Толстого, то реакция против него в эти годы на Западе имела также и дополнительные причины: она возрастала по мере того, как усиливался в творчестве Толстого протест против капиталистического рабства, милитаризма и системы колониального разбоя. Так, например, уже в трактате «Так что же нам делать?» (1884) Толстой обличал американское правительство, пославшее вооруженные корабли для оккупации Полинезийских островов и установившее (вместе с английскими колонизаторами) режим жестокой эксплуатации и насилий над местным населением. Толстой продолжает эти обличения в статьях «Царство божие внутри нас», «Христианство и патриотизм» и др., сыгравших, несмотря на всю их противоречивость, большую исторически прогрессивную роль. Антиимпериалистические и антимилитаристские обличения русского писателя вызвали множество самых отрицательных отзывов на Западе. Так, помещая в 1893 г. отрывок из статьи «Царство божие внутри нас», французская газета «Le Figaro» предупреждала читателей, что она не разделяет ни одного из суждений Толстого о войне.[62]

В самом конце XIX в. во Франции возникает новая волна возмущения Львом Толстым, подготовленная усилиями символистов и декадентов. Формальным поводом для похода против русского писателя послужил его трак-

---

[62] «Le Figaro», 1893, 16 septembre.

тат «Что такое искусство?», французский перевод которого вышел в 1898 г. в Париже, выдержав в течение года четыре издания. Истинной причиной антитолстовских «беснований» в этот период были обличения писателя, направленные против буржуазной цивилизации эпохи ее упадка. В 1898 г. небезызвестный французский декадент и «маг» Сар Пеладан выпустил специальную книгу «Ответ Толстому», в которой подвергал беззастенчивому поруганию общественные и эстетические взгляды русского писателя. Называя трактат Толстого об искусстве памфлетом, Сар Пеладан брал под защиту искусство декаданса. Сочинитель «Ответа» увидел в творчестве Толстого покушение на «латинскую цивилизацию», совершаемое представителем народа сильного и растущего, но не имеющего культурных традиций и поэтому-де не способного понять и оценить сокровища европейской культуры. Наблюдая повсеместное увлечение русской литературой, французский автор призывал к самым решительным мерам борьбы с нею, и прежде всего с творчеством Льва Толстого. «Когда безумцы безоружны, их можно укротить, — заявлял Сар Пеладан. — Так давайте же отразим русское безрассудство, пока мы еще не услышали свистящего кнута и не увидели сверкающей казацкой пики над умирающим латинским гением».[63]

Позабыв о том, что он выступает от лица «высшей» цивилизации, Сар Пеладан написал книгу, попирающую элементарные правила научной полемики и наполненную самой разнузданной клеветой и злобными выпадами в адрес Льва Толстого и русской культуры вообще, книгу, демонстрировавшую не столько систему убеждений, сколько явную психическую неуравновешенность ее автора.

Настаивая на «несовместимости» творчества Льва Толстого с «латинским гением», националистически настроенные публицисты в то же время охотно распространяли версию о том, будто бы русская литература лишена подлинного национального своеобразия и что ее наиболее сильные притягательные свойства заимствованы у французов (у В. Гюго и Жорж Санд). Подобного рода версию имел в виду Октав Мирбо, посвящая в 1903 г. свою комедию «Les affaires sont les affaires» Льву Толстому. В по-

---

[63] Sar Peladan. La Décadence esthétique. Réponse à Tolstoï. Paris, 1898, p. 212.

священии Мирбо писал: «Некоторые надменные писатели моей родины, из них иные уже забыты, иные будут забыты завтра, находили, что вы многим обязаны Франции... А я говорю, что Франция сама вам во многом обязана. Вы сообщили новую жизнь вековому духу и как бы увеличили его восприимчивость. Вы первый научили нас искать жизнь в жизни, а не в книгах, как бы прекрасны они ни были. Вы научили нас угадывать за бесстрастной внешностью ропот и бурю, таящиеся во тьме вечно живой совести... Чувство меры и логики, даже в страсти — вот отличительные черты нашего, т. е. латинского, искусства. Это искусство скользит по поверхности; ему противно опускаться на дно бездны. Поэтому оно или не вполне правдиво, или совершенно лживо. Слава вам, нарушившему этот стройный порядок. Вы обогатили наследство, осветив ярким дневным светом правды искусство и открыв то, о чем будто бы „нельзя ни знать, ни говорить, ни видеть“».[64]

Призывы беснующихся реакционеров типа Сара Пеладана не могли, разумеется, даже в ничтожной мере воспрепятствовать распространению произведений Толстого во Франции. Приведем несколько цифр: первый французский перевод «Анны Карениной» с 1885 по 1911 г. выдержал двенадцать изданий, появлявшихся с регулярностью, исключающей всякое предположение об ослаблении интереса к книге; но, помимо первого перевода «Анны Карениной», во Франции только до 1911 г. появилось еще пять других переводов того же романа; «Война и мир» в переводе И. И. Паскевич за этот период времени выдержала пятнадцать изданий и появилась в четырех иных переводах; «Воскресение» за этот же период времени вышло в пяти различных переводах и т. д. Французский писатель А. Беранже имел все основания говорить в 1902 г. о «великой многодневной, могучей реке толстовских произведений».[65] С существованием и движением этой реки в той или иной мере решительно все должны были считаться.

---

[64] «Биржевые ведомости», 1903, № 339, 11 июля; перепечатано в «Новом времени», 1903, № 9824, 12 (25) июля. Отметим, что во французской печати названное посвящение Октава Мирбо могло появиться лишь в 1908 г. См.: Le Jubilé de Tolstoi. «La Petite République», 1908, № 11856, 10 septembre.

[65] «Русские ведомости», 1902, № 303, 2 ноября («Воскресение» Л. Н. Толстого на парижской сцене).

«Толстой, — писал Анатоль Франс, — учитель для всех нас во всем, что касается описания внешних проявлений характеров и скрытых движений души; он наш учитель по избытку и силе творческого дара, которыми одушевлено его творчество; он наш учитель по непогрешимому выбору обстоятельств, которые сообщают читателю ощущение бесконечной сложности жизни».[66] «Его сильная рука была мне поддержкой в духовном одиночестве на Западе», — заявлял Р. Роллан.[67] «Могучим аналитиком, глубоким психологом „Войны и мира“ и „Анны Карениной“» называл Толстого в 1891 г. Эмиль Золя.[68]

Мы не будем здесь продолжать перечня аналогичных признаний, который занял бы много места. Достаточно и приведенных выше, принадлежащих писателям, столь различным по возрасту и устремлениям, но стоящим близко друг к другу по принадлежности к культуре прогрессивного человечества, чтобы оценить то колоссальное воздействие, которое было оказано Львом Толстым на французскую литературу конца XIX в.

Того кипения страстей, с одной стороны, восхищения, а с другой — возмущения, которое вызывало творчество Толстого во Франции, не было ни в одной другой стране Западной Европы, хотя в каждой из них борьба за Толстого и вокруг его имени велась непрерывно, втягивая крупные силы общественного и литературного движения.

Одним из наиболее ранних истолкователей творчества Толстого в Англии был В. Рольстон, выступивший еще в 1879 г. со статьей «Романы графа Льва Толстого».[69] Эту небольшую и сугубо информационную статью нельзя, однако, отнести к числу лучших выступлений критика. Более значительным истолкователем Толстого был Мэтью Арнольд, напечатавший в 1887 г. в «Fortnightly Review» (december) статью «Граф Лев Толстой». Критик начинал ее с утверждения, что французский роман давно утратил свои высокие качества и что знаменитые английские романисты, уйдя из жизни, также не оставили после себя

---

[66] Anatole France. Un hommage. «L'Humanité», 1908, № 1606, 10 septembre, p. 1.

[67] Цит. по кн.: Л. П. Гроссман. Собеседник Толстого, М., 1928, стр. 99.

[68] См.: L. Tolstoi. L'argent et le travail. Adapté du russe, par. E. Halpérine-Kaminsky, préface par E. Zola. Paris, 1892, p. VII.

[69] W. Ralston. Count Leo Tolstoy's novels. «Nineteenth century», 1879, v. V, pp. 650—669.

преемников. На первое место в области романа выступает Россия. «В настоящее время приобрел славу русский роман, и он достоин этого. Если новые литературные произведения удержат эту славу и приумножат ее, нам всем придется изучать русский язык».

«Славянская натура или по крайней мере русская натура... — рассуждал далее критик, — отличается крайней впечатлительностью, крайне живым и обостренным сознанием того, что испытывает сама она лично, и того, что думают и чувствуют окружающие ее люди».[70]

Качества русской натуры, по мнению Арнольда, в высшей степени благоприятствуют созданию «высокой литературы» и «высокого искусства». Впечатлительность и чувствительность с полным беспристрастием применяются в русском романе для изображения человеческой жизни. «Таким образом, русский романист обладает магической властью, в силу которой перед ним свободно открываются тайны человеческой натуры, как внешние, так и внутренние, как жесты и манеры, так и мысли и чувства».[71]

Назвав Толстого одним из «великих русских романистов», Арнольд характеризовал крупнейшие его произведения, останавливаясь с особым вниманием на «Анне Карениной». Если «Мадам Бовари» Флобера и другие французские романы рассчитаны на то, чтобы возбуждать чувственность, то русскому романисту совершенно чужда эта особенность, хотя он и трактует о преступной любви и адюльтере. Вместе с тем роман Толстого отличается также «абсолютной искренностью и отсутствием всего сентиментального, надоевшего и фальшивого».

Несмотря на то, что М. Арнольд стремился подчеркнуть отличие метода Толстого от метода натуралистов, в эстетическом восприятии публики это противопоставление поддержки не получило. Составивший представление о русской литературе по романам Тургенева, средний английский читатель с некоторым недоверием относился к «Анне Карениной» и «Войне и миру», которые смущали его бесстрашным обнажением жизни. «Толстой предлагает нам нож и заставляет нас анатомировать свои образы, в то время как Тургенев поступает в этом отно-

---

[70] Matthew Arnold. Essays in criticism. Second series. London, 1888, pp. 254, 255.
[71] Там же, стр. 257.

шении как артист», — писал в 1887 г. журнал «Athenaeum».[72] Реалистический метод Толстого вызывал возражения даже у таких поклонников русской литературы (точнее, Тургенева), какими были Генри Джеймс и Джордж Мур. Эндрью Лэнг писал о «бессвязной расточительности, нагромождениях и отсутствии пропорций» в толстовских романах, а Джордж Сентсбери находил их «совсем непохожими на произведения искусства».

Однако в большинстве подобных определений чувство протеста сочеталось с глубоким интересом и восхищением художническим даром русского романиста.

Более принципиальными были возражения против романов Толстого со стороны блюстителей пуританской морали. Так, например, «Общество национальной безопасности» (National Vigilance Association») включило в 1886 г. «Анну Каренину» в список «непристойных» книг. Бурю возмущения в Англии вызвало в 1890 г. появление перевода «Крейцеровой сонаты», различного рода ограничениям подвергся этот перевод и в Соединенных Штатах Америки.[73]

Настороженностью против «грубостей» и «непристойностей» творчества Толстого следует, очевидно, объяснить и тот факт, что получившая общеевропейскую известность «Власть тьмы» вплоть до 1904 г. не удостоилась постановки на английской сцене.

В течение последних 15 лет прошлого века на английский язык были переведены все важнейшие художественные и почти все публицистические произведения Толстого. В 1898 г. в Лондоне было издано 9-томное собрание сочинений Толстого на английском языке.

С 90-х годов начинают появляться на английском языке крупные исследования о жизни, творчестве и учении Толстого (Ч. Тернера, Эйльмера Моода и др.). Английские «толстоисты» (Альберт Блэк, Джон Кенворти, Хэвлок Эллис и многие другие) делают попытки обезвредить обличительные элементы проповеди Толстого, интерпретируя его учение с позиций буржуазно-пуританского «здравого смысла».

В этих условиях видное значение приобрела деятельность революционного народника С. М. Степняка-Крав-

---

[72] «The Athenaeum», 1887, № 3125, p. 366.
[73] «Неделя», 1890, № 12, стр. 390.

чинского, организовавшего в 1890 г. в Лондоне «Общество друзей русской свободы», при котором с того же времени начал выходить на английском языке журнал «Free Russia» («Свободная Россия»). Как названное общество, так и журнал пропагандировали в Англии и Соединенных Штатах Америки русскую литературу и были тесно связаны с большим кругом английских литераторов, в том числе с такими, как Э.-Л. Войнич, супруги Э. и К. Гарнет, Бернард Шоу, Джон Голсуорси и др. С. М. Степняк-Кравчинский и его соратник по революционной деятельности Ф. В. Волховский немало сделали для того, чтобы дать передовой английской общественности правильные представления о русских писателях, в том числе и о Льве Толстом. В связи с этим укажем, что одно из лучших дореволюционных английских исследований о Толстом было написано членом «Общества друзей русской свободы» Г. Г. Перрисом.[74] Примечательно и то, что «Свободная Россия» публиковала на своих страницах как некоторые статьи Толстого, так и различные отзывы и заметки о нем.[75]

На одной из них, напечатанной в апрельском номере журнала за 1899 г. под заглавием «Царь и Лев Толстой», следует особо остановиться. Автором ее был Ф. В. Волховский, занимавший после смерти С. М. Степняка-Кравчинского (1895) пост издателя и редактора «Свободной России». История написания заметки «Царь и Лев Толстой» была такова. В начале 1899 г. в ряде английских газет было помещено сообщение о том, что Николай II, возвращаясь из Крыма в Петербург, будто бы устроил в Туле, на вокзале, официальный завтрак, на который был приглашен и Лев Толстой. Царь будто бы заинтересовался мнением писателя о предстоящей «мирной» конференции в Гааге, и тот одобрительно отозвался о внеш-

---

[74] G. H. Perris. Leo Tolstoi, the grand Mujik. A stady in personal evolution. With a prefatory note by F. Volkovsky. London, 1898.

[75] Из многочисленных материалов этого рода, напечатанных в «Свободной России», назовем здесь для примера лишь несколько: статью Толстого «A Terrible Probleme» («Страшный вопрос»; 1891, v. 2, № 12), статью И. Вовченко «A Russian view of Tolstoi» (1898, v. 9, № 10) и следующие три анонимные статьи: «L. Tolstoi on the Causes of famine» (1898, v. 9, № 11), «Leo Tolstoi in Danger» (1899, v. 10, № 1), «A Freethinker's reply to the Synod» (1900, v. 11, № 8).

ней политике России. В ответ на это Николай II выразил надежду, что Толстой своим гением окажет ему содействие в установлении мира в Европе.

Редакция «Свободной России» решила опровергнуть бросавшую тень на Толстого досужую фантазию буржуазной английской прессы. Об осуществлении своего замысла Ф. В. Волховский рассказывал в названной заметке следующее: «Сообщение это (о встрече царя с Львом Толстым, — *Ф. П.*) показалось нам с самого начала крайне недостоверным, и с целью его проверки мы обратились к великому писателю лично. Мы получили от него ответ буквально следующего содержания: „Относительно утверждения о моем интервью с Николаем II я могу только сказать, что ничего подобного никогда не происходило. Что же касается моего мнения о конференции, то я изложил его в письме моем к шведским гражданам“. Это письмо мы предполагаем напечатать в следующем номере. Издатель „Свободной России“».[76] Приведенное (в обратном переводе с английского) письмо Л. Н. Толстого в редакцию «Свободной России» в юбилейное собрание сочинений писателя не вошло, и в литературе о нем до сих пор не упоминалось. Несмотря на то что оно было опубликовано Волховским в несколько урезанном виде (в публикации письма по крайней мере отсутствуют обращение к адресату, подпись автора и дата написания), оно представляет для нас двойной интерес: как частица эпистолярного наследия Толстого и как документ, подтверждающий стремление «Общества друзей русской свободы» дать английскому читателю объективное представление об общественной позиции великого русского писателя. К письму в редакцию «Свободной России» Л. Н. Толстым, несомненно, была приложена также и копия его письма к группе шведской интеллигенции, английский перевод которого, кстати сказать, был напечатан в очередном номере журнала.[77]

В этом письме Толстой в качестве средства борьбы с милитаризмом выдвигал идею всеобщего отказа от воинской повинности, идею утопическую и глубоко ошибочную. Но основной пафос письма состоял в страстном

---

[76] «Free Russia», 1899, v. 10, № 4, p. 34.

[77] Там же, № 5, стр. 45—47 («Tolstoy's letter to the Swedes»); под письмом авторская дата: 23 января 1899 г.

разоблачении империалистической политики буржуазных правительств, в гневном протесте против разжигания шовинистических и милитаристских настроений, в чем заключалась сила как этого, так и других аналогичных выступлений писателя. В марте 1899 г. на просьбу газеты «New York World» сообщить о своем отношении к предстоящей мирной конференции Толстой ответил следующей телеграммой: «Гаагская мирная конференция есть только отвратительное проявление христианского лицемерия».[78]

Публицистические выступления Толстого, обличавшие не только русское самодержавие, но и государственный строй Англии, США и других капиталистических стран, нередко приводили к тому, что многие зарубежные «друзья» писателя среди иностранцев превращались в его непримиримых противников. Так, в 1900 г. английское буржуазное общественное мнение было сильно встревожено появившимися в русской печати сообщениями о том, что Толстой «желал найти в газете известие о победе буров».[79] Когда переводчик Эйльмер Моод, чтобы успокоить английскую прессу, попросил Толстого опровергнуть слух о его сочувствии бурам, писатель отказался сделать это. В написанной вскоре статье «Рабство нашего времени» Толстой резко осудил английских колонизаторов, развязавших войну с бурами. Не удивительно, что подобного рода выступления писателя вызвали сильное возмущение европейской и американской печати.[80]

Событием огромной важности для английской литературной и общественной жизни был вышедший в 1898 г. перевод трактата Толстого об искусстве. В течение только первых двух лет книга выдержала в Англии девять изданий. Английская пресса возбужденно полемизировала с Толстым. В защиту русского писателя от несправедливых упреков и обвинений выступил Бернард Шоу. По вопросам о значении и роли искусства у Шоу были также некоторые расхождения с Толстым, но он поддержал его в главном. «Напрасно, — писал Шоу, — мы будем

---

[78] Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. 72, М.—Л., 1933, стр. 117.

[79] Там же, стр. 289.

[80] См.: G. L. Calderon. The wrong Tolstoi. «Monthly review», 1901, v. III, № 2, pp. 129—141; ср.: Дионео (И. В. Шкловский). Иностранные известия. «Русские ведомости», 1908, № 205, 4 сентября.

в течение многих часов с видом превосходства доказывать, что воззрения Толстого нежизненны, фантастичны, короче говоря, сумасбродны. Мы все же не сможем избавиться от ощущения укола и встряски, вызванного его категорическим вызовом... Увы! Для того, кто одурачен всеми иллюзиями цивилизации, нет ничего проще, как заметить безрассудство провидца, разоблачающего эти иллюзии».[81]

Из приведенных выше примеров можно убедиться, насколько высокой активностью отличалось восприятие творчества Толстого в Англии. Воздействие, оказанное русским писателем на английскую литературу, также менее всего напоминало процесс пассивного усвоения его общественно-философских взглядов и эстетической системы.

В свое время (1912) английский исследователь Мидлтон Марри, изучая русское влияние на английскую литературу, пришел к следующему выводу: «Достоевский и Толстой взорвали роман» (имелся в виду английский роман).[82] Подобная мысль по отношению к жанру западноевропейского романа в целом высказывалась начиная с конца прошлого века неоднократно. Однако на вопрос о том, что же следовало за этим «взрывом», разные критики отвечали по-разному. Так, например, французский критик Теодор де Визева заявлял: «Русский роман, уничтожив французский натурализм, не заменил его ничем».[83] Мысль о том, что значение русского романа ограничивалось только его разрушительной ролью, повторяли и другие зарубежные критики. Мидлтон Марри, не разделяя этой мысли, полагал, что традиционная форма западноевропейского романа была разрушена русскими писателями «посредством открытия его (романа, — *Ф. П.*) огромных потенциальных возможностей».[84]

Нет единого мнения у зарубежных буржуазных литературоведов также и по вопросу о том, какой положительный вклад внесли русские писатели-классики XIX в.

---

[81] Цит. по изданию: A. Maude. Tolstoi on art and his critics. Oxford, 1925, pp. 4—5.

[82] Цит. по кн.: William C. Frierson. The English novel in transition, 1885—1940. Norman, 1942, p. 136.

[83] Théodor de Wyzewa. Ecrivains étrangers. Deuxième série. Paris, 1897, p. 175.

[84] W. C. Frierson. The English novel in transition..., p. 136.

в западноевропейскую литературу. В. Фрирсон отвечает на этот вопрос следующими словами: «Нет сомнений в том, что русские с их интересом к изменчивым состояниям души и борьбе чувств оказали могучее воздействие на английскую литературу и что они способствовали обращению ее к субъективизму и внутренней стороне человеческого сознания».[85]

Нет необходимости доказывать, что ответ этот не только односторонен, но и тенденциозен. Фрирсон не только игнорирует социальную роль русского романа, но и самый психологизм русских романистов сводит по сути к субъективизму.

Несколько по-иному отвечает на тот же вопрос, только поставленный применительно к одному Толстому, Джилберт Фелпс. «Нет сомнения в том, — пишет он, — что творчество Толстого оказало глубокое воздействие на само понимание художественного творчества. Роман почти до самого конца XIX века рассматривался в некоторых наших журналах как низшая форма развлечения, непригодная к тому, чтобы стать в один ряд с философией, или поэзией, или историей».[86]

Намечая правильный подход к решению вопроса, Фелпс все же не решается признать выдающуюся роль классиков русского художественного слова в развитии английской литературы, хотя и допускает ее возможность.

Ценные суждения о характере воздействия Толстого на английскую литературу конца XIX—начала XX в. были высказаны в свое время советским исследователем Э. П. Зиннером. По его мнению, английская литература конца прошлого века, дезориентированная сперва догмами натурализма, а затем теориями декадентов, утратила боевой, обличительный пафос. Именно наличие этого пафоса у великих русских романистов вообще, и прежде всего у Льва Толстого, привлекало к ним внимание и воодушевляло лучшие силы английской литературы конца XIX в. Эта мысль была превосходно проиллюстрирована исследователем на многих примерах, взятых из области истории английской драмы конца XIX—начала XX в.[87]

---

[85] Там же.

[86] Gilbert Phelps. The Russian Novel in English Fiction. London, 1950, p. 148.

[87] См.: Э. П. Зиннер. Л. Н. Толстой и английская реалистическая драма конца XIX-го и начала XX-го столетия. «Ученые за-

В ряде советских исследований последнего времени, особенно в солидном труде Т. Л. Мотылевой, эта мысль была неоднократно подтверждена новыми примерами и наблюдениями.[88]

В изучении англо-русских связей остается и до сих пор еще много невыясненных вопросов, однако уже теперь у нас не вызывает никаких сомнений, что и на романах Т. Гарди и Голсуорси, Гиссинга и Гоуэллса, и на пьесах Б. Шоу и Синга, как и на произведениях многих других писателей англо-американского мира, лежит печать толстовского гения.

Начало широкой известности творчества Льва Толстого в Германии и Австрии датируется 1885 г., когда вышли в свет немецкие переводы «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Первым истолкователем произведений русского писателя в Германии был Эуген Цабель. Изучением деятельности и творчества Толстого Цабель прилежно и вдумчиво занимался всю жизнь, напечатав не менее десятка работ на эту тему. Его первая статья о Толстом, опубликованная в начале 1885 г. в «National Zeitung», не отличалась оригинальностью суждений, материал ее во многом был взят из этюда Вогюэ, но Цабель, освободив статью от экзальтированности и тенденциозности французского критика, придал ей сугубо описательный и несколько педантический характер.

Этот же недостаток еще в большей степени был присущ и появившейся в 1885 г. статье о Толстом Юлиана Шмидта. Критику явно не импонировала самобытность автора «Войны и мира», и поэтому, настойчиво сравнивая Толстого с Тургеневым, он отдавал предпочтение последнему.

Догматизм и шаблонность суждений Шмидта, а отчасти и Цабеля, были подвергнуты основательной критике в статье А. Рейнгольда «Критические фантазии о русских беллетристах», напечатанной в 1885 г. в журнале «Magazin für die Literatur des In- und Auslandes» (№№ 32, 33). Саму постановку вопроса о том, кто из двух русских

писки Иркутского педагогического института», 1940, вып. V, стр. 43—67.

[88] См.: Т. Л. Мотылева. О мировом значении Л. Н. Толстого. М., 1957; см. также: Ф. Я. Прийма. Достоинства и промахи большого исследования. «Русская литература», 1958, № 4, стр. 223—228.

писателей выше или ниже, Рейнгольд считал неуместной, поскольку она лишила критиков возможности оценить Толстого как явление целостное и самостоятельное. «Толстой, — писал Рейнгольд, — открывает нам тайники человеческой мысли и чувства, раскрывает побуждения людских поступков, не выискивая идеального или романтического мотива, если он не представляется сам собой, и нисколько не желая морализировать. Он выставляет перед нами процесс индивидуальной и общественной жизни во всех ее фазисах».

Немецкая критика конца XIX в. не выдвинула таких заметных истолкователей творчества Льва Толстого, какими были во Франции Э. М. де Вогюэ, а в Англии Мэтью Арнольд. Однако уже в 80-е годы о творчестве Толстого писали в Германии также Пауль Эрнст, Отто Кеммель, О. Гейфельдер и многие другие критики. В 90-е годы начинает неутомимую и плодотворную деятельность в области популяризации и переводов произведений Л. Н. Толстого Р. Левенфельд.

Благонамеренных немецких читателей уже в 80-е годы беспокоили толки о революционности Толстого. В 1887 г. в журнале «Die Gegenwart» критик Вильгельм Графф успокаивал напуганных обывателей. «Нам нечего бояться толстовских идей, — заявлял он. — Являясь в наше время, покрытое мраком нигилизма и социализма, они только кажутся революционными и опасными; на деле же они не что иное, как применение к нашему времени и современным жизненным отношениям древних этических основных положений чистого христианства...».[89]

Для понимания характера борьбы вокруг Толстого в Германии ценный материал дает история постановки «Власти тьмы» на немецкой сцене.[90] Немецкий перевод драмы Толстого появился одновременно с первым французским переводом в 1887 г. и сразу же вызвал ряд откликов в немецкой печати.[91] Однако к постановке на сцене, как следует предполагать, пьеса не была допущена. Именно поэтому немецкая печать с живейшим интересом

---

[89] См.: «Новое время», 1887, № 4072, 2 (14) июля («Немцы о Л. Н. Толстом»).

[90] См.: L. Tolstoi. Die Macht der Finsterniss. Deutsch von A. Scholz. Berlin, 1887.

[91] См.: «Власть тьмы» перед судом немецких критиков. «День», 1887, № 21, стр. 828—832.

следила за постановкой драмы Толстого «Свободным театром» в Париже.[92]

В середине 1890 г. инициативу сценической постановки «Власти тьмы» взял на себя берлинский «Свободный театр», состоявший из актеров-любителей и издававший еженедельный журнал «Freie Bühne für modernes Leben». В конце 1890 г. пьеса была поставлена. Успех ее был полный. Журнал «Freie Bühne...» восхищался постановкой и автором, высказывая вместе с тем недовольство тем, что пьеса не попала на сцену более крупного театра. Обо всем этом мы узнаем из писем берлинского корреспондента газеты «Новое время».[93]

Молодежь, группировавшаяся вокруг «Свободного театра», состояла из приверженцев натурализма. Характерно, однако, что она преклонялась в равной мере как перед Золя, так и перед Львом Толстым. Заметим тут же, что со «Свободным театром» в то время был самым теснейшим образом связан Гергарт Гауптман.

В 1898 г. разрешение на постановку «Власти тьмы» получает мюнхенский театр,[94] а в 1900 г. «Немецкий театр» в Берлине.[95] Однако и в 1900 г. над драмой Толстого тяготел злой рок: она подверглась запрещению почти одновременно в Лейпциге и в Киле.[96]

Изложенная выше история и дала право Францу Мерингу заявить в 1900 г. о «тупой ограниченности цензуры, которая так долго преграждала доступ на немецкую сцену единственной или почти единственной драме великого русского поэта».[97]

[92] См.: Reyer. Zola und Tolstoi an den Pariser Bühnen. «Die Gegenwart», 1888, S. 23; E. Jagow. Von Tolstoi «Macht der Finsterniss» im Théâtre libre. «Magazin für die Literatur des In- und Ausland», 1888, № 14, SS. 214—216.

[93] См.: «Власть тьмы» на немецкой сцене (корреспонденция из Берлина). «Новое время», 1890, № 4993, 22 января (3 февраля); Граф Толстой на берлинской сцене (корреспонденция из Берлина). Там же, № 4995, 24 января (5 февраля); А. Е. Цензура в германской печати. Там же, № 5247, 7 (19) октября.

[94] «Власть тьмы» Л. Н. Толстого в Мюнхене. «Новый журнал иностранной литературы», 1898, № 3, стр. 354—361.

[95] В 1899 г. труппой берлинского «Немецкого театра» «Власть тьмы» была поставлена на венской сцене. См.: «Русские ведомости», 1899, № 207, 28 июля.

[96] Н. К. Сибиряк. Нападки на искусство. «Новое время», 1901, № 9003, 22 марта (4 апреля).

[97] Франц Меринг. Литературно-критические статьи, т. II. М.—Л., 1934, стр. 287.

Увлечение произведениями Толстого было характерно не только для театральной молодежи, группировавшейся вокруг «Свободного театра», но для немецких натуралистов в целом: реализм и идейная насыщенность творчества русского писателя для прогрессивных немецких литераторов, выступавших под знаменем «натурализма», служили опорой в борьбе с ограниченностью и отсталостью отечественной литературы. Творчество Толстого, как известно, вдохновляло такого видного представителя немецкого натурализма, каким был Арно Гольц.

Большей сложностью отличалось отношение к Льву Толстому у немецких и австрийских модернистов и символистов: наряду с восторженными (Артур Шницлер[98] и др.) мы наблюдаем здесь и более сдержанные (Гуго фон-Гофмансталь), а то и откровенно враждебные (Отто Юлиус Бирбаум)[99] отзывы о великом русском писателе.

С начала 90-х годов в немецкой публицистике и критике резко возрастает количество выступлений против «нигилистических» тенденций в учении Льва Толстого. В 1891 г. в роли охранителя европейского прогресса и нравственных устоев от «посягательств» Льва Толстого выступил третьестепенный немецкий поэт и драматург Фридрих Дукмейер. В брошюре, озаглавленной «Толстой, пророк или пугало?», этот бездарный писака с беспримерным цинизмом хулил великого писателя, называя его «пугалом интеллигентного человечества», «отравляющим нравственную атмосферу мира».[100]

В специальном листке, приложенном к брошюре Дукмейера, издатель разъяснял, что ее целью было обезвредить «тлетворное (verderbliche) влияние русского писателя на многие стороны нашего (т. е. немецкого, — *Ф. П.*) народного характера». Примечательно, что представитель идеологии юнкерства Дукмейер, сочиняя злостный и плоский памфлет, заимствовал отдельные его положения из русской печати, в частности из «Гражданина» кн. В. П. Мещерского.

---

[98] См.: Артур Шницлер. Письмо к редактору «Русских ведомостей». «Русские ведомости», 1908, № 199, 28 августа, стр. 2.

[99] Иностранные писатели о Толстом. «Речь», 1908, № 207, 30 августа.

[100] Friedrich Dukmeyer. Tolstoi, Prophet oder Popanz? Berlin, [1891], S. 31.

В 1892 г. вышла в свет знаменитая книга Макса Нордау «Вырождение», в которой целая глава была посвящена «толстоизму». Характерно, однако, что Макс Нордау, как и некоторые другие немецкие публицисты, отрицанием философии Толстого продемонстрировал прежде всего ограниченность собственного мировоззрения. Автор «Вырождения» критиковал не слабые стороны толстовского учения, а его разрушительную роль по отношению к буржуазному правопорядку. По мнению Нордау, «расплывчатый социализм» и «болезненная любовь к ближнему» Толстого получили в Германии довольно широкое распространение исключительно в силу недостатка «научных убеждений» и избытка «нервозной чувствительности» в среде простого народа.[101]

Парадоксальными мнениями, сопоставлениями и формулировками Макса Нордау пользовались многие последующие критики учения Толстого в Германии. Среди них следует упомянуть немецкого писателя Фридриха Шпильгагена, напечатавшего в 1895 г. в «Neues Winer Tageblatt» (№ 354, 25 декабря) «Открытое письмо к графу Льву Толстому».[102]

Распространение «толстоизма» в Германии начинается с конца 80-х годов. Так же как в Англии и Франции, немецкие «толстоисты» усваивали морализаторские и религиозные элементы в учении Толстого. В качестве одного из ранних проявлений «толстоизма», проникшего в немецкую публицистику, можно назвать статью Максимилиана Гардена «Тульский Назареянин», напечатанную в 1890 г. в журнале «Magazin für die Literatur des In-und Auslandes» (№ 21, 24 мая). В 1901 г. в Бреславле было учреждено толстовское общество «по распространению начал нравственного совершенствования в духе идей раннего христианства». Аналогичные общества возникали и в других городах Германии. Наиболее характерным выражением «толстоизма» в немецкой публицистике следует назвать книгу Эугена Шмитта «Лев Толстой и его значение для нашей культуры».[103]

---

[101] См.: Max Nordau. Entartung. Erster Band. 2-te Auflage. Berlin, 1893, SS. 275, 302—303.

[102] См.: Открытое письмо к графу Толстому Фридриха Шпильгагена. СПб., 1896, стр. 3—24.

[103] Eug. Schmitt. Leo Tolstoi und seine Bedeutung für unsere Kultur. Leipzig, 1901.

На протяжении последнего десятилетия XIX в. творчество Льва Толстого в Германии получило широчайшую известность. Достаточно сказать, что в 90-е годы, помимо огромного количества напечатанных отдельных произведений Толстого, в Германии вышли в свет три разных издания Собрания сочинений русского писателя. Ошеломляющим был успех романа «Воскресение», перевод которого до выхода его отдельной книгой печатался в ряде журналов и газет, в том числе и на страницах центрального органа германской социал-демократической партии газеты «Vorwärts».

В общественной и литературной жизни Германии конца века Толстой оставил глубокий и яркий след. С именем Толстого связано творчество Г. Гауптмана, Томаса и Генриха Маннов, А. Цвейга, Б. Келлермана, равно как и ряда других немецких писателей, боровшихся против милитаризма и национализма и в обстановке распада буржуазной культуры сохранявших верность лучшим традициям реалистического и демократического искусства.

Восприятие творчества Льва Толстого во Франции, Англии и Германии порождало массу всевозможнейших откликов, нередко перераставших национальные и государственные границы. Большим, всеевропейским резонансом характеризовалось усвоение наследия Толстого во Франции. Достаточно будет сказать, что драма «Власть тьмы», поставленная в 1888 г. театром Антуана в Париже, вскоре после этого получила сценическое воплощение в Брюсселе, Берлине, Женеве, Амстердаме, Риме, Венеции, Генуе и, таким образом, прочно вошла в международный театральный репертуар. Большой географической протяженности достигал резонанс, возникавший в связи с появлением переводов Толстого и отзывов о нем в Англии. Толстой в английских переводах и английской интерпретации проникал не только в Соединенные Штаты Америки, но и в различные другие места земного шара, где английский язык был языком культурного обихода. Произведения Толстого на немецком языке были хорошо известны, скажем, в скандинавских странах. Посредническая роль Франции, Англии и Германии отнюдь не исключала, разумеется, наличия в каждой из зарубежных стран собственного, нередко довольно своеобразного восприятия творчества великого русского писателя. Вместе

с тем всюду, куда бы ни проникало творчество Толстого, оно становилось мощным фактором в развитии общественного и литературного движения, предметом острых и напряженных общественно-политических и эстетических споров и борьбы. В 90-е годы прошлого века во всех странах Европы, Северной, а отчасти и Южной Америки Лев Толстой был уже общепризнанным и интенсивно читаемым классиком художественного слова. Произведения Толстого являлись для зарубежного читателя не только образцами высокого искусства, но и открывали Россию, новый, незнакомый мир. Вслед за «Записками охотника» и романами Тургенева, но с гораздо большей, чем они, полнотой и силой, произведения Толстого раскрывали перед иностранным читателем душу простого русского человека, рельефно изображали обстоятельства жизни русского народа и богатство таящихся в нем возможностей и духовных сил.

Приблизительно на грани XIX и XX столетий заканчивается начальный период в освоении мировой литературой творчества Льва Толстого. Новый период этого процесса будет продолжаться до Великой Октябрьской революции.

В начале XX в., особенно после русской революции 1905 г., известность Толстого, проникнув в Китай, Индию, Египет и другие страны азиатского и африканского континентов, становится в подлинном смысле слова всемирной.

Последнее десятилетие жизни Толстого характеризовалось усилением деятельности его как проповедника, и отчасти поэтому сильно возрастает в этот период внимание к нему мировой общественности. Печать всего мира напряженно следила за любым выступлением и высказыванием Толстого.

Все возраставшее с начала XX в. развитие «толстоизма» в различных странах Европы, Америки и Азии тормозило процесс самоопределения демократических сил и вредило делу освободительной борьбы. Но проповедь Толстого, как указывал В. И. Ленин, имела и свою сильную, обличительную сторону, прогрессивно воздействовавшую на борьбу мировой демократии против сил империализма и колониализма.

И сама деятельность Толстого, и в какой-то мере даже те слухи, которые распространяла о нем буржуазная

печать, не раз давали западноевропейским публицистам и критикам повод заявлять о том, что Толстой-проповедник затмил Толстого-художника. Этот вывод далек от истины. Статистика изданий сочинений Толстого подтверждает, что зарубежного читателя всегда интересовали прежде всего художественные произведения писателя. В этом же мнении утверждают нас и многочисленные признания зарубежных читателей Толстого. «Если бы меня спросили, — заявлял в 1902 г. французский историк литературы Андре ле Бретон, — какой стороной гения Толстого я восхищаюсь всего более, я ответил бы: его могучей властью давать жизнь рисуемым им фигурам, способностью, которою ни один человек не обладал в такой степени, как он, кроме, может быть, Шекспира и Сен-Симона».[104]

«Нерусская Европа, — писала в 1908 г. «Neue Freie Presse», — видит в Толстом прежде всего поэта, бесподобного знатока русского человека и русской природы, тонкого психолога, проникающего в глубочайшие глубины, писателя, достигающего чудеснейших эффектов при помощи самых простых приемов».[105]

Полный перечень подобного рода заявлений вышел бы очень пространным. Но если значение Толстого-художника было столь огромно даже в начале XX в., то тем более было бесспорно оно в период, непосредственно нас интересующий, в 80—90-е годы прошлого века.

Никогда не снижавшийся авторитет Толстого-художника, могучего и беспощадного реалиста, имел огромное отрезвляющее и оздоровляющее воздействие на мировую литературу конца XIX—начала XX столетия, подверженную разлагающему влиянию декадентских направлений и веяний.

Вместе с тем не следует забывать, что для известной части буржуазных критиков восхваление Толстого как художника за счет принижения его как проповедника служило лишь завуалированной формой протеста против толстовского демократизма и его метода «срывания всех и всяческих масок». Э. М. де Вогюэ всегда называл себя поклонником художественного творчества Толстого и про-

---

[104] A. le Breton. La Pitié social dans le roman; l'auteur des Misérables et l'auteur de Résurrection. «Revue des deux Mondes», 1902, 15 février, pp. 900—901.

[105] См.: «Южный край», 1908, № 9476, 2 сентября.

тивником его проповеди. Но в действительности Вогюэ вменял Толстому в вину не теорию «непротивления злу» и не религиозное проповедничество, а его «рудиментарный социализм»[106] и, как это ни странно, «отрицание спасительной силы религии».[107] Именно с таких идеалистических и отнюдь не прогрессивных позиций обращался в 1908 г. Вогюэ к Толстому с призывом возвратиться к художественной деятельности.[108] Представители лагеря реакции нередко цеплялись за Толстого-художника только потому, что им претили как раз сильные стороны в проповеди Толстого. «Гений Толстого как писателя неоспорим, — писала французская реакционная газета «Autorité», — и мы почитаем за честь приветствовать его как такового по случаю его 80-летнего юбилея. Но, увы, тем глубже и ужаснее будет влияние его как философа-учителя, насадителя разрушительных теорий!.. Жан-Жак Руссо своей чувствительно-слащавой философией довел Францию до ужасов 1793 года. Дай бог, чтобы доктрина изобретенной Толстым любви не разразилась над Россией столь же трагическими последствиями!».[109]

Подобного рода искусственное противопоставление Толстого-художника Толстому-проповеднику было чуждо и Р. Роллану, и А. Франсу, и Роже Мартену дю Гару, и Т. Манну, и другим представителям подлинно демократической культуры Запада. Они никогда не приходили «в ужас» от проповеди Толстого, хотя и относились к «толстоизму» критически.

Воздействие художественного творчества и проповеди Толстого на мировую общественную мысль и мировое литературное движение, как видно из сказанного выше, отличалось исключительной сложностью, вызванной прежде всего противоречивостью мировоззрения великого писателя.

Будучи бессильно разобраться в противоречиях мировоззрения Толстого и в характере борьбы вокруг его наследия на Западе, дореволюционное буржуазное литературоведение, как русское, так и зарубежное, не дало ни одной сколько-нибудь удачной попытки изучения про-

---

[106] См.: «Revue des deux Mondes», 1888, 15 mars, p. 428.

[107] См.: «Русское обозрение», 1890, т. VI, № 12, стр. 525—526.

[108] См.: E. M. de V o g ü é. Le Jubilé de Tolstoi. «Le Figaro», 1908, 29 septembre.

[109] «Autorité», 1908, № 296, 22 octobre.

блемы мирового значения автора «Войны и мира». По традиции, восходящей к работам Вогюэ, и русские, и западноевропейские историки литературы (З. А. Венгерова, А. Г. Горнфельд, Ф. Брюнетьер, Э. Фаге и многие другие) столь же настойчиво, сколь и безнадежно стремились установить преемственную связь между великим наследием Толстого и декадентскими направлениями в литературе и искусстве Запада. С аналогичных глубоко ошибочных позиций подходит к изучению проблемы мирового значения Толстого также и западноевропейское буржуазное литературоведение в нашу эпоху. Предавая забвению Толстого-реалиста и обличителя, буржуазные публицисты и литературоведы охотно занимались и занимаются изучением религиозного проповедничества Толстого, зачисляя при этом в список продолжателей его литературного наследия таких писателей, как Эдуард Род и Поль Бурже, Марсель Пруст и Джеймс Джойс, творчество которых не имеет ничего общего ни с эстетикой, ни с гуманизмом гениального русского писателя. Этим недостатком заметно грешат даже лучшие работы о русской литературе и Толстом, появившиеся на Западе в последнее десятилетие (работы Ф. Хеммингса, Т. С. Линдстром и др.).

Только марксистско-ленинская методология может обеспечить вполне объективное и плодотворное, свободное от предвзятых мнений и ошибочных тенденций изучение того огромного вклада, который внесло творчество Льва Толстого в «художественное развитие всего человечества».

*Лев Толстой и Эмиль Золя**

Распространение русского романа на Западе знаменует целую эпоху для европейской цивилизации: оно преобразовало, особенно во Франции, искусство и литературу. «Реализм, натурализм — эти слова для французских писателей были равносильны понятиям пессимизм, ирония, сухость. Доброта, идеализм высмеивались, как остатки романтической заразы. Русские нам открыли или, если хотите, научили нас снова тому, что можно быть правдивым, точным и близким к жизни, что можно быть даже более правдивым, более точным и более близким к жизни, будучи милосердным, мягкосердечным и, чтобы сказать все, человечным».[1]

Так писал известный французский ученый, один из «патриархов» французской литературной науки, Гюстав Лансон. У многих французских критиков этой эпохи мы найдем восторженные признания необычайной ценности русской литературы, ее высокого гуманизма и того громадного значения, какое имела она для развития не только французской литературы, но и литературы мировой и вместе с тем для нравственного развития человечества.

Здесь мы остановимся лишь на одном эпизоде из истории этого решающего и благотворного влияния. Речь будет идти о влиянии Льва Толстого на одного из круп-

---

* Статья первоначально опубликована в «Ученых записках Ленинградского государственного педагогического института им. А. И. Герцена», т. 48, 1946, стр. 149—186.

[1] Gustave Lanson. Culture allemande et Humanité russe. Paris, 1915, p. 30.

нейших европейских писателей последней трети XIX в. Эмиля Золя.

С самого начала литературной деятельности Золя проявлял интерес ко всему, что имело отношение к России. В 1882 г., узнав от своего знакомого Теодора Дюре, что тот собирается ехать в Россию, Золя писал ему: «Так как Россия удивляет и волнует вас, я очень рассчитываю на то, что вы мне расскажете о ней обстоятельно по вашем возвращении».[2] Интерес Золя к России был продолжительным и глубоким и отнюдь не являлся простым выражением благодарности стране, «усыновившей» его в самый трудный период его литературной деятельности. Интерес к России у Золя был тесно связан с интересом к русской литературе. М. К. Клеман в работе о Золе показал, какая значительная помощь в работе над «Жерминалем» была оказана французскому писателю Тургеневым и как влияло творчество последнего на образы этого романа.[3]

Статья М. П. Алексеева «Эмиль Золя и Н. Г. Чернышевский» [4] освещает не менее любопытный эпизод в творческой истории главы французского натурализма — влияние «Что делать?» Чернышевского на «Дамское счастье» Золя. Еще в 1880 г. по совету Тургенева Золя прочитал в переводе «Войну и Мир» и оценил роман Толстого как «очень хороший». Но если знакомство Золя с творчеством Тургенева и Толстого вытекало, так сказать, из дружеских взаимоотношений Золя с Тургеневым, то обращение Золя к роману Чернышевского свидетельствует уже о серьезном интересе его к русской литературе в целом.

Первоначальный интерес Золя к творчеству Толстого, как подтверждают воспоминания Е. Семенова,[5] был необычайно велик. Представление о Толстом-писателе сложилось у Золя, как, впрочем, и у Додэ и Мопассана, под сильным влиянием Тургенева. Но не изменилось ли это представление в связи с выходом в свет книги о русском романе Э. М. Вогюэ?

---

[2] E. Zola, Les oeuvres complètes, Correspondance, Paris, s. a., p. 590.

[3] См.: М. К. Клеман. Эмиль Золя. Л., 1934, стр. 142—188 (глава «О Жерминале» Эмиля Золя).

[4] М. П. Алексеев. Эмиль Золя и Н. Г. Чернышевский. «Известия АН СССР, Отделение литературы и языка», 1940, № 2, стр. 93—102.

[5] См.: «Mercure de France», 1928, 15 septembre, p. 720.

Деятельное участие Золя в постановке «Власти тьмы» на сцене «Свободного театра» в начале 1888 г. как будто говорит о том, что и после того как Вогюэ открыл кампанию против натурализма, Золя не изменил отношения к Толстому. Следует предполагать, однако, что нескончаемые противопоставления Толстого Золя, необыкновенный успех русского романа и в какой-то степени связанный с ним отход молодых писателей-натуралистов от своего вождя, использование, наконец, имени Толстого в целях откровенно идеалистической пропаганды — все это не могло не раздражать Золя.

В русской и иностранной прессе 90-х годов неоднократно появлялись сообщения о резких выпадах Золя против Толстого. Так, например, автор одной немецкой статьи о «Послесловии» к «Крейцеровой сонате» Нейман-Гоффер не забыл сообщить более чем непочтительное мнение Золя не только о «Крейцеровой сонате», но и о ее авторе. Согласно сообщению Неймана-Гоффера, Золя сказал о Толстом, что тот имеет «маленькую трещину в голове» («une petite fêlure à la tête»).[6] Вогюэ в статье о «Крейцеровой сонате» приводит заявление Золя, сделанное им корреспонденту одной чикагской газеты. «У меня, — говорил Золя, — нет симпатии к тем, кто хочет заставить французских читателей восхищаться Толстым. Толстой был орудием в их руках, орудием, которым пользовались против нас, мы были париями, которых надо было истребить во что бы то ни стало».[7] По мнению Золя, Вогюэ, пользуясь поддержкой Академии, «Revue des deux Mondes» и «спиритуалистической школы», видел в Толстом «молот», посредством которого ему удастся «раздавить» натурализм.

Золя заявлял далее американскому корреспонденту, что все попытки навязать «латинскому» духу творения графа Толстого потерпели крушение. Знаменитый французский романист намеренно умалял достоинства русского писателя. «Вместо того чтобы быть творческим гением, Толстой только отражал реализм наших произведений. Он следовал по тому пути, который мы проложили. Он — русский последователь французской школы, которая уви-

---

[6] «Magazin für Literatur», 1890, № 40, S. 625.

[7] Э.-М. де Вогюэ. По поводу «Крейцеровой сонаты». «Русское обозрение», 1890, т. VI, № 12, стр. 512.

дела свет в 1848 г. Тогда начинается движение христианской демократии. Наши писатели и наши ораторы потребовали себе Христа как брата, они сделали из него прототип христианского демократа, они нашли в Священном Писании основание социального устройства, которого мир жаждал столько веков. Во Франции мечта эта длилась недолго; Толстой продолжал ее в России. Его идеи были идеями клубных ораторов, их теории — его теориями, его выводы те же самые, только с той разницей, что они были перенесены на другую почву».[8]

И Нейман-Гоффер, и Вогюэ в своих статьях ссылались, очевидно, на отчет о беседе с Золя репортера «New Jork Herald», посетившего в 1890 г. Медан главным образом с целью узнать мнение главы французских натуралистов о «Крейцеровой сонате». Краткое сообщение газеты «Новое время» о беседе американского корреспондента с Золя полностью совпадает с показаниями Неймана и Вогюэ. Как сообщало «Новое время», о «Крейцеровой сонате» Золя сказал: «Это кошмар больного воображения. Как только я прочел ее, я ни малейше не усомнился, что у автора ее есть какая-то трещина в голове». «Новое время» приводило также слова Золя, которых не было у Вогюэ, слова, несколько возвышающие Толстого. «Во всяком случае, — сказал Золя, — я не отрицаю крупных достоинств Толстого. Я утверждаю только, что идеи, которые приписываются ему, — французские. Он их перенес в Россию, и вся его заслуга заключается в том, что он придал им характер своей страны и своей индивидуальности».[9]

Газета «Русские ведомости» за 1891 г. напечатала содержание новой беседы Золя с одним американским журналистом. И на этот раз беседа вращалась преимущественно вокруг русского романа и Толстого.

Золя говорил о «торжестве» натурализма и о происках его врагов. Он утверждал, что враги натурализма начали вначале переводить и популяризировать романы Джордж Элиот с целью вызвать реакцию в пользу идеалистического направления. Но романы Элиот не пришлись по вкусу французским читателям. Тогда обратились к рус-

---

[8] Там же, стр. 513.

[9] Эмиль Золя и граф Л. Н. Толстой. «Новое время», 1890, № 5198, 19 (31) августа.

ским писателям, и эта попытка увенчалась успехом. «Благодаря ей, — сказал Золя, — нам сделались доступны две-три действительно замечательных произведения».[10] Касаясь вопроса о влиянии русской литературы на французскую, Золя утверждал: «Только об одном Бурже можно сказать, что его талант испытал на себе ее влияние, да и это еще может быть подвергнуто сомнению».[11]

В 1893 г. газета «Новости» поместила письмо своего парижского корреспондента И. М-ва, посетившего Золя. И. М-в приводит следующие слова французского писателя: «Мне думается, что необходимо создать новую религию, основанную на вере в жизнь и труд, в основу которой войдет социализм... Неужели вы, например, не замечаете, что в настоящее время все, в особенности молодежь, ищут новой опоры, т. е. новой религии?».[12]

Как и следовало ожидать, беседа Золя с корреспондентом русской газеты сразу же перешла на Льва Толстого. «На днях, — сказал Золя, — у меня был г. Smith — сосед (?) Льва Толстого. Он привез мне привет от вашего романиста. А знаете ли вы, что я не поклонник Толстого с тех пор, как он бросился в мистицизм? Я даже намеревался начать на страницах „Figaro" кампанию против него... В его идеях я не вижу ничего нового, индивидуального. Все это повторение идей наших писателей 1848 года. Вообще, простите меня, но я не особенно увлекаюсь вашими писателями. Так, Достоевский, по моему мнению, является подражанием Сю. Конечно, в его произведениях виден славянский гений (le génie slave), но главное, так сказать, вся суть взята у Сю, Бальзака и Жорж Санд».

Достоверность приведенных выше высказываний Золя о Толстом в отдельных пунктах может быть подвергнута сомнению; корреспонденты не всегда могли передать слова писателя с абсолютной точностью; сам Золя в отдельных случаях мог выразиться преувеличенно. Но общий смысл цитированных корреспонденций соответствует

---

[10] Цит. по ст. Н. К. Михайловского «О драме Доде, о романе Бурже и о том, кто виноват» (Н. К. Михайловский, Сочинения, т. VI, СПб., 1897, стр. 675).

[11] Там же. Очевидно, отчет об этой беседе Золя с американским корреспондентом помещен в кн. «Недели» за 1892 г., № 2 (статья «Из литературного мира»).

[12] И. М-в. Три часа у Золя. «Новости», 1893, № 242.

тому, что говорил о Толстом Золя, в этом нельзя сомневаться. Впрочем, о Золя как судье Толстого у нас есть несколько вполне достоверных документов.

Первый из них по времени — предисловие, написанное Золя к адаптированному переводу «Так что же нам делать?», переводу, сделанному Гальпериным-Каминским.[13] Впоследствии мы остановимся на этом предисловии подробнее; сейчас скажем только, что в нем Золя, подвергая учение Толстого весьма осторожной критике, воздает хвалу художественному таланту «мощного аналитика, глубокого психолога „Войны и мира" и „Анны Карениной"».

Такую же весьма умеренную критику взглядов Толстого, высказанных им в статье о вине и табаке, содержит письмо Э. Золя к Гальперину-Каминскому от 23 июня 1891 г.[14]

В 1893 г. Толстой и Золя, не встречаясь друг с другом, приняли участие в своеобразном диспуте, который привлек внимание европейской и американской прессы. Диспут этот начался с того, что на банкете Всеобщей ассоциации студенчества Золя произнес речь, направленную против увлечений учащейся молодежи мистицизмом и «доблестями невежества».

Л. Е. Оболенский в статье, посвященной спору Золя с Толстым, без достаточных на то оснований утверждал, что названная речь французского писателя была направлена против Толстого.[15] Речь Золя произвела сильное впечатление во Франции. На нее тотчас же откликнулся большим письмом в редакцию «Gaulois» Александр Дюма-сын. Редактор «Revue des Revues» поспешил отправить Толстому в виде газетных вырезок речь Золя и письмо Дюма-сына. Ответом Толстого на упомянутую речь явилась статья «Неделание».

Острие речи Золя было направлено против идеалистической реакции, готовой восторжествовать во всех областях духовной жизни, — и в этом известная заслуга выступления писателя.

---

[13] L. Tolstoi. L'argent et le travail; adapté du russe par E. Halpérine-Kaminsky, préface par E. Zola. Paris, 1892.

[14] E. Zola, Les oeuvres complètes..., p. 733.

[15] «Читатели видят, в чей огород бросил свой камень Золя; дело идет, очевидно, о Л. Н. Толстом. И наш романист поднял брошенный ему вызов» (Л. Е. Оболенский. По поводу спора Э. Золя и Л. Н. Толстого. «Новости», 1893, № 303).

«Нас уверяют, — говорил он, — что ваше поколение разрывает с нашим, что вы не полагаете уже всю вашу надежду в науке, что вы признали также социальную и нравственную опасность в том, чтобы все строить на науке, что вы решились возвратиться к прошедшему и из остатков прежних верований создать для себя живое верование» (стр. 109).[16]

Нападая на идеализм, Золя не забывал рассчитаться заодно со всеми своими противниками: «Я слышу постоянные толки о том, что позитивизм кончается в предсмертных муках, что натурализм умер, что наука обанкротится, того и гляди, потому что не дала нравственного мира и счастия людям, которые обещала» (стр. 108).

Указывая на реакцию против позитивизма и натурализма, захватившую все области искусства и проявления духа, Золя высказывал твердую уверенность в том, что натурализм не умер и не может умереть, как не может умереть и наука. «Остановки, собственно, нет, потому что наши библиотеки, лаборатории, амфитеатры и школы не опустели. Внушает мне доверие и то, что социальная почва не изменилась, а остается все той же демократической почвой, на которой вырос наш век» (стр. 111).

Не питая никакого доверия к химерам и легендам, Золя призывал молодежь к единственной, на его взгляд, необходимой человеку вере — вере в труд, в этот «единственный регулятор, который влечет органическую материю к ее известной цели» (стр. 112). В идеализации труда, взятого в самом общем и неопределенном смысле, как пределе мечтаний для человека, живущего в буржуазном обществе, автор доходил до смешных утверждений: «Я знаю, что есть умы, мучимые бесконечностью, которые страдают от тайны: к ним я братски обращаюсь, советую им занять свою жизнь каким-нибудь огромным трудом, которого, хорошо бы было, они не видели конца» (стр. 112).

Достойно внимания, что свой ответ Золя Толстой начинает с установления различий между своими взглядами и взглядами столпов французской идеалистической реакции, против которых поднял голос автор «Ругон-Макка-

---

[16] Здесь, как и в дальнейшем, в скобках указаны страницы XVIII т. Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого под ред. П. И. Бирюкова (М., 1913), где была помещена статья Толстого «Неделание» со включенной в нее речью Эмиля Золя.

ров». «Г-н Золя не одобряет того, что новые учители молодежи предлагают ей верить во что-то неопределенное и неясное, и он совершенно прав в этом, но, к сожалению, со своей стороны предлагает ей тоже веру, и веру в нечто еще более неясное и неопределенное: веру в науку и труд» (стр. 113).

С точки зрения Толстого, только муравей в басне мог думать, что труд — добродетель. Труд сам по себе не изменяет к лучшему социального устройства, он ведет только к нагромождению несправедливостей и к образованию новых видов зла.

Банкир, возвращаясь с биржи, фабрикант — из своего заведения, где тысячи людей губят свои жизни над работой зеркал, табаку, водки, занимаются трудом, — рассуждает Толстой. То, что в общежитии называется трудом, при внимательном рассмотрении в отдельных случаях является настоящим преступлением.

Толстой полагал, что благо как отдельного человека, так и общества в целом заключается не в трудовой деятельности, как ее понимает Золя, а в нравственном усовершенствовании. Он присоединялся в своей статье к взгляду китайского философа Лао-цзы, считавшего, что люди избавились бы от всех бедствий, если бы они соблюдали *неделание*, так как все бедствия происходят оттого, что люди делают то, чего не нужно делать.

В статье «Неделание» Толстой обнаружил всю силу и слабость своих взглядов. Страстный полемический тон статьи заставил Толстого впасть в противоречие даже с собственными воззрениями, в особенности со взглядами на роль науки и труда, высказанными им ранее. Выводы статьи были необычайно оригинальны. Это была та оригинальность, о которой говорил Ленин: «Толстой оригинален, ибо совокупность его взглядов, взятых как целое, выражает как раз особенности нашей революции, как *крестьянской* буржуазной революции. Противоречия во взглядах Толстого, с этой точки зрения, — действительное зеркало тех противоречивых условий, в которые поставлена была историческая деятельность крестьянства в нашей революции».[17]

Но то, что Толстой являлся выразителем настроений и взглядов миллионов русского патриархального крестья-

---

[17] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 17, стр. 210.

янства накануне буржуазной революции, составляло не только слабость, но и силу, величие Толстого. «Мужицкая» сущность взглядов Толстого давала ему некоторые преимущества перед взглядами Золя вообще, эти преимущества были обнаружены и в споре Толстого с Золя.

Толстой прекрасно понимал буржуазную природу и позитивизма, в защиту которого выступал Золя, и идеализма, против которого его выступление было направлено.

«Вся речь г-на Золя, — говорил Толстой, — направлена против учителей молодежи, призывающих ее к возвращению к отжившим верованиям, и г-н Золя считает себя их противником. В сущности же те, против которых он вооружается, т. е. верующие или, скорее, желающие верить в отжившую религию, и те, за которых борется г-н Золя, т. е. представители науки, — люди одного лагеря, и если им разобраться хорошенько в своих стремлениях, то им спорить не о чем, querelles d'amoureux, как говорит Дюма» (стр. 115).

«Разница между людьми, верующими в религию и науку, только та, что одни верят в старую мудрость, ложь которой уже развенчана, а другие — в новую, ложь которой еще не развенчана и которая поэтому еще внушает благоговейный трепет некоторым наивным людям» (стр. 116).

В другом месте статьи Толстой прямо причисляет «Золя и его мнимых противников» к тем, «которые под предлогом медленного и постепенного прогресса желают удержать существующий порядок» (стр. 129).

Спор между Толстым и Золя не был прекращен написанием статьи «Неделание». Он был продолжен при посредстве приехавшего в Москву Гальперина-Каминского, который, как видно, познакомил Толстого с ответом Золя на статью «Неделание» и получил от Толстого некоторые уточнения к высказанным им в названной статье взглядам. Весь этот материал вместе с полученными дополнительно от Золя замечаниями Гальперин-Каминский опубликовал в газете «Le Journal» (27 июня 1894 г.).[18]

Статья «Неделание» в скором времени стала известна во Франции, вызывая недоумение французских критиков. Эмиль Фаге в статье «Толстой и Золя», написанной

---

[18] См.: L. Tolstoi. Zola—Dumas—Guy de Maupassant, trad. par Halpérine-Kaminsky. Paris, 1896, Appendice.

в шутливом тоне, рассматривал Толстого как эксцентрика, потерявшего остатки здравого смысла.[19]

Прочитав статью Толстого, через посредство Гальперина-Каминского Золя обратился к русскому писателю и мыслителю с рядом вопросов. Какой труд считает тот бесцельным и вредным, всякий труд или только умственный? Но если Толстой признает полезность только ручного труда, то где же разница между трудом физическим и интеллектуальным, ведь даже для изготовления сапог необходима затрата умственной энергии?

Называя взгляды Толстого чистой химерой, Золя заканчивал свой ответ на статью «Неделание» следующими словами: «Когда я вижу, как человек такого громадного и реального таланта тратит свой дар на мечты, заставляющие нас сожалеть о живописном и прозрачном стиле романов, которым он обязан своей подлинной славой, я не могу не вспомнить о том замечательном письме, которое написал ему Тургенев на своем смертном одре».[20]

Основная мысль уточнений к статье, которые дал Гальперину-Каминскому Толстой, сводилась к следующему: «Я хочу, чтобы люди перестали рассматривать, как незыблемый, порядок вещей, в котором мы живем, и чтобы они прониклись сознанием его безнравственности».[21]

Заключительные замечания Золя показывают, что он понял мужицкую сущность взглядов Толстого.

«Толстой, — писал французский автор, — отправляется от принципа, который гласит, что человек добр и что любовь пребывает в нем в скрытом состоянии. Это принцип Руссо, приведший, как это показал Тэн, к революции и к обеим империям».[22]

По мнению Золя, взгляды Толстого ведут к общественному перевороту. «Я вполне готов допустить, что наш прогресс направлен к благу. Это утешительная идея. Но если мы и достигнем этого блага, то только посред-

---

[19] E. Faguet. Tolstoi et Zola. «Revue politique et littéraire», 1896, t. 31, pp. 660—663. Совершенно иное впечатление произвела статья Толстого на молодого Р. Роллана. Запись в дневнике Р. Роллана от 18 апреля 1896 г. см. в альманахе «Год XIX», № 9, М., 1936, стр. 23.

[20] L. Tolstoi. Zola—Dumas—Guy de Maupassant, Appendice, p. 245.

[21] Там же, стр. 248.

[22] Там же, стр. 250.

ством медленной эволюции, а не путем возвращения к начальной стадии. Мы никогда не возвращаемся назад. Это биологический закон, от которого нельзя уклониться, не подвергаясь смертельной опасности. Нельзя останавливаться, чтобы возвращаться к исходному пункту; возможно только постепенное преобразование».[23]

Как и Гонкур, Золя пытается неприемлемые для него взгляды Толстого объяснить национальной принадлежностью их автора: «Pour moi, avec mon cerveau de latin, je ne peux comprendre ces spéculations metaphisiques. Cet éternel recommencement tourne vraiment à la chanson du Petit Navire».[24]

26 ноября (н. ст.) 1893 г. на банкете, данном русскими журналистами в честь французской печати (банкет был устроен по случаю «русских празднеств» в Париже в связи с прибытием в Тулон русской эскадры), Золя произнес речь, которую кончил провозглашением тоста за всемирную литературу. «Французская литература, — говорилось в речи, — отправила в качестве послов Бальзака и Гюго, а русская литература ответила на это присылкою своих — Тургенева, Достоевского и Толстого. Они трогали сердца, сближали умы».[25]

В 1900 г., отвечая на анкету о философии Толстого, организованную сотрудницей «Revue internationale de sociologie» Маргаритой Жерфо, Золя писал: «Увы, мадам, у меня нет мнения о новаторских идеях и доктрине Толстого; и я не хочу его иметь. Я плохо осведомлен и лишен возможности осведомиться лучше; и признаюсь откровенно, я боюсь не сойтись с великим русским романистом. Чтобы высказать это основательнее, нужны целые страницы, так что я предпочитаю молчать. Примите и пр.».[26]

Этот ответ напоминает простую отписку. В совершенно ином, однако, тоне написано было в следующем 1901 году письмо Золя, представлявшее собой ответ на просьбу журнала «La Plume» «принять участие в сборнике в честь Толстого».

---

[23] Там же, стр. 251.

[24] Там же, стр. 252.

[25] М. Клеман. Из переписки Эм. Золя с русскими корреспондентами. «Литературное наследство», № 31—32, М., 1937, стр. 966.

[26] La philosophie de Tolstoi. Opinions..., recueillies par M. Gerfaut. Paris, 1900, p. 13.

«Я питаю, — писал автор «Ругон-Маккаров», — самое высокое чувство восхищения к Толстому-романисту. Но с Толстым-моралистом и евангелистом я расхожусь слишком по многим пунктам, чтобы позволить себе судить о нем в двух словах. Из всего того, что выходит за пределы его писательского гения, я храню в памяти только его доброту и его ненависть к войне, которую я разделяю».[27]

Чрезвычайно выразительны и многозначительны эти слова Золя, сказанные им за полтора года до смерти.

Мы рассмотрели все известные нам высказывания Золя о Толстом. В совокупности они образуют довольно ясную концепцию, которая вряд ли нуждается в специальных комментариях.

Необходимо заметить, однако, что в силу хорошо известных нам обстоятельств по отношению к Толстому Золя почти всегда приходилось становиться в оборонительную позицию. В сознании французского писателя Толстой был «молотом», поднятым руками врагов для нанесения сокрушительного удара по натурализму. Поэтому высказывания Золя о достоинствах Толстого приобретали всегда сдержанный характер, превращаясь порою в сплошную цепь оговорок и необдуманных замечаний. Но было бы грубой ошибкой ставить в этом отношении Золя в один ряд с Эд. Гонкуром хотя бы потому, что с 1880 г. и до своей смерти Золя не переставал преклоняться перед гением Толстого-художника.

Отрицательное отношение Золя к Толстому-мыслителю объяснялось уже не столько «оборонительной позицией» Золя, сколько расхождениями во взглядах по существу.

Критика общественных взглядов Толстого, данная Золя, была правильной и прогрессивной только в незначительной части, относящейся главным образом к религиозным взглядам Толстого и его отрицанию буржуазной культуры. Но в своем срывании «всех и всяческих масок», в своем стремлении «дойти до корня», в своей непримиримой и бесстрашной критике язв и пороков буржуазно-помещичьего строя Толстой стоял на целую голову выше Золя, лишь изредка переступавшего границы идеологии реформизма.

---

[27] Hommage à Tolstoi. Paris, 1901, p. IX.

Отношение Золя к творчеству Толстого и его личности делает возможной постановку вопроса о влиянии Толстого на Золя. Мы имеем в виду, конечно, не влияние, взятое в самом общем виде (такое влияние, безусловно, имело место), а влияние конкретное, оставившее зримые следы в художественной практике Золя.

Нам кажется, что постановке подобного вопроса в критике мешал неправильный, но широко распространенный взгляд на Золя как на принципиального и чуть ли не единственного во Франции противника Толстого и его творчества.

Так, например, Зинаида Венгерова в статье «Русский роман во Франции» буквально в нескольких словах решает этот вопрос в отрицательном смысле. С ее точки зрения, можно говорить разве только об отрицательном влиянии Толстого на Золя.

Вопросу об отрицательном влиянии Толстого на Золя посвящена также одна английская статья: «„Плодородие“ против „Крейцеровой сонаты“, или Толстой против Золя».[28] Автор статьи предполагал, хотя и не заявлял об этом прямо, что Золя в своем романе борется с проповедью безбрачия Толстого в «Крейцеровой сонате». «Оба пророка имеют в виду одну и ту же цель: счастье и прогресс. Но пути, избираемые ими, диаметрально противоположны» (стр. 71).

Чрезвычайно содержательная статья проф. Н. Ф. Голубова «Болезнь и смерть Ивана Ильича у Толстого и доктора Паскаля у Эмиля Золя» также была посвящена сопоставлению, точнее, противопоставлению творческого метода Толстого методу Золя; но противопоставление двух писателей рассматривалось проф. Голубовым вне проблемы влияния.[29]

Тем не менее в творческом наследии Золя можно найти не один случай сходства с искусством Толстого, причем такого сходства, которое может быть объяснено только влиянием русского писателя. Примером такого положительного влияния Толстого на Золя может служить, как нам кажется, роман «Разгром».

---

[28] «The Fortnightly Review», 1900, v. LXXIII, pp. 69—78.

[29] См.: Н. Ф. Голубов. Болезнь и смерть Ивана Ильича у Толстого и доктора Паскаля у Эмиля Золя. «Практический врач», 1909, № 16. Статья проф. Голубова вышла также отдельным оттиском.

При написании «Разгрома» Золя следовал своему испытанному методу — методу кропотливого изучения материала, относящегося к избранной теме; перед написанием романа Золя совершил поездку в места, где в 1870 г. потерпела поражение французская армия; он вел продолжительные беседы с участниками войны, пользовался их записными книжками, дневниками, заметками. В переписке Золя и его наброске к «Разгрому» можно найти немало сведений о том, как создавался роман. Тем не менее эта нарисованная самим Золя картина подготовки «Разгрома» не может быть названа полной; она не дает ответа на вопрос о том, какими принципами руководствовался Золя в отборе и организации собранного им материала и какой литературной традиции он следовал. Возражая критикам, приписывавшим достоинства «Разгрома» сюжету, а не таланту автора, Эмиль Фаге указывал на трудности, стоявшие перед Золя в отношении согласования, приведения к единству и цельности обильного материала.[30]

Трудности, о которых говорил Фаге и на которые и мы обратим внимание, усложнялись для Золя еще и потому, что батальный роман, каким является «Разгром», был новым жанром для французского романиста. Общее развитие сюжета могло быть подсказано Золя самой действительностью; во всем же, что касалось композиции, приемов художественной трактовки, Золя, не знавший войны по собственному опыту, не мог не исходить из определенных образцов или образца.

Толстой, работая над «Войной и миром», не меньше, чем Золя, занимался собиранием печатных и рукописных материалов, семейных воспоминаний, расспрашивал участников войны. В сентябре 1867 г. он выезжал в Бородино, чтобы изучить поле сражения. Толстой, наконец, сам был непосредственным участником войны; жизнь армии во всех ее прослойках была известна ему до тонкостей. Тем не менее даже Толстой в лице Стендаля, Теккерея и многих других писателей имел своих литературных предков. Мог ли обойтись без них Золя?

Образцов реалистической батальной литературы, которым мог следовать автор «Разгрома», было очень не-

---

[30] E. Faguet. «La Débâcle» de Zola. «Revue politique et littéraire», 1892, t. 23, p. 819.

много, и его обращение к военным рассказам и «Войне и миру» Толстого — произведениям, хорошо ему известным, — было почти неизбежным, тем более что один французский писатель, Жан Ришпен, согласно утверждению Давид-Соважо, своим романом о Седанском поражении за три года до «Разгрома» уже показал пример следования традициям «Войны и мира» Толстого.[31]

В «Пармском монастыре», как и в «Ярмарке тщеславия», война не являлась центральной темой; поэтому творческий опыт Стендаля и Теккерея Золя мог использовать в весьма ограниченной степени. Иные возможности раскрывала перед Золя «Война и мир». Широта масштабов, изображение войны, решающей судьбу целой нации, и наряду с этим постановка больших социальных вопросов — все это могло оказать существенную помощь автору «Разгрома», задуманного, как и «Война и мир», в крупном плане.

В мировой литературе XIX в. «Война и мир» Толстого и «Разгром» Золя являются единственными произведениями, где тема войны разработана многосторонне. Уже одно это обстоятельство делает полезной попытку сравнения названных произведений.

Нельзя сказать, что на сходство «Войны и мира» с «Разгромом» Золя никто не обращал внимания. Эмиль Фаге в упомянутой нами статье о «Разгроме» писал: «Это, собственно говоря, эпопея в прозе и на сей раз без всякого сочетания Лукиана с Поль де Коком и Данте с Пиго-Лебреном. И эта эпопея напоминает не столь самого Золя, сколько Толстого в „Войне и мире"; правда, в романе Золя меньше поэзии и больше определенности в заключениях».[32]

Вряд ли возможно истолковать приведенные выше слова Фаге как указание на влияние «Войны и мира» на «Разгром». Скорее всего, Фаге хотел указать на некоторое «смягчение» творческих приемов в новом романе Золя.

Немного дальше, чем Фаге, пошел в сопоставлении «Разгрома» с «Войной и миром» В. Чуйко — русский

---

[31] A. David-Sauvageot. Le réalisme et le naturalisme dans la littérature et dans l'art. Paris, 1889, p. 245. Давид-Соважо говорит о «Césarine» Ришпена как о романе, который в значительной степени навеян творчеством Толстого.

[32] E. Faguet. «La Débâcle» de Zola, p. 819.

критик, который, кстати сказать, своими пересказами первых романов Золя, печатавшимися в начале 70-х годов в «Вестнике Европы», впервые познакомил русскую публику с молодым французским писателем. Отрицая утверждения Золя о том, что «Разгром» проникнут «новым духом» по сравнению с литературой, пытавшейся героизировать войну, Чуйко в рецензии на «Разгром» писал: «Никакого „нового духа“ в данном случае Золя не проявил; здесь он был не более как последователем Стендаля, Виктора Гюго, Толстого, Верещагина».[33] И дальше, останавливаясь на сценах «Разгрома», в которых появляется Наполеон III, рецензент писал: «Их можно сравнивать со сценами сражения под Ватерлоо, где появляется Наполеон I, в „Chartreuse de Parme“ Стендаля: те же широкие мазки, те же отрывочные наметки, та же сила в изображении. Эти сцены напоминают мне также силуэт Наполеона I в Москве, набросанный Л. Н. Толстым в „Войне и мире“».

Но если В. Чуйко весьма неуверенно говорил о толстовской традиции «Разгрома» Золя, то другой русский писатель и критик, Л. Е. Оболенский, кстати сказать, близко знавший Толстого и переписывавшийся с ним, в рецензии на роман Золя мимоходом высказал предположение о прямом влиянии «Войны и мира» на «Разгром». «По-видимому, этот Жан (Жан Маккар, — *Ф. П.*), — писал Оболенский, — навеян образом Каратаева Льва Толстого, а Морис должен был совмещать в себе все философствующие элементы романа Толстого, начиная с Андрея Болконского и кончая раскаивающимся кутилой Курагиным».[34]

---

[33] В. Чуйко. Эмиль Золя. По поводу романа «Разгром». «Наблюдатель», 1892, № 11, стр. 301.

[34] Л. Е. Оболенский. Ошибки крупного таланта. «Новое время», 1892, № 228, 13 августа. Элементы толстовского влияния Л. Е. Оболенский находил также и в сцене, где Онорэ прощает Сильвину. «Замечательно, что в этой фабуле Золя желал пожать лавры, по меньшей мере Достоевского, на поле болезненной психологии. Дульцинея объясняет своему Дон-Кихоту, что немец не насилием взял ее любовь, а просто с нею сделалось какое-то „затмение ума“ от разлуки с Онорэ. Совершенно та же история — не правда ли? — какая случилась с Наташей в „Войне и мире“, та также любила только одного Андрея и вдруг отдалась светскому кутиле. Не правда ли, как это похоже! Совсем одна и та же психология. И Онорэ не может простить своей героине, как Андрей, но все же оказывается великодушнее».

Мы привели указанные сравнения «Войны и мира» Толстого с «Разгромом» Золя вовсе не для того, чтобы построить на них заключение о влиянии Толстого на Золя; для такого заключения они еще не дают достаточных оснований. Вопрос о влиянии Толстого на Золя во взятом нами случае необходимо поставить в связь с вопросом о творческой эволюции главы французского натурализма.

Уже задолго до написания «Разгрома» Золя подверг пересмотру некоторые элементы своей эстетической программы. Продолжая уверять всех в непогрешимости натуралистической доктрины, он постепенно и, быть может, сам того не сознавая, отходил от индифферентизма, который проповедовал вначале. Еще в сборнике критических статей «Une campagne», написанных в 1880—1881 гг., Золя яростно нападал на литературу, проникнутую какой-либо политической тенденцией, социальной мечтой. «Отвергайте меня целиком, оспаривайте и отрицайте; все же я оказал литературе услугу тем, что раз навсегда освободил ее от тяжелых и бессмысленных нагромождений политики, под которыми она хрипит, погребенная заживо».[35]

В том же сборнике страстному идейному искусству Гюго Золя противопоставлял свою аполитичность. «Конечно, В. Гюго обнаруживает мягкую душу, когда он мечтает о всеобщем объятии народов, о конце войны и о приходе человечества в светлый город будущего, где все будут жить в полном блаженстве. Но это видение поэта показывает, насколько незначительны его способности как мыслителя и ученого».[36]

Тем не менее творческая практика Эмиля Золя опровергала его теоретические взгляды. Высказывая презрение к литературе, проповедующей социальные идеи, Золя работал над «Жерминалем», воплотившим одну из таких идей. В письме к редактору газеты одной промышленной области, относящемся к 1885 г., Золя писал: «„Жерминаль“ — филантропическое, но не революционное произведение. Я хотел крикнуть счастливым мира сего, власть имущим: Берегитесь, смотрите под землю».[37] И дальше: «Да, призыв к милосердию, призыв к спра-

[35] Em. Zola. Une Campagne, 1880—1881. Paris, 1882, p. IX.
[36] Там же, стр. 51.
[37] E. Zola. Les oeuvres complétes. . ., p. 651.

ведливости, я не хочу большего. И если почва будет и дальше оседать, и если возвещенные бедствия завтра устрашат мир, это произойдет потому, что меня не услышали».[38] От такого искусства было совсем недалеко до проповеди Гюго с его мечтой о «всеобщем объятии народов».

Золя остро реагировал на критику, упрекавшую его в отсутствии психологической разработки образов, в цинизме. Чувством горькой обиды проникнуто письмо Золя к Жюлю Леметру от 14 марта 1885 г.: «Почему, и с каких уже вот пор, эти беспрестанные упреки в грубости? Сознаюсь перед вами, что меня задевает только это. Вечно эта пресловутая психология! Те доводы, на основании которых вы заключаете о том, что я не психолог, позволяют вам, очевидно, заключить, что я являюсь грубым писателем».[39]

Но сетования Золя только подтверждали его готовность взяться за новые темы и усовершенствовать приемы своего творчества. Об этом свидетельствует и то, что после споров о «Земле» Золя стал работать над идиллической «Мечтой», свободной от «грубости» и натурализма первых романов серии.

Если в системе эстетических взглядов Золя с самого начала 80-х годов обнаруживаются некоторые колебания, то к концу 80-х годов (после написания романа «Земля» в особенности) эти колебания все больше и больше возрастают. Они усиливают возможность подчинения Золя различным влияниям, в том числе и влиянию русского романа, успех которого во Франции к концу 80-х годов достиг высшей точки. Именно влияние русского романа и оставило следы в «Разгроме».

В творческой эволюции Золя «Разгром» — знаменательная веха. Опубликование его было настоящим триумфом Золя. Незначительные упреки и возражения тонули в шуме восторгов и похвал таланту автора. «Разгром»,— писал Фаге,— оставил во мне самое великое, самое могучее, самое трагическое и вместе с тем самое возвышенное и чистое впечатление, которого не производило ни одно произведение Золя».[40]

---

[38] Там же.
[39] Там же, стр. 634.
[40] E. Faguet. «La Débâcle» de Zola, p. 819.

Критика, отмечавшая в этом романе Золя какие-то новые качества, была, несомненно, права; действительно, в «Разгроме» поражает то, что на фоне намеренно выпукло изображенных кровавых ужасов войны Золя рисует своих героев подчеркнуто мягкими красками. Слов нет, в «Разгроме» выведена и вызывающая чувство омерзения фигура Голиафа, и бездушно черствый дядюшка Фушар, и послушный только голосу своего брюха Лапуль, но что значат в романе проявления низменных инстинктов по сравнению с благородными качествами человеческой натуры — дружбой Жана и Мориса, любовью Генриэтты к Морису и Вейсу, славной смертью артиллериста Онорэ, проявлением жертвенности и героизма тысяч?

Человеческие страдания, являющиеся своеобразной темой романа, показаны Золя в ореоле величия. «Разгром» нельзя было обвинить в индифферентизме, напротив, может показаться, что в целом ряде мест автор задается целью исторгнуть слезы у читателя. После «Разгрома» никто из критиков не мог упрекнуть Золя в отсутствии жалости к человеку. Жалость и сострадание — самого автора и его героев — щедро разлиты на каждой странице книги.

Но своеобразие «Разгрома» не только в чувстве жалости, но и в стремлении опоэтизировать положительные стороны человеческой натуры. Оно обнаруживается прежде всего в том, что основным мотивом, движущим повествование в «Разгроме», является дружба.

Спрашивается, какое отношение имеют эти, несомненно, новые творческие приемы Золя к русскому роману? Нет никакого сомнения в том, что названные качества полностью соответствовали тому, что французская критика 80-х годов считала основными особенностями русских писателей: культ человеческого страдания, жалость, сочувственное изображение человека.

Но разве не могли быть подсказаны Золя новые приемы трактовки действительности своеобразием сюжета, наконец, патриотическими чувствами автора? Чем можно доказать, что в «Разгроме» Золя подражает русскому роману?

Прежде всего зависимость Золя в «Разгроме» от русского романа подтверждается сценами прощений. Таких сцен в «Разгроме» несколько. Остановимся на одной из

них. Возвратившийся домой после продолжительной службы в армии Онорэ прощает изменившую ему Сильвину:

«Я все обдумал и хотел сказать тебе это, когда шел сюда... Если отец не даст своего согласия, мы уйдем в другое место: земля велика... Что же касается твоего сынишки, ведь не убить же его, господи! У нас пойдут другие, и кончится тем, что я перестану различать его в куче ребятишек».

«Виновная была прощена» (стр. 145).[41]

Мы не собираемся утверждать, подобно Л. Е. Оболенскому, что, изображая отношения Онорэ и Сильвины, Золя повторяет картину отношений князя Андрея и Наташи, но одно несомненно: мотив раскаяния и прощения во французской литературе 80—90-х годов связывался с традицией русского романа и на французского читателя производил впечатление новизны.[42]

Р. Думик в статье «Теория прощения в современном романе» (1894) признает, что мотив прощения был новым для французской литературы конца века, хотя, по его мнению, «теория прощения» носилась в воздухе, и Дюма-сын в своей комедии «Франсийон» (1887), выражая идею о равенстве мужчины и женщины в адюльтере, приблизился к идее прощения изменившей жены: «Она (теория прощения,— *Ф. П.*) получила развитие в последнее время под влиянием русского романа. Это одна из многочисленных форм того евангелизма, который к нам пришел с Севера».[43]

«Душа Севера» завоевала Европу, и первую роль в этом завоевании, по мнению Думика, сыграл Достоевский: «В романе Достоевского Раскольников становится

---

[41] Здесь, как и в дальнейшем, в скобках указаны страницы «Разгрома» по т. XIX Полного собрания сочинений Эм. Золя под общей редакцией М. Д. Эйхенгольца (М., 1935).

[42] Жюль Леметр в статье о «Грозе» Островского чрезвычайно удачно, хотя и с чувством иронии, выразил этот взгляд французской критики на русскую литературу, изображающую «падения», «преступления» и следующие за ними «раскаяния» и «прощения». «Основная черта знаменитой „славянской души“ такая: пускай свое тело куда оно хочет, дозволяй ему чего оно хочет, но бей себя в грудь и повторяй, как Мармеладов в „Преступлении и наказании“: „Я согрешил, я свинья“» (Ж. Леметр. Этюды о русских писателях. Одесса, 1893, стр. 32).

[43] R. Doumic. La théorie du pardon dans le roman contemporain. «Revue des deux Mondes», 1894, t. 121, p. 937.

на колени перед Соней, публичной женщиной. „Я не перед тобой становлюсь на колени, а перед страданием человеческим". Эта религия человеческого страдания превратилась в credo почти всех романистов».[44]

Действительно, подражание молодых французских писателей русскому роману в первое время заключалось прежде всего в заимствовании подобных сцен. Ярким примером такого подражания французская критика считала роман Поля Маргерита «La Tourmente», написанный в 1893 г. К мотиву прощения супружеской измены начали прибегать не одни только молодые писатели. Альфонс Додэ, согласно сообщению Эдмона Гонкура, еще в 1888 г. (после окончания работы над «Бессмертным») задумал написать роман в новом духе. «Он хочет теперь создать произведение, в которое вложит свою доброту и сочувствие; свою жалость к несчастным, обойденным судьбою, сбившимся в пути. Его книга будет историей мужа, который прощает, и будет трактовать вопрос о том, как глупо для любящего человека убивать, уничтожать навсегда предмет своей любви. „Да, сказал он, это будет книга смирения"».[45]

Додэ сообщил Гонкуру тему и содержание своей «Petite paroisse», романа, вышедшего только в 1895 г.; и русская, и французская критика, как мы увидим ниже, имела все основания причислять его к романам, написанным под русским влиянием.

Не случайным, надо полагать, было обращение к мотиву прощения и у Золя. Не случайным кажется нам и то, что Вогюэ, с легкой руки которого сцены прощений и раскаяний вошли в моду во французской литературе, о сцене Сильвины и Онорэ был самого высокого мнения. «В этих трех страницах все просто, трезво и изящно, как в лучших картинах Миллэ. Я знаю в нашей литературе вещи по-другому прекрасные, но я не знаю более прекрасных».[46]

---

[44] Там же, стр. 938.

[45] Ed. et J. de Goncourt. Journal, t. VIII. Paris, s. a., pp. 201, 202; см. также: Ф. Я. Прийма. Лев Толстой и Альфонс Доде. В кн.: Из истории русских литературных отношений XVIII—XX веков. М.—Л., 1959, стр. 211—226.

[46] E.-M. de Vogüé. La Débâcle. «Revue des Deux Mondes», 1892, 15 juillet, p. 446. Обратим внимание также на то, что Золя экземпляр «Разгрома» счел нужным отправить Вогюэ.

Остановимся на второй «сцене прощения», созданной отношениями Генриэтты к баварскому солдату Гутману. Когда Генриэтта пришла в первый раз в лазарет, она, к ужасу своему, узнала в этом солдате того, кто унес ее на руках в Базейле, когда расстреливали ее мужа Вейса. Но Гутман, казавшийся вначале Генриэтте «волосатым чудовищем, забрызганным кровью», оказывается обычным человеком. И Генриэтта в душе прощает немому баварцу с оторванным языком все свои обиды. «Бедняга так и умер, никому неизвестный, посылая молодой женщине коченеющими пальцами последний поцелуй, как будто в благодарность за ее заботы. Она проводила его на кладбище, где комья мерзлой земли, чужой и тяжелой, глухо ударялись о крышку соснового гроба вперемежку со снежными глыбами» (стр. 425).

Смертельное ранение Мориса Жаном в дни баррикадных боев, раскаяние Жана, утверждение Мориса в мысли о неизбежности и необходимости именно такого конца, полное примирение Мориса с Жаном — это также своеобразная сцена прощения с расширенной литературной функцией. Молодые французские писатели в подражание русскому роману наполняли свои произведения сценами супружеских прощений. Золя тоже отдает дань этой моде, но он идет дальше, перенося сцены прощений в сферу национальных и социальных отношений; и в этих случаях, как нам кажется, он подражает уже не столько русскому роману вообще, сколько собственно Льву Толстому с его тенденциями смирения и всепрощения.

Ту же функцию несут у Золя и неоднократно встречающиеся противопоставления напряженной и беспокойной военной обстановки картинам безмятежной или улыбающейся, спокойной или торжествующей природы, в своем вечном обновлении остающейся равнодушной к страданиям и гибели людей. Вот одно из таких сопоставлений. Изобразив первое серьезное поражение французской армии (поражение под Мюльгаузеном) и последовавшее за ним беспорядочное бегство и панику, Золя продолжает:

«Около восьми часов солнце разогнало тяжелые тучи, и ясное воскресное утро августовского дня, с палящим солнцем на безоблачном небе, взошло над Мюльгаузеном посреди плодоносной равнины. В проснувшемся лагере,

гудевшем жизнью, были слышны колокола всех церквей, звонко заливавшиеся в чистом воздухе. Это прекрасное воскресенье, несмотря на страшное бедствие, разразившееся над страною, было радостно, и во всей природе разлилось праздничное ликование» (стр. 20—21).

Не будем настаивать на том, что в этом пантеистическом восприятии природы Золя идет от Толстого, но напомним, что картины восходящего и заходящего солнца (под звуки выстрелов с бастионов и звуки музыки на бульваре), освещающего разрушения войны и обещающего радость, любовь и счастье миру, встречаются у Толстого в одних только «Севастопольских рассказах» неоднократно.[47]

Объяснить антимилитаристические места, проповедь жалости, сцены прощения в «Разгроме» одним только влиянием Толстого, более того, одним только влиянием русского романа было бы грубой ошибкой. Нельзя, конечно, забывать и традиций французской литературы. Недаром с точки зрения и Гонкура, и Золя, и Додэ идеи русского романа были своеобразным отражением идей В. Гюго и Ж. Санд. Однако это возвращение к романтической традиции происходило под несомненным и непосредственным воздействием русского романа. И склонность объяснить восстановление романтической традиции в «Разгроме» воздействием «Войны и мира» Толстого вполне естественна, ибо «Война и мир» был единственным русским романом, замысел и тема которого были наиболее близки «Разгрому» Золя.

Но если зависимость указанных выше сцен и идей «Разгрома» от военных произведений Толстого может вызывать некоторые сомнения, то та же зависимость «солдатских» сцен в «Разгроме» нам кажется бесспорной.

Жизнь русского солдата была для Толстого предметом самого серьезного изучения на протяжении пятилетнего пребывания его в армии. Об этом интересе свидетельствует целый ряд фактов: и участие Толстого в организации общества для просвещения и образования солдат, и то, что Толстой является автором знаменитой солдатской песни про сражение на Черной речке 4 августа 1855 г., и его проект реформы армии, направлен-

---

[47] См.: Л. Н. Толстой, Полное собрание сочинений, юбилейное издание, т. IV, М., 1932, стр. 17 и 53.

ный к облегчению жизни солдат, и его ранние военные рассказы.

Толстой, понимавший, что в севастопольской обороне героем был народ русский, руководствовался этой же идеей и при создании «Войны и мира». Только богатый военный опыт и любовное отношение к людям из народа, одетым в серые шинели, позволяли Толстому столь щедро и правдиво изобразить длинную галерею солдатских типов. Реалистический показ жизни солдата был тем новым элементом, который внес Толстой в русскую литературу. Когда Некрасов прочитал в 1855 г. толстовскую «Рубку леса», он писал Тургеневу: «Знаешь ли, что это такое? Это очерк разнообразных солдатских типов (и отчасти офицерских), т. е. вещь доныне небывалая в русской литературе».[48] Самому же Толстому Некрасов писал: «Не пренебрегайте подобными очерками; о солдате ведь наша литература доныне ничего не сказала, кроме пошлости».[49]

Но мы не ошибемся, если скажем, что не только в русской, но и в мировой литературе до Толстого не было такого сосредоточенно серьезного и глубоко правдивого показа солдата.

Жизнь солдата была совершенно неизвестна Золя. Изображению ее ни у Стендаля, ни у Теккерея Золя учиться не мог — эти авторы не дали образа простого солдата.

Но если даже предположить, что в изображении солдатской массы кое в чем Золя и мог воспользоваться весьма небогатым опытом французской литературы, то это не могло ему помешать использовать колоссальный опыт великого русского писателя.

Золя заимствует у Толстого сосредоточенно серьезную трактовку солдатской темы, взгляд на солдата не только как на значительную, но и как на основную фигуру военных действий и военного романа. Надо полагать, что Золя сознательно какому-нибудь стрелку Просперу или обжоре Лапулю отводит в романе едва ли не больше внимания и места, чем капитану Бодуану или полковнику де Винелю. Не случайно, несомненно, и то, что в «Раз-

---

[48] Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, т. X, М., 1952, стр. 236.
[49] Там же, стр. 241.

громе», где среди действующих лиц—два императора, несколько генералов и свыше десятка офицеров, центральное во всех отношениях место принадлежит крестьянину Жану, малограмотному капралу.

Желание приподнять, возвысить образ простого солдата, не впадая при этом в ложно-патриотический пафос, свойственно и Толстому, и не в одном только случае изображения Платона Каратаева, образ которого вызывает в памяти фигура Жана Маккара.

Сходство Платона Каратаева с Жаном Маккаром, на первый взгляд, довольно отдаленное, явственно обнаруживается на примере отношений первого из них к Пьеру Безухову и второго — к Морису Левассеру.[50]

В набросках к «Разгрому», в характеристике Мориса, Золя писал: «Легко падает духом, но позднее окрепнет под влиянием Жана» (стр. 542). Разве в этом не повторяется история отношений Пьера Безухова и Платона Каратаева? У Золя, как и у Толстого, легко возбуждающийся, экзальтированный интеллигент в минуты тяжелых жизненных испытаний обнаруживает полную беспомощность и находит источник морального возрождения в общении с простым крестьянином, индивидуальный облик которого очерчен в самых общих чертах, ибо образ этот — олицетворение всего народа.

Мотив дружбы крестьянина с интеллигентом в той трактовке, какая дана ему Золя, не имел прецедентов в западноевропейской литературе. Он мог возникнуть и — задолго до Золя — возник на русской почве. Золя он, бесспорно, был подсказан Толстым. Да и сама фигура Мориса, изверившегося интеллигента, добровольно надевшего солдатскую шинель (Пьер Безухов тоже наряжается в кафтан, чтобы только участвовать в народной защите Москвы), произносящего перед смертью покаянную речь, обращенную не только к крестьянину Жану, но и к французскому крестьянству в целом, кажется нам немыслимой вне связи с образом Пьера Безухова в «Войне и мире».

---

[50] Характер отношения Пьера Безухова к Платону Каратаеву — интеллигент, чувствуя превосходство над собой крестьянина, учится у него — был настолько чужд французской литературе XIX в., что Вогюэ в своей книге о русском романе, приступая к объяснению этих отношений, писал: «Здесь, я боюсь, французский читатель не поймет меня», и т. д.

Идеализация Платона Каратаева у Толстого полностью вытекала из мировоззрения Толстого, из идеализации им крестьянской стихии. Идеализация крестьянина Жана и принижение Мориса, олицетворяющего, кстати сказать, всю французскую интеллигенцию,[51] находится в некотором противоречии со взглядами Золя, преклонявшегося перед «образованными классами». Несмотря на демократический характер своих убеждений, Золя не смотрел, по крайней мере до написания «Разгрома», на крестьянство как на источник нравственного возрождения нации. В своих набросках к роману Золя не забыл отметить, что одним из преимуществ немецкой системы было наличие в немецкой армии студентов.[52] И жалкий Морис — олицетворение французской интеллигенции, покорно следующий во всем за малограмотным Жаном, свидетельствует о том, что Золя в этом случае усвоил уроки великого русского учителя.

Сходство Жана Маккара и Платона Каратаева не только в одинаковой литературной функции, которую они выполняют, но также и в наличии общих им обоим личных качеств: трудолюбие, бережливость, изумительное терпение, уравновешенность, доходящая до простодушия простота и вместе с тем рассудительность, граничащее с жертвенностью отсутствие эгоистических побуждений. Таким образом, догадка Л. Е. Оболенского о зависимости образа Жана Маккара от Платона Каратаева оказывается правильной.

Тем не менее было бы грубой ошибкой полагать, что образ Жана Маккара представляет собой простую копию Каратаева и являет пример механического заимствования. Золя берет у Толстого «идею» образа Каратаева, но, подвергаясь процессу переосмысления, эта идея в «Разгроме» получает весьма своеобразное воплощение. Есть основания предполагать, что в создании образа Жана Золя не только подчинялся влиянию Толстого, но и «преодолевал» его. В набросках к своему роману Золя говорит о задуманных им, помимо Жана и Мориса, солдатских типах и среди них о типе «мистически и религиозно настроенного солдатика» (стр. 539). Образ этот не

---

[51] См. характеристику Поля (Мориса) в наброске к «Разгрому»: «В лице образованного Поля у меня будет вся интеллигенция» (стр. 542).

[52] Там же, стр. 539.

был реализован в «Разгроме»; но если принять в соображение, что некоторые его черты, по всей видимости, перенесены на солдата Паша (см. стр. 107), то можно предположить, что «мистически и религиозно настроенный солдатик» должен был играть в «Разгроме» комическую роль. Нам не кажется рискованным предположение, что образ Платона Каратаева в сознании Золя расчленялся на две части: его здоровая, с точки зрения Золя, сторона служила источником для создания образа Жана, тогда как его слабости подвергались критике и осмеянию.[53]

Использование образа Каратаева в «Разгроме» — только наиболее яркий пример влияния Толстого, бытописателя солдатской жизни, на Золя. Можно привести и другие, хотя и менее значительные примеры подобного рода. Золя заимствует у Толстого манеру показа солдатского коллектива и той атмосферы братства и общности интересов, которую создает совместная жизнь, полная лишений и угрожающая ежеминутно смертельной опасностью.

Солдат, со свойственным ему упорством и выдержкой, но без признаков внешнего героизма переносящий тяготы военной жизни и даже в боевой обстановке не теряющий чувства веселости и юмора, солдат, умирающий мужественной смертью на поле битвы или на лазаретной койке, солдат, отпускающий злые шутки по адресу обгоняющего отступающую армию начальства, солдат на отдыхе, у костра, всецело поглощенный мыслью о еде и сне или, предавая на короткое время забвению свое ремесло, охотно участвующий в разговорах о прелестях мирной жизни, — в изображении этого солдата, точнее, солдатского коллектива, Золя, безусловно, идет от Толстого.

Заметим, что Толстой далек от идеализации солдатской массы: достаточно вспомнить описания панического

---

[53] Здесь будет уместно привести речь Мориса, которую тот произносит в предсмертном бреду и которая выражает взгляды самого Золя: «Здоровая часть Франции, рассудительная, уравновешенная — это крестьянство, оставшееся ближе всего к земле. И оно уничтожило другую часть, сумасбродную, отчаянную, развращенную Империей, совратившуюся с прямого пути в погоне за своими фантазиями и наслаждениями... Теперь крестный путь на Голгофу пройден до конца; распятая нация искупает ужасной, небывалой агонией свои прошлые грехи, чтобы возродиться к новой жизни» (стр. 527). Такая точка зрения Золя на крестьянство после споров о «Земле» представляет крайний интерес.

бегства целых подразделений или описание грабежей в «Войне и мире», когда изголодавшаяся масса солдат, набрасываясь на встречающиеся по пути деревни, уносит с собою все — от содержимого крестьянских засек до заборов. Такие сцены у Золя гораздо чаще и страшнее, так как он изображал подлинный развал огромной армии. Однако и в этом случае мастерство Толстого должно было оказать творческую помощь автору «Разгрома».

При всем том Золя не теряет самостоятельности. Его солдаты — солдаты французской армии 1870 года; в отличие от солдат Толстого им чуждо патриархальное отношение к начальству, их духовный мир, их интересы очерчены в соответствии с французской исторической действительностью 1870 года.

К числу образов «Разгрома», созданных под влиянием Толстого, относится, по-видимому, также и образ Наполеона III. Критика упрекала Золя в том, что отталкивающая фигура Луи-Наполеона, втянувшего Францию ради династических интересов в губительную войну, изображена в «Разгроме» в сочувственных тонах.[54] Действительно, для непримиримого противника бонапартизма, каким являлся Золя, возвеличение Наполеона III казалось несколько неожиданным. Вогюэ в своей статье рассказывает, с каким опасением за автора и трепетом он приступал к чтению страниц, посвященных императору. Но опасения Вогюэ оказались напрасными: Золя не проявил ни малейшего желания очернить Луи-Наполеона.

Конечно, никакого намерения возвеличить Наполеона у Золя также не было. «Смягчение» образа императора могло явиться результатом стремления показать в облике монарха человеческие черты, подобно тому как стремился Золя показать человеческие черты в фигуре немого баварца. Этим правилом руководствовался и Лев Толстой, который, называя Наполеона I «палачом народов», представил его тем не менее в «Войне и мире» жалким и беспомощным человеком.

Изображение Золя Наполеона III как «несчастного человека, бессильного идти против судьбы», как жертвы обстоятельств, «влачащей за собой иронию император-

---

[54] См.: Л. Слонимский. Война в романе Золя. «Вестник Европы», 1892, № 9.

ского сана», и по идее, и по манере напоминает изображение Наполеона I Толстым.

Укажем, наконец, еще на несколько мелких аналогий, встречающихся в «Войне и мире» и в «Разгроме».

Описание героических действий батареи капитана Тушина под Шенграбеном в «Войне и мире» напоминает описание действий батареи Онорэ под Ремильи. Как у Толстого, так и у Золя, потеряв почти весь людской и конский состав, батарея не выбывает из строя, до самого последнего момента прикрывая отступление своих войск. Тушин во время боя ранен в руку и впоследствии лишается ее. Онорэ также оторвало руку и распороло правый бок. У Тушина есть любимая пушка «Матвеевна», к которой он относится как к живому существу («Ишь, задышала опять, задышала», — говорил он про себя). Онорэ «смотрит на свою пушку точно на любовницу и велит ее обтирать, чтобы ей не было жарко». Как у Толстого, так и у Золя прислуга батареи поглощена мыслью увезти орудия, чтобы они не достались врагам. Раненного в живот пехотного офицера кладут на лафет «Матвеевны». Смертельно раненный Онорэ падает на лафет своей любимой пушки.

Случай с Николаем Ростовым в кавалерийской атаке под Шенграбеном (падающая под ним лошадь, его любимый Грачик, придавила ему ногу) и рассказ его об этом напоминает рассказ Проспера об аналогичном случае, происшедшем в бою с ним и с его любимцем Зефиром.

Заботливое отношение к раненым и уход за ними Наташи в «Войне и мире» соответствует изображению ухода за ранеными Генриэтты в романе Золя.

Зависимость «Разгрома» от «Войны и мира» и военных рассказов Толстого распространяется на идеи, образы, сцены и способ трактовки материала. Некоторая общность социальных и эстетических взглядов обоих писателей облегчала Золя творческое использование произведений Толстого. Золя усваивал у Толстого даже то, что, казалось, было до этого времени чуждо главе французского натурализма (неприятие войны, идеализация крестьянской стихии). Но он сознательно отвергал неприемлемые для него особенности толстовского метода (религиозная окрашенность некоторых

образов и сцен); можно предполагать, что толстовской философии войны Золя в «Разгроме» противопоставляет свой взгляд на войну.

* * *

В предисловии к переводу «Так что же нам делать?», написанном в 1891 г., в период работы над «Разгромом», Золя писал: «То, что меня больше всего заинтересовало, — это страницы, где он (Толстой, — *Ф. П.*) остается могучим аналитиком, глубоким психологом „Войны и мира“ и „Анны Карениной“. Я имею в виду его посещения московских ночлежных домов, волнующие и приводящие в состояние растерянности посещения средоточий ужасной нищеты большого города. Там есть потрясающие картины, достойные великого художника, каким он все еще остается. Затем, какой замечательный анализ благотворительности (l'aumône) с тем, что почти всегда в ней есть от личного тщеславия, и с тем чувством тревоги и недовольства самим собой, которое она часто за собой оставляет. Для меня, закоренелого романиста, именно эти страницы книги являются живыми, осмелюсь даже сказать — полезными страницами, страницами, которые поучают и сохраняются надолго».[55]

Но Золя был заинтересован не только художественными достоинствами книги. Он останавливается и на идее произведения.

«Но пора приступить к изложению руководящих идей. Толстой участвует в большом, уже не новом и постоянно разрастающемся движении, осуждающем старое благотворение (charité) и взывающем исключительно к справедливости. Люди долгое время полагали, что подаяние было единственным средством облегчить ужасающие бедствия мира. В настоящее время милосердие объявлено несостоятельным, ничего не исцеляющим, растравляющим язву. Стали требовать справедливости, согласно которой все люди должны получать равную меру тягот и радостей. Может показаться, что Толстой, опирающийся во всем на Евангелие, вступает в противоречие с вековым христианским милосердием, заключающимся в том, что богатые поддерживают бедных, с принципом благо-

---

[55] L. Tolstoi. L'argent et le travail, p. VII.

стыни, на котором социальное здание, несмотря на жестокие потрясения, могло держаться в продолжение 18 веков, не потерпев крушения. Однако он отвечает, не сомневаясь, что он всегда отстаивает милосердие».[56]

С названным произведением Толстого Золя мог познакомиться задолго до написания цитируемого предисловия. Первый перевод «Так что же нам делать?» вышел в 1887 г.[57] Как и всякое произведение Толстого, «Так что же нам делать?» сразу же получило широкую известность во Франции. Прочитав его перевод, Р. Роллан пишет Толстому свое первое письмо.

В том же году первый перевод книги Толстого вышел вторым изданием. В 1888 г. был издан второй перевод «Так что же нам делать?»,[58] в котором были восстановлены пропуски первого перевода и дана в виде приложения последняя, посвященная женскому вопросу, глава, написанная Толстым дополнительно в 1886 г.

В 1888 г. Эмиль Паже и А. Гатцук издали новый перевод «Так что же нам делать?».[59]

Свидетельством большого интереса к названному произведению Толстого может также служить статья известного поэта-символиста Гюстава Кана «Толстой —социалист», напечатанная в 1888 г. в журнале «Revue indépendante».[60]

Адаптированный перевод Гальперина-Каминского был четвертым по счету и довольно неудачным переводом этого произведения Толстого. В адаптации Каминского была сокращена художественная часть книги Толстого. Восторг Золя перед художественными достоинствами «Так что же нам делать?» заставляет предполагать, что он познакомился с этим произведением в переводах 1887 или 1888 года.

В предисловии к переводу «Так что же нам делать?» Золя недаром назвал некоторые страницы книги Толстого полезными. Через несколько лет, работая над «Парижем»,

---

[56] Там же, стр. IX.

[57] Léon T o l s t o i. Que faire? Traduction par Marina Polonsky et Debarre. Paris, 1887.

[58] L. T o l s t o i. Ce qu'il faut faire. Traduction par Tseytline et E. Jaubert. Paris, 1888.

[59] См.: Переписка Толстого с Н. Н. Страховым. СПб., 1914, стр. 367.

[60] Статья Г. Кана, перепечатана в его книге «Symbolistes et décadents» (Paris, 1902).

Золя использовал так понравившиеся ему страницы произведения Толстого.[61]

Но он не ограничился заимствованием отдельных картин; влияние книги Толстого отразилось и на идейном замысле «Парижа».

Обращение к личности и творчеству Толстого в период работы над циклом «Трех городов» было вполне естественным для Золя. В рукописях к романам «Лурд» — «Рим» — «Париж» он писал: «Я дам развернутую картину неокатолицизма, всех тенденций к нему: пробуждение мистицизма, усилия спиритуалистов».[62] Но содержание «Трех городов», и в особенности «Парижа», выходило за рамки показа неокатолицизма. К неокатолицизму и к носителям его идей Золя относился резко отрицательно: он не верил в искренность вождей неокатолицизма, и поэтому воплощение неокатолических тенденций — монсиньор Марта — дан в отрицательном плане. Совершенно другую позицию занимает Золя по отношению к главному герою «Трех городов»: взгляды и искания Пьера Фромана не совпадают полностью со взглядами и исканиями автора, но во многом вызывают его сочувствие. Образ П. Фромана является одним из первых у Золя опытов «положительного героя». В набросках к «Трем городам» Золя не исключал возможности превращения Пьера Фромана в сторонника идей христианского социализма, который мыслился Золя в следующем виде: «Христианский социализм ведет к анархии: разрушить современное общество и заменить его обществом первобытным, обществом евангельских времен. Революция, пусть кровавая, но только под руководством Христа».[63] Мы уже говорили выше о том, что учение Толстого, несмотря на его евангельский характер, по мнению Золя, также вело к революции. Золя уводит Пьера Фромана с путей евангелизма, ведущего к революции, но тем не менее он делает из него схизматика, противника католического и неокатолического догматизма.

---

[61] Картина московской нищеты в произведении «Так что же нам делать?» вдохновила художника И. Е. Репина на создание целого ряда зарисовок. Таким образом, в использовании этого произведения Толстого Золя не был одинок.

[62] М. Д. Эйхенгольц. Романы «Лурд»—«Рим»—«Париж» Э. Золя и их судьба в России. «Литературное наследство», № 33—34, стр. 463.

[63] Там же, стр. 464.

Образ Пьера Фромана, мыслителя-протестанта, искателя истины, ассоциировался у Золя с личностью Толстого, об этом свидетельствует следующий отрывок из наброска к «Парижу»: «Мне кажется, что Пьер должен отойти от Евангелия. Это тяжело, но это необходимо... Надо все это обдумать и сделать вывод. Это необходимо. И относительно Пьера нельзя сделать вывода, если не объяснить его отношения к роли Евангелия. Тот, кто признает его, ищет тонкостей, приходит, как Толстой, к ненависти жизни, к непротивлению, к нравственной мании, разрушающей действие».[64]

Таким образом, через неохристианизм, основанный исключительно на евангельской морали (путь Толстого), Золя приводит своего героя к полному отрицанию религии.

«Толстовский этап» в эволюции Пьера Фромана и определил, таким образом, характер и объем использования произведений Толстого, в частности «Так что же нам делать?».

Золя заимствует из названного произведения прежде всего идею о несостоятельности благотворительности.

Было бы ошибкой полагать, что идея эта в 90-е годы была общепризнанной. Толстой приходит к ней прежде всего в результате практического опыта, а не отвлеченных логических заключений. Выводы «Так что же нам делать?» были выстраданы Толстым. О содержании этой книги еще с большим правом, чем об эпилоге «Войны и мира», Толстой мог бы сказать, что оно не выдумано, а «выворочено с болью из моей утробы».

С точки зрения буржуазного сознания благотворительность в 90-е годы являлась чуть ли не единственным средством устранения социальной несправедливости. Именно к 90-м годам прошлого века относится активизация Армии спасения «генерала» Бутса — известной международной филантропической организации.

Доде в романе «Маленький приход» воспевает все виды буржуазной благотворительности, а в романе «Опора семьи» рисует даже тип русской нигилистки, отказывающейся от революционных средств борьбы и отдающей все свои силы организации благотворительных учреждений. Прославлением благотворительности зани-

---

[64] Там же, стр. 535.

мался не один только А. Доде. Правда, у Мериме, Мопассана и других французских писателей можно найти также случайные примеры сатирического изображения салонных благотворителей; но сама идея благотворительности, основанной на высоких побуждениях, не подвергалась в художественной литературе такой всесторонней и неумолимой критике, как в названных произведениях Толстого и Золя.

Но дело здесь не только в одной идее. Для выражения ее Толстой избрал чрезвычайно простую, подсказанную ему личным опытом и вместе с тем весьма своеобразную форму изложения: крушение идеи показано на примере самого ревностного и честного ее защитника. К той же форме изложения прибегает в своем романе и Золя.

Произведение Толстого начинается с описания самых страшных притонов московской нищеты в кварталах бедноты и в ночлежных домах. В желании войти в непосредственное соприкосновение с городской нищетой Толстой был движим филантропическим чувством.

«Париж» Золя также начинается с того, что Пьер Фроман, потерпевший крушение самых заветных своих мечтаний (желание обрести наивную веру и желание обновить католическую церковь, о чем повествуется в романах «Лурд» и «Рим»), остается с единственной верой — верой в спасительные свойства благотворительности. Как и Толстой, Пьер Фроман соприкасается с городской нищетой непосредственно.

Вот одно из многочисленных описаний подобного «соприкосновения» у Толстого — описание центра московской нищеты, Ржановой крепости. «Все здесь сыро, грязно, вонюче — и строения, и помещения, и дворы, и люди. Большинство людей, встретившихся мне здесь, были оборванные и полураздетые. Одни проходили, другие перебегали из дверей в двери. Двое торговались о каком-то тряпье. Я обошел все строение с Проточного переулка и Берегового подъезда и, вернувшись, остановился у одного из домов. Мне хотелось зайти посмотреть, что делается там, в средине, но жутко было, что я скажу, когда меня спросят, что мне нужно. Поколебавшись, я вошел-таки. Как только я вошел во двор, я почувствовал отвратительную вонь. Двор был ужасно грязный. Я повернул за угол и в ту же минуту услыхал налево от меня, наверху, на деревянной галерее, топот шагов бегущих людей, сначала

по доскам галереи, а потом по ступенькам лестницы. Прежде выбежала худая женщина с засученными рукавами, в слипявшем розовом платье и ботинках на босу ногу. Вслед за ней выбежал лохматый мужчина в красной рубахе и очень широких, как юбка, портках, в калошах. Мужчина под лестницей схватил женщину: „Не уйдешь“ — проговорил он смеясь» (стр. 28, 29).[65]

А вот одно из описаний подобного же рода в «Париже» Золя (посещение квартиры Лавёва на улице Соль): «Двор этот представлял из себя настоящую клоаку, нечистоты, должно быть, накоплялись здесь в течение двух месяцев страшных морозов; теперь все это оттаивало, и озеро грязи и отбросов разило невыносимым зловонием. Здания наполовину были разрушены, входные двери зияли точно подвалы, бумажные заплаты пестрели на грязных оконных стеклах, а жалкие лохмотья висели траурными флагами» (стр. 14).[66]

«Последняя лестница была еще отвратительнее других — покоробившиеся ступени, липкие стены, пропитанные будто бы смертным потом. На каждой площадке свинцовые отливные желоба обдавали своим зачумленным дыханием, из каждой квартиры вырывались стоны, брань, мерзость запустения и нищеты. Одна дверь хлопнула, и показался мужчина, волочивший за волосы женщину, за ним трое ребят, плакавших навзрыд» (стр. 16).

Желание Толстого установить прочный контакт с бедняками, вызвать их на откровенные разговоры, помочь им не только деньгами, но и добрым словом, советом, не находит живого отклика: бедняки недоверчиво относятся к благотворителям. «Но выражение всех взглядов этих людей, направленных на меня, было совершенно одинаково. Во всех взглядах было выражение вопроса: зачем ты, человек из другого мира, остановился тут подле нас? Кто ты? Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и еще помучить нас, или ты тот — что не бывает и не может быть — человек, который жалеет нас? На всех лицах был

---

[65] Страницы указаны по Полному собранию сочинений Л. Н. Толстого под ред. П. Бирюкова, т. XIII.

[66] В скобках после текстов Золя, как здесь, так и ниже, страницы указаны по русскому изданию в пер. Н. Яковлева (Киев—Харьков, 1898). Цитаты проверены и исправлены по подлиннику,

этот вопрос. Взглянет, встретится глазами и отвернется» (стр. 19).

С подобным же недоверчивым отношением встречается и Пьер Фроман. Отыскивая Лавёва, Пьер входит в комнату, где живет безработный Сальва. «Но мужчина, которого Пьер сначала не заметил, рабочий лет под 40, высокий, худой, почти лысый, бледно-рыжий малый с редкими усами и бородой, сделал такой жест рукой, как будто хотел вышвырнуть священника за дверь. Впрочем, он успокоился и, подсев к хромоногому столу, намеренно повернулся спиной» (стр. 17).

Толстой обращается с проектом помощи нуждающимся в городскую думу. Все высказывают сочувствие Толстому и вместе с тем указывают ему на практическую неприложимость его проекта. Отсутствие сочувствия и понимания встречает Толстой и у редактора газеты, которому он принес свою статью (стр. 26).

Пьер Фроман, между прочим, тоже попадает в Бурбонский дворец и за несколько часов своего пребывания там неплохо знакомится с закулисной стороной парламентской жизни. В Бурбонском дворце Пьер встречается с редактором «Земного шара» Фонсегом, который должен помочь Фроману определить в приют бедняка Лавёва. Но занятому парламентской борьбой Фонсегу нет никакого дела до Фромана, и тот возвращается домой ни с чем (стр. 63—90).

Полное равнодушие к страданиям бедноты со стороны представителей общественного мнения и государственной власти Толстой дополняет живописными картинами облав, организуемых полицией против жителей трущоб (стр. 16, 48, 123 и др.).

Картины таких облав встречаются и у Золя (ср. стр. 3, 382—409). У Золя, помимо облавы против посетителей ночлежного дома, живописно изображена облава в Булонском лесу, организованная парижской полицией для поимки анархиста Сальва.

Благотворительность, которой занимался Толстой, не имела ничего общего с той благотворительностью, которой занимались скучающие от безделия богатые дамы. Благотворительность Толстого, как и благотворительность Пьера Фромана, может быть названа активной; как в произведении Толстого, так и в «Париже» эта активная благотворительность противопоставлена благотворительности

салонной, декларативной, проистекающей не от сострадания, а от тщеславия.

Вот как описывает Толстой один из примеров официальной благотворительности: «У подъезда стояло несколько карет, в передней сидело несколько лакеев в дорогих ливреях. В большой гостиной за двумя столами сидели одетые в дорогие наряды и с дорогими украшениями дамы и девицы и одевали маленьких кукол; несколько молодых людей было тут же, около дам. Куклы, сработанные этими дамами, должны были быть разыграны в лотерею для бедных. Вид этой гостиной и людей, собравшихся в ней, очень неприятно поразил меня. Не говоря о том, что состояние людей, собравшихся здесь, равнялось нескольким миллионам, не говоря о том, что проценты с одного капитала, который был затрачен здесь на платья, кружева, бронзы, броши, кареты, лошадей, ливреи, лакеев, были во сто раз больше того, что вырабатывают все эти дамы, не говоря об этом, расходы и поездки сюда всех этих дам и господ, перчатки, переезд, свечи, чай, сахар, печенье — хозяйке стоили во 100 раз больше того, что здесь сработают» (стр. 25). Уже один вид этого базара убеждает Толстого, что его присутствие здесь излишне; пустые разговоры собравшихся и лицемерные их обещания относительно способов увеличения средств для помощи бедным приводят Толстого в окончательное уныние: «Вернувшись домой в этот день, я лег спать не только с предчувствием, что из моей мысли ничего не выйдет, но со стыдом и сознанием того, что целый этот день я делал что-то очень гадкое и стыдное» (стр. 26).

Золя в своем романе также описывает базар благотворительности, происходящий в роскошном отеле банкира Дювильяра. Золя настойчиво подчеркивает и бессмысленную роскошь обстановки, и неслыханную ценность украшений и одежд великосветских дам, и разговоры присутствующих, которые только подчеркивают ту пропасть, которая существует между собравшейся знатью и теми, в пользу которых устроен базар (ср. стр. 285—305). Характерно, что чувство, испытываемое явившимся на этот базар Пьером Фроманом, напоминает чувство Толстого в подобном же случае. Накануне Фроман узнает, что Лавёв, о судьбе которого в течение нескольких месяцев «заботились» все эти дамы-благотворительницы, умер голодной смертью. И болтовня собрав-

шихся о благотворительности выступает перед ним как притворство и лицемерие. «На лице Пьера мелькнула горькая усмешка перед этой жалкой иронией судьбы. Что за жалкая хромая благотворительность, являющаяся на помощь человеку только после его смерти!» (стр. 306).

Смерть Лавёва не представляет ничего нового по замыслу в сравнении с изумительным описанием смерти прачки в произведении Толстого. Как смерть Лавёва у Золя, смерть прачки у Толстого является «пощечиной жалкой благотворительности». «Четыре дня тому назад хозяйка отказала прачке от квартиры: за ней уже набралось шесть гривен, и она не платила их, и не предвиделось надежды их получить, а койки были все заняты, и жильцы жаловались на перхоту прачки». Жалкая ночлежная квартира становится недосягаемой для больной прачки. Обессилевшая женщина по привычке направляется по вечерам к ночлежному дому и каждый раз ее прогоняют оттуда. Она умирает под забором (стр. 125—127).

Впрочем, смерть прачки у Толстого напоминает также другое место из «Парижа» — гибель Старца, которого тщетно разыскивают в ночлежном доме Пьер Фроман и аббат Роз. Они узнают, что «под вечер он, действительно, приходил, но места не оказалось, — страшно подумать, что этот ад кромешный считался избранным ночлегом. Должно быть, он растянулся где-нибудь под забором или под оградой» (стр. 345).

Описание внутреннего вида ночлежного дома, встречающееся в «Париже» Золя, поразительно напоминает зарисованные с натуры описания ночлежек у Толстого. Вот небольшой отрывок из «Так что же нам делать?». «Все квартиры были полны, все койки были заняты, и не одним, а часто двумя. Ужасно было зрелище по тесноте, в которой жался народ, и по смешению женщин и мужчин. Все женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины на узких койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И главное — ужасно по тому огромному количеству людей, которое было в этом положении. Одна квартира и потом другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая — и нет им конца. И везде тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до одурения мужчины и женщины, и тот же испуг, покорность и виновность на

всех лицах, и мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме, и я понял, что то, что я затевал, было гадко, глупо и потому невозможно» (стр. 49).

А вот описание ночлежного дома у Золя: «О, какая ужасная нищета приводит туда, на зачумленные нары, от зловония которых ему сделалось дурно! Как тяжело забыть несчастных, от усталости и отчаяния свалившихся наземь, точно скоты, в мертвом сне, далеком от мерзостей яви. И самая невероятная смесь нищеты и страдания лежала здесь как бы сваленная в одну кучу: дети, мужчины, старики. Грязные лохмотья нищих смешивались с потертыми сюртуками стыдливых бедняков. Это были все обломки ежедневных крушений: лень, порок, неудача, несправедливость, поднятые бурной волной и выброшенные здесь вместе с грязью пены. Одни из них спали, как убитые, другие с открытым ртом храпели, точно во сне еще продолжали жаловаться на весь ужас их существования, третьи беспокойно метались, не находя себе покоя, боролись во сне со страшными кошмарами, голодом, усталостью и холодом, которые во сне принимали чудовищные формы. И от всех этих несчастных, лежащих здесь, точно раненые после страшной битвы, от этой амбулатории жизни, отравленной зловонием всеобщего разложения, казалось, поднималось всеобщее негодование, томящая мысль о роскошных альковах счастливых богачей, которые в эти часы могли отдыхать или наслаждаться любовью на тонком белье в кружевах» (стр. 345).

Изображение нищеты в романе «Париж» не являлось новинкой для Золя. Но нищета «Западни» и «Жерминаля» носила, так сказать, производственный характер, тогда как в «Париже», хотя и посвященном самым острым проблемам современности, и в частности социализму, рабочий вопрос не выделяется как самостоятельная тема; упор сделан на нищете и разврате деклассированных элементов. Толстой, подходивший ко всему с моральной точки зрения, не придавал рабочему вопросу такого значения, как Золя, поэтому внимание Толстого было привлечено прежде всего нищетой и развратом, скопившимися в ночлежных домах, тогда как «забвение» нищеты рабочего класса в произведении Золя, посвященном парижской жизни 90-х годов, кажется несколько странным. Праздности и роскоши господствующих классов Золя противопоставляет не труд, а нищету. Причина этой односторон-

ности, быть может, отчасти и объясняется тем, что Золя в «Париже» следовал примеру Толстого.

Как у Толстого, так и у Золя нищета и безысходное положение угнетенных классов показаны на фоне бессмысленно роскошной жизни верхушки общества. Мы не ошибемся, если скажем, что в названных произведениях Толстого и Золя прием контраста выступает в более острой форме, чем в их других произведениях. При этом переход в описаниях противопоставляемых картин совершается самым непосредственным образом.

Так, например, Толстой, рассказав о смерти прачки, продолжает: «В тот день, когда я записывал это, в Москве был большой бал» (стр. 127).

Такой же резко подчеркнутый переход к описанию контрастных сторон мы наблюдаем и у Золя. Рассказав о смерти Лавёва, Золя продолжает: «Почти в тот же час, в другом конце Парижа, на улице св. Доминика, сумерки медленно заволакивали салон графини де Кенсак» (стр. 319). Посвятив две страницы изображению бессмысленного и праздного времяпрепровождения пресыщенной графини, Золя переходит к описанию пирушки, на которую отправляется сын графини де Кенсак Жерар.

Не будем сравнивать описания бала у Толстого и пирушки у Золя, в которых изображение ослепительного освещения, обнаженных женских плеч и принадлежностей женского наряда, яств и сытого веселья подчинено одной и той же цели. «Им кажется, что тут и скрывать нечего, что это очень хорошо, что они этим весельем, в котором губится мучительный труд тысяч людей, не только никого не обижают, но что этим самым они кормят бедных людей» (Толстой, стр. 129).

Веру в благотворительность Толстой утратил не сразу. Жизнь убедила его в том, что благотворительностью нельзя излечить бедность, что полное устранение нищеты возможно только путем устранения деления общества на классы. Критика благотворительности превратилась у Толстого во всестороннюю критику капиталистического общества, в которой сказалась вся утопичность философских взглядов Толстого.

«Я увидел, что причина страданий и разврата людей — та, что одни люди находятся в рабстве у других, и потому я сделал тот простой вывод, что если я хочу помогать людям, то мне прежде всего не нужно делать несча-

стий людям, которым я хочу помогать, т. е. не участвовать в порабощении людей» (стр. 120). Назревание великих социальных конфликтов должно служить уроком, по мнению Толстого, для господствующих классов. Перед лицом нарастающей революции благотворительность выглядит особенно ничтожной и жалкой.

«Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30, и только пока кое-как, разными хитростями на время отсрочиваем взрыв ее. Таково положение в Европе; таково положение у нас, и еще хуже у нас, потому что оно не имеет спасительных клапанов» (стр. 220).

Разочарование в благотворительности, испытываемое Фроманом, во многом подобно разочарованию Толстого. Золя показывает этот нравственный процесс на протяжении всей книги. Фроман так же, как и Толстой, видит, что нужно уничтожить пропасть между господствующими и угнетенными классами:

«Милосердие! Милосердие!.. Именно уверенность в его ничтожестве и неизбежном банкротстве окончательно убили во мне священника» (стр. 496); «Он слышал лишь вопль народа, великого безгласного народа, требующего справедливости, ропщущего и грозящего отобрать свою долю, которой завладели силой и лукавством. Ничто, казалось ему, не в состоянии оттянуть неизбежную катастрофу, братоубийственную войну классов, которая грозила уничтожить старое общество, обреченное на гибель под тяжестью своих преступлений» (стр. 12).

Милосердие несостоятельно с точки зрения Пьера, потому что «рана, которую оно будто бы перевязывает, тотчас же открывается, и весь социальный организм скоро будет захвачен и подкошен этой язвой» (стр. 497).

Спокойный и ровный тон описаний и рассуждений Толстого нередко превращается в страстную обвинительную речь против господствующих классов: «Ненависть, презрение задавленного народа растет, а силы физические и нравственные богатых классов слабеют; обман же, которым держится все, изнашивается, и утешать себя в этой смертной опасности богатые классы не могут уже ничем» (стр. 220); «Так как же здесь в наших этих весельях на нас напала слепота, и мы не видим той лещетки, которой мы зажали хвост всех тех людей, которые страдают для нашего веселья?» (стр. 130); «Веселятся! Веселятся от

одиннадцати до шести часов утра, в самую глухую ночь, в то время как с пустыми желудками валяются люди по ночлежным домам и некоторые умирают, как прачка» (стр. 129).

Многие страницы романа Золя наполнены таким же пафосом гнева, и пафос этот делает «Париж» произведением гораздо более публицистическим, чем «Лурд» и «Рим».

«Наконец, под вечер он попал в Париж — Гоморру, в Париж — Содом, зажигавший огни на ночь для мерзостей этой преступной ночи, гуща которой понемногу заволакивала океан крыш. И отвратительная чудовищность предстоящей оргии вопияла к небесам, где мерцали первые звезды, чистые и трепетные».

«Пьер весь содрогнулся при мысли о массе несправедливостей и страданий, о том, что происходит в низшем классе общества, среди нищеты и преступлений, и в высшем — среди богатства и пороков... Эта вопиющая несправедливость, казалось, заряжала гневом сгущавшийся мрак. Из какой тучи разразится удар? Вот уже целые годы ждал он этой карающей грозы, которую со всех сторон горизонта возвещал глухой рокот» (стр. 138, 139).

Но, подвергая уничтожающей критике благотворительность, Золя, как и Толстой, выступает противником революции. Революция в сознании Золя неразрывно связана с анархией. Золя подробно говорит о деятельности анархистов, вызывающей чувство ужаса и возмущения в душе Пьера Фромана. Планы лучшего устройства общества, как представляют его Золя и герой его книги Фроман, не менее утопичны, чем планы Толстого.

Толстой выступает в своем произведении противником любого насилия, с какой бы стороны оно ни исходило. Чрезвычайно ярко высказывает Толстой этот свой взгляд в том месте книги, где рассказывается о гильотинировании преступника. «Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что этот человек был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно; но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал

о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство — убийство, худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершен этот грех» (стр. 21).

Любопытно, что и это место из книги Толстого имеет соответствие в «Париже» Золя. Пьер Фроман присутствует на казни Сальва, привлекшей тысячи праздных жителей. Пьер — враг анархизма, но вид гильотины вызывает в нем чувство возмущения.

«Так это и есть та машина, которая должна мстить за общество, машина, призванная служить устрашающим примером: несколько толстых бревен, проложенных почти в уровень с землей, и еще два бревна, высотою в три метра, приставленные к ним, и на этих высоких бревнах держится нож! Куда же девался высокий эшафот, выкрашенный в красный цвет, к которому вели десять высоких ступеней, а он стоял, возвышаясь над толпой, теснившейся вокруг него, и смело показывал народу весь ужас постыдной кары? Теперь страшного зверя прижали к земле, и он превратился в гнусную и трусливую гадину. Если в жалкой зале суда человеческое правосудие утрачивало все свое величие в тот день, когда произносился смертный приговор, то в день казни это правосудие превращалось в бойню, в которой орудовали самой варварской, самой отвратительной машиной. Гильйом и Пьер смотрели на гильотину, и трепет омерзения охватывал все их существо» (стр. 593).

В самоусовершенствовании, в опрощении, в отказе от насилия и присвоения чужого труда видит Толстой спасение для членов общества, зашедшего в тупик. На вопрос «Так что же нам делать?» Толстой дает ответ, который сводится к трем пунктам-заповедям, последний пункт, которым кончается книга, следующий: «Исполнять тот вечный, несомненный закон человека — трудом всего существа своего, не стыдясь никакого труда, бороться с природою для поддержания жизни своей и других людей» (стр. 218).

Этот ответ напоминает те гимны во славу труда, которыми наполнены последние главы романа Золя. «Как ни тягостен труд, как ни чудовищно и несправедливо его распределение, все-таки он один когда-нибудь создаст справедливость и счастье» (стр. 604). «Прежде всего

перед ним (П. Фроманом, — *Ф. П.*) открылся закон труда, он возложил на себя самую скромную задачу, стал изучать ремесло — поздновато, но зато ни на день не бросал его и ожидал, что оно сообщит ему ясность духа, сознание исполняемой обязанности, ибо вся жизнь составляется из труда, да и мир существует только от взаимодействия сил» (стр. 712).

Напомним, что в цитированном выше (стр. 195, 219, 220) предисловии к переводу «Так что же нам делать?», написанном за шесть лет до появления «Парижа», Золя писал: «Толстой прав, труд — великий закон и источник жизни, истинный двигатель человеческого прогресса».

Правда, Толстой, говоря о труде как о спасительном средстве, имеет в виду главным образом труд земледельческий. Золя воспевает все виды труда. Но взгляды Золя остаются столь же реформистскими и утопичными. Прославление труда еще не решало вопроса, поставленного в его романе. В рецензии на «Париж» А. Богданович очень удачно заметил, что звонкие фразы о труде в этом романе теряют ценность, ибо Золя забывает, «что Сальва потому и погиб, что не нашел применения для своего труда».[67] Золя славословит в своем романе труд фабричный, труд интеллектуальный, но на примере Пьера Фромана, изучающего ремесла, он не забывает подчеркнуть необходимость физического труда. В этом Золя сближается с Толстым.

Планы организации общества на новых началах, как у Толстого, так и у Золя, насквозь утопичны. Однако сила этих произведений — в беспощадной и глубокой критике язв капиталистического строя.

Мы остановились только на нескольких чертах сходства «Так что же нам делать?» Толстого с «Парижем» Золя, число которых можно было бы значительно увеличить: критика официальной религии и церкви, изображение изнурительного труда рабочих на фабриках и заводах, изображение проституции и анализ социальных причин ее, протест против бездетного брака (стр. 236 у Толстого и стр. 403 у Золя), критика декадентского искусства, литературы и т. д. Соответствия эти не случайны. Они представляют собою целую систему, проявляющуюся не только в общих положениях и взглядах,

---

[67] «Мир божий», 1898, № 8, стр. 11.

но и в последовательности мотивов, в чередовании сцен, в мелких изобразительных деталях и в самом развитии повествования. Они свидетельствуют о несомненном влиянии Толстого на Золя или, лучше сказать, о той творческой «помощи», которую получил Золя — художник и публицист от великого русского писателя.

Надо учитывать, конечно, что произведение Толстого по замыслу своему — теоретическое и публицистическое: оно становится художественным только в той мере, в какой Толстой для иллюстрации своих положений обращается к конкретной действительности, к эмоционально-образному ее восприятию и воссозданию. Произведение же Золя — художественное по замыслу, хотя и насыщенное публицистическим элементом. Разнозначные вопросы получают у Толстого и Золя зачастую различную форму изложения. Так, например, Толстой значительную часть книги посвящает вопросу о роли денег в капиталистическом обществе. Вопросу о деньгах немало места отведено и в романе Золя, но в «Париже» этот вопрос трактуется на примере жизни и деятельности банкира Дювильяра и его семьи. Кроме того, Золя вводит в свой роман целую серию фактов из современной ему французской жизни.

Наконец, Золя не ограничивается простым усвоением богатого материала, собранного Толстым в его книге, но и полемизирует с ним.

«Спор» Золя с Толстым сводится главным образом к вопросу о значении и роли науки в буржуазном обществе. Оценивать взгляды Золя на науку в условиях буржуазного общества как более прогрессивные, чем соответствующие взгляды Толстого, было бы большой ошибкой. Толстой дает в своей книге исключительно глубокий анализ классового характера науки в капиталистическом обществе (ср. стр. 143 и сл.), тогда как Золя ограничивался идеализацией буржуазной науки и ее представителей.

Полемизирует Золя с Толстым и по женскому вопросу. Несмотря на глубокие и правильные замечания о положении женщины в буржуазном обществе, Толстой — противник «эмансипации» женщин. «Так называемый „женский вопрос“ возник и мог возникнуть только среди мужчин, отступивших от закона настоящего труда» (стр. 233). Впрочем, не далеко вперед в разрешении женского во-

проса ушел и Золя, одобряющий попытку жены Пьера Фромана Мари разрешить вопрос о равноправии полов путем введения велосипеда в жизнь женщины.

Наконец, Золя высмеивает проповедь безбрачия Толстого. Сторонником безбрачия в «Париже» представлен сын банкира Гиацинт Дювильяр, беспринципный и легкомысленный юноша, начитавшийся Ницше, Ибсена и Толстого. В этой критике Золя имеет в виду «Крейцерову сонату», так как в «Так что же нам делать?» Толстой выступал с близкими Золя взглядами о безнравственности и бессмысленности бездетного брака.

Таким образом, в «Париже», так же как и в «Разгроме», влияние Толстого не сводится к простому заимствованию. Вопросы, затронутые Толстым в «Так что же нам делать?», были и для Золя жизненными вопросами, затрагивающими круг его интересов и тем, вопросами, волновавшими его как художника и как публициста. Золя «усваивал» взгляды Толстого — художника и мыслителя, но вместе с тем возражал ему, преодолевал его, особенно в трактовке вопросов безбрачия и «неделания».

Любопытно отметить, что в признании Толстого Золя, особенно в последние годы, заходил гораздо дальше, чем Вогюэ. С течением лет Золя уяснил себе громадную разницу, существующую между Толстым и тем, кто претендовал на роль единственного его интерпретатора во Франции. Опираясь на Толстого, Золя создает «Париж», произведение, направленное против неокатолицизма и его литературных представителей — Вогюэ и Брюнетьера. Это был достойный ответ вождям идеалистической реакции, пытавшимся при помощи Толстого расправиться с натурализмом.

«Париж» Золя является наглядным подтверждением того, что влияние Толстого на французскую литературу уже в 90-е годы прошлого века вышло за пределы простого наследования проповеди жалости и любви к человеку. Вдохновляясь Толстым и его реализмом, Золя создает произведение, в котором проповедь любви к человечеству сочетается с критикой капиталистического общества и требованием социальной справедливости.

Наличие этого воздействия решительно опровергает нередко встречающееся мнение о том, что Золя был непримиримым противником Толстого. В речи, произнесенной над гробом Золя, Анатоль Франс справедливо

сравнивал Золя — художника и мыслителя, с Толстым.[68] Тридцать лет спустя это сравнение двух гениев мысли было повторено Анри Барбюсом.[69]

Рассматривая вопрос о влиянии Толстого на Золя, мы остановились главным образом на двух «сюжетах», причем влияние было прослежено нами в его наиболее зримых формах. Нет никакого сомнения в том, что более тщательное и глубокое изучение этого влияния, с привлечением большего количества произведений, дало бы немало новых и подчас неожиданных результатов. Однако и отмеченные факты, как нам кажется, доказывают чрезвычайно сильное и плодотворное воздействие Толстого на творчество одного из крупнейших европейских писателей конца XIX в.

---

[68] См.: «Интернациональная литература», 1940, № 3—4, стр. 190.
[69] См.: Анри Барбюс. Эмиль Золя. М.—Л., 1933, стр. 215.

*Забытая статья Бернарда Шоу о С. М. Степняке-Кравчинском**

В конце декабря (н. ст.) 1895 г. в Лондоне трагически погиб, попав под проходящий поезд, выдающийся русский революционер Сергей Михайлович Степняк-Кравчинский. Непродолжительная, но яркая жизнь Степняка (он не прожил полных 45 лет) оставила заметный след не только в русском, но и в международном освободительном и литературном движении.

Юношей, окончив в 1870 г. Петербургское артиллерийское училище, Степняк становится на путь революционной борьбы, принимает участие в «хождении в народ» и, преследуемый царским правительством, уезжает за границу. В 1875 г. он — в числе добровольцев, пришедших на помощь боснякам и герцеговинцам, восставшим против турецкого владычества, а в 1877 г. — участник итальянского освободительного движения. В том же году он возвращается в Россию и сразу же становится одним из наиболее деятельных участников народнической «Земли и воли». 4 августа 1878 г., мстя за жестокое обращение с политическими заключенными, Степняк-Кравчинский убивает кинжалом на улице шефа жандармов Мезенцева и снова эмигрирует, живет в Швейцарии, Италии, а в 1884 г. переселяется в Лондон, где развивает кипучую общественно-политическую и литературную деятельность: выступает с речами на митингах и демонстрациях, читает лекции о России и русской литературе, организует Общество друзей русской свободы и Фонд вольной русской прессы, создает и издает на русском, итальянском и анг-

* Статья первоначально опубликована в журнале «Русская литература», 1967, № 1, стр. 163—169.

лийском языках ряд публицистических и художественных произведений.

Имея в виду организованный Степняком ежемесячный журнал «Free Russia» («Свободная Россия»), Ф. Энгельс в письме к В. И. Засулич от 3 апреля 1890 г. писал: «Вот почему возобновившееся среди английских либералов антицаристское движение представляется мне чрезвычайно важным для нашего дела; очень удачно, что Степняк здесь и имеет возможность его подогревать».[1]

Изданные в 80—90-е годы XIX в. на нескольких европейских языках «Подпольная Россия», «Андрей Кожухов» и другие произведения Степняка сделали его имя известным довольно широкому кругу зарубежных читателей. О Степняке с восхищением отзывались Г. Брандес, Д. Голсуорси, Э. Л. Войнич, Марк Твен, Оскар Уайльд, Бернард Шоу и многие другие европейские и американские писатели и публицисты.

Безвременная кончина С. М. Степняка-Кравчинского явилась горестным событием для всех, кто сочувствовал русской революции и делу международной солидарности сил демократии и прогресса. В зарубежной печати появилось огромное количество откликов на смерть знаменитого русского революционера-народовольца и литератора. Отклики эти до сих пор не собраны и не систематизированы, и даже наиболее значительные из них продолжают оставаться неизвестными для историков литературы.

Настоящая публикация ставит своей целью извлечь из забвения один из таких откликов, принадлежащий перу знаменитого английского писателя Бернарда Шоу («A word about Stepniak») (1856—1950). Некрологическая статья о Степняке Б. Шоу была опубликована в февральском номере ежемесячного журнала «Tomorrow» за 1896 г. и с тех пор нигде не перепечатывалась.

Ниже приводится полный текст этой статьи в переводе на русский язык.

Слово о Степняке

Издатель журнала «Tomorrow» обратился ко мне с запросом, не пожелаю ли я написать что-либо интересное о Степняке, с которым я состоял в знакомстве. Я ответил ему, что в настоящее

[1] Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями. М., 1951, стр. 315.

время любое слово о Степняке представляло бы интерес для многих, но я не могу использовать свое знакомство с ним для выгодной сделки. Но вместе с тем я с большим удовольствием готов сделать дружеское сообщение на эту тему для издателя и читателей.

О Степняке — революционере, нигилисте, герое подпольной России я знаю не больше, чем знает всякий. Когда мы говорили друг с другом, мы не обсуждали политических проблем. Мы были политиками и реформаторами в силу обстоятельств и художниками — по своим природным склонностям. Если бы Степняк пожелал узнать от меня, что означает социализм и каковы методы деятельности и цели Фабианского общества, я добросовестно разъяснил бы ему это как социалист и фабианец. Но ему все это было известно в такой же мере, как и мне. И если бы я попросил его рассказать мне о положении в России, не сомневаюсь, что он не пожалел бы сил, чтобы просветить меня. Но и я в свою очередь был осведомлен в этом вопросе настолько, насколько было необходимо. Кроме того, я видел то, чего не замечали некоторые английские социалисты, — что Степняк ждал от представителей наиболее радикальных групп английского политического мира не публичного с ним союза, а крайней сдержанности в публичном выражении непосредственно личного к нему сочувствия. Позвольте объясниться.

Было бы ошибкой предполагать, что Степняк как практический русский политический деятель был социалистом или даже тем, кого в настоящее время принято считать последовательным прогрессистом. Действительно, по отношению к царизму он был бунтовщиком, точно так же как был бунтовщиком герцог Девонширский по отношению к божественному праву Карла I.[2] Но о политических убеждениях человека судят не по его решимости сломить грубейшее сопротивление, которое тирания оказывает реформам, но по реформам, которые он предлагает ввести, когда это грубейшее сопротивление будет сломлено. Верно и то, что Степняк, английский гражданин и законный обитатель одного из домов Бедфорд-парка, был членом Фабианского общества и страстным поборником конституционного движения в пользу высокой социальной организации коллективной индустрии, которая заменила бы частные предприятия и алчную спекуляцию, анархическую, опустошительную и часто даже убийственно бесчеловечную, но по крайней мере «свободную», ту спекуляцию, которой он без колебаний мечтал заменить в России иллюзорный аркадский коммунизм и застойный фатализм общины (stagnant fatalism of the Mir). Но путешествие из Англии в Россию означало не только путешествие из одной страны в другую, но и из одной политической эпохи в другую; и поэтому считать, что, поскольку

---

[2] Вильям-Кавендиш Девоншир (1640—1707) — герцог, один из виднейших членов парламентской оппозиции во время царствования Якова II, который, являясь сыном казненного в 1649 г. Карла I, пытался восстановить абсолютистский режим в период Реставрации. Герцог Девонширский был в числе главных организаторов вооруженной интервенции в Англию в 1688 г., в результате которой была окончательно низвергнута династия Стюартов.

Степняк рассматривал социал-демократию в качестве ближайшей ступени развития для Англии, он видел в ней также ближайшую ступень развития и для России, было бы настолько же абсурдно, как и предполагать, что о каком-либо заговоре с целью убийства королевы и сэра Эдварда Бредфорда[3] он был бы того же мнения, что и об отчаянной борьбе террористов против царя и русской полиции в последние дни царствования Александра II. Максимальное, о чем мечтал для России Степняк, был либерализм, не ультрасовременный коллективистский либерализм и даже не либерализм герцога Девонширского, но либерализм вигов, либерализм — я бы хотел сказать — Джона Рассела,[4] но позвольте мне вместо него назвать — Маколея.[5]

Думаю, что Степняк отдавал себе отчет в этом с момента своего первого появления в Англии и превосходно знал, что излишнее единение вокруг него горстки игрушечных революционеров, которые называли себя «революционными демократами», «анархистами», «людьми новой жизни» и т. д. и которые в трудное время перед экономическим подъемом в 1887—1888 гг., при всей своей незначительности, сумели изрядно напугать Уэст-энд, могло причинить его делу немало вреда и никакой пользы. Положение было несколько затруднительным, так как эти энтузиасты и мечтатели были мужчинами и женщинами, близкими ему внутренне, и держать их на расстоянии с тем, чтобы самому снискать расположение соглашательской плутократии либерал-юнионизма, было столь же невозможно для человека его темперамента, как и другая альтернатива — допустить, чтобы из-за недостатка у них здравого смысла наносился ущерб делу русской свободы.

Он не мог не почувствовать эту дилемму вскоре по прибытии в Лондон. Моя первая встреча с ним произошла в 1884 году на большой демонстрации в Гайд-парке, возникшей в знак протеста против отмены палатой лордов последнего билля об избирательной реформе. Несколько изгнанников, незадолго перед тем получивших право убежища, присутствовали здесь, и я отчетливо помню, как они были изумлены виденным. Здесь, в самом центре фешенебельного квартала Лондона, собрались сотни тысяч людей — со знаменами, красными флагами, фригийскими шапочками и даже с гробами на шестах — вокруг целой дюжины платформ, с которых ораторы произносили бесстрашные бунтарские речи и разбрасывали кипы брошюр и листовок, за самые невинные вы-

---

[3] В 1889—1893 гг. Эдвард Бредфорд (р. 1836) был адъютантом при королеве Виктории, с 1890 по 1903 г. занимал также пост начальника полиции в метрополии.

[4] Джон Рассел (1792—1878), лорд. Был членом кабинета Грея, проведшего в 1832 г. либеральную парламентскую реформу. На протяжении всей своей длительной политической деятельности был одним из лидеров партии вигов.

[5] Томас-Бабингтон Маколей (1800—1859) — английский буржуазный историк, публицист и политический деятель, последовательный сторонник партии вигов. Как историк выступал с апологией «бескровной» революции 1688—1689 гг., противопоставляя ее как английской революции середины XVII в., так и другим социально-политическим движениям, в которых сколько-нибудь серьезная роль принадлежала народным массам.

ражения которых, если бы это было в России, поплатились бы Сибирью даже наиболее высокопоставленные лица. И правительство не принимает никаких мер? И полиция не запрещает? Неужели эта огромная толпа, кажущийся зародыш революции, только купит на грош кисловатых капель, чтобы придать тон своим улюлюканьям против лорда Солсбери и лорда Рандолфа Черчилля и своим здравицам в адрес Гладстона, и потом разойдется по домам как ни в чем не бывало?[6] Кажется, единственно вразумительный ответ дал м-р Гайндман,[7] который объяснил им, что поскольку-де у нас здесь свобода, то и нет смысла затыкать рты стаду овец. Однажды только вмешалась полиция, но и то для того, чтобы защитить м-ра Джона Бернса,[8] в дерзкой молодости которого общественная ответственность еще не погасила в то время дикую поэзию революции, от нападок, возникших (как потом оказалось) в результате того, что в своем отношении к Джону Брайту[9] он на год опередил общественное мнение. Среди всей этой пустой праздничной сумятицы меня познакомили со Степняком. В социалистической секции демонстрации о его прибытии было объявлено публично, и его там приветствовали как друга и товарища. И было очевидно, что этот прием вместо того, чтобы доставить ему удовлетворение как свидетельство определенного на первых порах его успеха в Англии, явился первым препятствием к осуществлению его планов. Какими были эти планы, стало выясняться, когда он организовал общество, известное под именем «Друзья русской свободы». Появление Чарлза Брэдлафа,[10] решительного противника социализма, на одном из

---

[6] Недовольная политикой лидеров консервативной партии Гаскойна-Сесила Солсбери (1830—1903) и Рандолфа Черчилля (1849—1895) толпа вследствие политической незрелости своей рукоплескала Вильяму-Юарту Гладстону (1809—1898), который, возглавляя в то время (1884) правительство, несмотря на свой умеренный либерализм, был, в сущности, не противником, а союзником консерваторов.

[7] Генри-Майерс Гайндман (1842—1921) — один из основателей английской Социал-демократической федерации (1884). Был противником революционных методов борьбы рабочего класса. В своей политической и журналистской деятельности Гайндман был склонен к карьеризму и авантюризму.

[8] Джон Бернс (1858—1943) — видный деятель английского рабочего движения. В 80-е годы — неутомимый оратор и организатор ряда крупнейших стачек и других выступлений рабочего класса. Впоследствии перешел на позиции социал-реформизма.

[9] Джон Брайт (1811—1889) — английский буржуазный политический деятель. Выставляя себя защитником народных масс, требовал отмены хлебных пошлин и ограничения привилегий землевладельческой аристократии. В конце 70-х и начале 80-х годов, дважды занимая в правительстве пост министра без портфеля, зарекомендовал себя как преданный слуга господствующих классов.

[10] Чарлз Брэдлаф (1833—1891) — английский публицист и пропагандист атеизма. В 60-е годы поддерживал связи с А. И. Герценом (см. стр. 137-ю наст. книги). В 80-е годы выступал в парламенте против ограничений свободы слова.

самых первых митингов показало, что было бы ошибкой превращать движение в поддержку русского либерализма в простой филиал нашего слабого социалистического движения, особенно в период, когда даже Фабианское общество не освободилось еще полностью от жестких и призрачных традиций этого движения, официально признав свою верность обычной конституционной и парламентской линии английского политического прогресса. Именно вовлечение в дело русской свободы таких убежденных вигских либералов, как д-р Спенс Ватсон,[11] показало, что Степняк не сектант, но одаренный и широко мыслящий политический организатор. И он справлялся со своим делом без малейшего притворства. Он защищал память Бакунина и сотрудничал с Кропоткиным без какой-либо оглядки на предубеждение сочувствовавших ему вигов точно так же, как выступал в защиту конституционной политической реформы и искал поддержки вигов, в равной мере как и фабианцев, без какого бы то ни было подчинения антипарламентской догме его друзей из среды анархистов.

И то, что Степняк мог делать это, не создавая шума, свидетельствует, несомненно, о том, что он был незаурядной личностью. И он, безусловно, был незаурядным человеком, его особое положение в обществе покоилось на его собственном природном превосходстве. Никому и в голову никогда не приходило подвергать сомнению его право поступать так, как ему нравится, и рассчитывать, что он будет разделять какую-либо предписанную систему мнений. И это не было результатом известной самоуверенности с его стороны. Бесспорно, его массивная голова, его темные волосы, его могучие плечи, его огромная сосредоточенность в изложении своих мыслей обычно производили на людей впечатление и даже устрашали некоторых из них. Возможно, он когда-либо и пользовался своим внушительным видом преднамеренно, в целях воздействия, но я никогда не замечал этого. Напротив, его обаяние в личном общении состояло в том, что он обнаруживал сердце любящего ребенка наряду с могучим и очень живым интеллектом. В какой степени детская наивность могла быть результатом преодоления им трудностей языка, не знаю. Вначале я задавался вопросом, насколько присущий Степняку способ втягивать шею, и его робкие, как у неоперившихся птенцов, движения, и то, как он поглядывал на вас неотразимо разоружающим взглядом, — насколько все это было обусловлено необходимостью преодолеть препоны чужого языка; но, наблюдая затем сходную картину в моменты, когда он говорил по-русски, я отбросил свою теорию. Он был до безрассудства неустрашимым лингвистом. Хотя его первые регулярные чтения в Англии начались только в 1886 году (в небольшом помещении, примыкающем к дому

---

[11] Роберт-Спенс Ватсон (1837—1911) — английский публицист и юрист, автор ряда работ по социально-экономическим проблемам; в 1890—1892 гг. был председателем Национальной либеральной федерации. Исполнял должность почетного казначея Общества друзей русской свободы. На смерть Степняка откликнулся содержательной и прочувствованной статьей (см.: «Free Russia», 1896, v. 7, № 2, pp. 10—12).

Вильяма Морриса[12] в Гаммерсмите), ему довелось однажды выступить с публичной речью сразу же после прибытия в нашу страну, — это было у церкви на Саут-Плейс после того, как там закончилась служба. Подобно многим иностранцам, чем дольше жил он в Англии, тем меньше думал о преодолении трудностей языка и соответственно — тем хуже он говорил. Однажды я спросил его, как он изучает языки. Он ответил, что лучший способ состоит в том, чтобы взять книгу и читать ее неторопливо до конца. Несколько начальных страниц были для него, конечно, совершенно невразумительными. Затем он начинал понимать по одному или по два слова; другие слова разгадывались по их связи с уясненными; запас возрастал; и последние главы становились уже вполне доступными пониманию. Тогда он обращался к книге снова и находил, что он в состоянии ее читать. В разговорной речи его колебания выражались не с помощью «эр-эр-эр», как у англичан, но с помощью «м-м-м», как у русских.

Когда я встретился с ним в парке впервые, я не мог оценить в полном виде неподдельность и своеобразие его очарования. Вряд ли можно согласиться, что все русские обладают обаятельными манерами; но, безусловно, все русские революционеры, с которыми я сталкивался, были восхитительно приятными знакомыми. Степняк, Кропоткин, Софья Ковалевская и другие, чьи имена я не могу вспомнить, а если бы и вспомнил, то не смог бы правильно произнести, — все встречали вас с той исключительной человечностью, которая является пределом совершенства в общении с людьми. Чопорный английский читатель будет в данном случае утешать себя традиционным анекдотом, что если поскрести русского, то под ним непременно окажется татарин. Но вот беда: они вам нравятся так сильно, что у вас не возникает желания их поскрести. И уже тем более не был татарином Степняк. Он, безусловно, отдавал себе отчет в наличии двух противоположных начал в русском характере: фаталистического восточного и энергичного, творческого, критического, западного начала; оба они воплощены для нас в типах, с одной стороны, Толстого, с другой — Тургенева. Степняк — выразительный пример принадлежности к тургеневскому типу. Он был человеком жизни, действия, развития, противостоящих усталости, созерцательности, пассивной красоте характера. Я уверен, он охотно согласился бы променять добрую половину обаятельных черт своих соотечественников на толику менее приятных достоинств англичан, — чувство, которому я как ирландец особенно склонен был симпатизировать. Я вспоминаю его в связи с одним случаем, отразившим различие между англичанами и русскими в понимании непорядочности в денежных делах. Английское общество никогда не прощает человеку, нарушившему существующие правила о том, что можно и чего не дозволено делать в денежных взаимоотношениях; в русском же

---

[12] Вильям Моррис (1834—1896) — английский писатель, художник и общественный деятель. По своим взглядам был близок к так называемым прерафаэлитам. С 80-х годов участвовал в английском рабочем движении; вместе с Э. Маркс-Эвелинг был основателем Социалистической лиги (1884); написал ряд произведений («Вести ниоткуда» и др.), проникнутых идеями утопического социализма.

обществе нарушителя сразу же начинают жалеть, извинять и, расчувствовавшись, принимают обратно. Степняк был полностью на стороне английской неумолимости. Подобно большинству своих благовоспитанных друзей, он был слишком большим мастером в искусстве быть приятным, чтобы хоть сколько-нибудь дорожить этим искусством.

Я никогда не спрашивал Степняка о его конспиративной деятельности, так как были явные причины, препятствовавшие ему рассказывать об этом больше, чем было известно всякому. Он не был, по-видимому, террористом по убеждениям: подобно всем мыслящим и действительно убежденным людям, он бросался в схватку только тогда, когда не оставалось никаких иных средств. В одном из его романов, в котором идет речь о заговоре с целью убить царя, самое поразительное место — это описание того, как герой, когда на него пал жребий убить ценою собственной жизни, с этого момента уже не может думать о смерти царя, настолько он поглощен мыслью о своей собственной смерти. В результате он забывает тщательно проверить свой револьвер, и царь спасается.[13] В книге не найти ни одной фразы, в которой содержался бы какой-либо оттенок личной злобы, жажды мести или фанатической одержимости писателя. Вы догадываетесь о силе политических эмоций Степняка только на основании факта, что он вообще был политическим деятелем. Ибо, как я уже сказал, по природным склонностям своим он был художник. Когда я встречался с ним, мы обыкновенно говорили о книгах (насколько я, никогда ничего не читавший, мог поддерживать беседу с ним, читавшим, как казалось, все решительно), о театре, или о его юном друге — пианисте Максе Гамбурге,[14] или о характерных национальных особенностях, о человеческой натуре, о знакомых нам людях, или о Дузе[15] и русских актрисах, или же о чем-либо ином, что нам нравилось, в этом же роде. Он настойчиво внушал мне веру в мое собственное творчество, и когда я готовил для постановки свою пьесу «Война и человек», он вошел ради меня в проблематику болгарских манер и обычаев настолько, что, казалось, освобождение России для него уже не имело значения. Ум его отличался большой силой, он ничего не схватывал напо-

---

[13] Б. Шоу имеет здесь в виду роман Степняка «Андрей Кожухов».

[14] Речь идет, безусловно, о талантливом пианисте Марке Гамбурге (1879—1960). Он был сыном преподавателя музыки Михаила Гамбурга (1856—1916), который родился и получил образование в России (в Петербургской и Московской консерваториях). С 1891 по 1911 г. семья Гамбургов проживала в Лондоне. Б. Шоу и Степняк-Кравчинский, покровительствуя дарованию Марка Гамбурга, участвовали в организации его первых концертов в Лондоне (см.: Bernard Shaw. Collected Letters. 1874—1897. New York, 1965, p. 323).

[15] Элеонора Дузе (1859—1924) — знаменитая итальянская актриса. Наглядное представление о ее игре на сцене Б. Шоу получил в 1895 г., когда Э. Дузе посетила Англию и блистательно сыграла несколько ролей в лондонских театрах. Перу Б. Шоу принадлежит ряд проникновенных и неизменно восторженных характеристик ее артистического дарования.

ловину. Ему я обязан был помощью, которую я получил от того болгарского адмирала, в реальное существование которого публика, считавшая Болгарию государством без морских границ, положительно отказывалась верить; и никогда еще ни один морской порт не подвергался бомбардировке более утонченно милым джентльменом; но, хотя знакомство с этим русским я по-прежнему вспоминаю с удовольствием, мне ни разу не удавалось произнести правильно его фамилию, и боюсь, что теперь мне уже никогда не удастся достигнуть этого, коль скоро нет со мною Степняка, чтоб возобновить ее в моей памяти.[16]

У меня нет уверенности, не слишком ли в светлых тонах рассказал я здесь о человеке, кончина которого еще так недавно омрачила печалью его друзей. Но нельзя, это было бы несправедливо, предаваться скорби о человеке, имя которого вызывает у вас только светлые ассоциации. Встречаясь со Степняком, я всегда, глядя на него, испытывал чувство радости; в наших взаимоотношениях не было ничего, что поколебало бы их хоть на мгновение. Я вовсе не претендую на то, чтобы причислить себя к тем близким его друзьям, от одного из которых мы могли изредка узнавать о нем несколько больше, чем то, что обычно нам было доступно,[17] но все же я позволил себе написать эти несколько слов, так как глубокое расположение, которое я питал (и питаю) к нему, не позволит мне по крайней мере нанести какой-либо урон его памяти. Что же касается его смерти, то мы найдем свое утешение в том, что, как бы она ни была неожиданна для нас,

---

[16] «Болгарский адмирал» — Эспер Александрович Серебряков (1854—1921), морской офицер. Входил в народовольческий морской кружок в Кронштадте, в 1881 г. — в Центральный военный кружок, в 1883 г. бежал за границу. В 1885—1886 гг., приняв участие в сербско-болгарской войне, командовал Дунайской болгарской флотилией (см. его очерк «Год в Болгарии» — «Заветы», 1913, № 4). С 1899 по 1902 г. был редактором и издателем выходившего в Лондоне ежемесячника «Накануне». После 1905 г. Серебряков возвратился на родину.

Как знатоки жизни и истории славянских народов Степняк и Серебряков оказали Б. Шоу заметную «творческую» помощь во время его работы над комедией «Война и человек». Готовясь к премьере пьесы, Б. Шоу предвидел, что как зрители, так и журнальные критики предъявят ему упрек в недостаточно верном изображении болгарских и сербских нравов. Приглашенные на первую постановку пьесы Степняк и Серебряков, по-видимому, должны были, по замыслу автора, подтвердить правдивость воссоздаваемых им «местных» реалий. 17 апреля 1894 г., за четыре дня до премьеры, Б. Шоу писал директору театра «Авеню» Чарлзу Хелмсли: «Дорогой Хелмсли! Среди зрителей, призванных придать блеск первой постановке, будут Степняк и болгарский адмирал, которые снабдили меня локальным колоритом. Они явятся вместе. Будьте добры, пошлите билеты на ложу или на три хороших места Степняку» (Bernard S h a w. Collected Letters, p. 424).

[17] Из проживавших в Лондоне русских друзей С. М. Степняка-Кравчинского ближе всего к английским литературным кругам стоял Ф. В. Волховский (1846—1914). Возможно, его здесь и имеет в виду Б. Шоу.

для него она наступила столь внезапно, что ужаса перед нею он не успел почувствовать. Чрезвычайно характерно было для него, что вместо того чтобы ждать, когда пройдет поезд, как это сделал бы любой пожилой человек, он, подобно юноше, попытался пробежать первым. И можно не сомневаться в том, что для него жизнь закончилась этим мальчишеским порывом. Из всех смертей, которым он бросал вызов, это была наименее страшная.

Бернард Шоу

* * *

Публикуемая статья написана в присущем творчеству Б. Шоу стиле, сжатом и приподнятом, напряженном и вместе с тем красочном, — в стиле, где зримо проступает индивидуальность автора, эмоционального и, может быть, поэтому противоречивого, постоянно думающего об изяществе формы, организующая роль в которой принадлежит афоризму, парадоксу, а порой и каламбуру.

Статья дает весомый материал для характеристики общественно-политических и эстетических воззрений Б. Шоу в конце XIX в. — и в этом состоит одно из главнейших ее достоинств.

Со времени организации Фабианского общества (1884) Б. Шоу был его ведущим деятелем и оратором. Последовательным фабианцем он, однако, никогда не был. Даже в настоящей, небольшой по объему, статье присутствует критическая оценка «верности» фабианцев духу английской конституции. Трезвый критицизм Б. Шоу по отношению к буржуазной цивилизации привел его впоследствии в ряды тех, кто приветствовал Великую Октябрьскую социалистическую революцию и активно выступал против колониального разбоя империалистических держав, равно как и против национал-шовинизма и нацизма. Тем не менее в момент написания публикуемой статьи критицизм Б. Шоу вообще и по отношению к конституционным формам освободительной борьбы и к концепции фабианского социализма в частности обозначился слабо. Писатель был искренне убежден в том, что лучших форм общественного устройства можно добиться лишь в результате мирных и постепенных «социалистических» преобразований.

Трудно согласиться с суждениями Б. Шоу о политических позициях С. М. Степняка-Кравчинского. Совершенно очевидно, что в лондонский период жизни из так-

тических соображений Степняк вынужден был привлекать к своим начинаниям (Общество друзей русской свободы, журнал «Свободная Россия» и т. д.) людей различных политических убеждений. Он действительно никогда не был сектантом. Ему приходилось сотрудничать с английскими либералами. Однако из этого нельзя делать вывод, к которому пришел в своей статье Б. Шоу, что Степняк не был «последовательным прогрессистом» и что его политические взгляды были более всего сродни либерализму вигов. Дело в том, что, живя в свободной Англии, Степняк и его друзья стремились прежде всего расширить фронт борьбы с самодержавием и вряд ли были серьезно озабочены тем, чтобы ознакомить всю английскую общественность с *конечными целями* своей борьбы. Известно, что русская революционная эмиграция пользовалась сочувствием далеко не всех политических группировок Англии. Английская консервативная пресса неоднократно предупреждала об угрозе проникновения идей русского «нигилизма» в Европу. Заметим, кстати, что в январском номере журнала «New Review» за 1894 г. была помещена инспирированная русским правительством статья «Анархисты, методы их действия и организация», изображавшая русских политических эмигрантов непримиримыми врагами существующего в Англии социального правопорядка. С опровержением этой статьи выступил известный американский путешественник и публицист Джордж Кеннан (1845—1924). Само собою разумеется, что он мог осуществить свою задачу только ценою отступления от истины. Дж. Кеннан вынужден был утверждать, что подавляющее большинство деятелей русского освободительного движения — умеренные либералы и что даже для русских народовольцев-террористов буржуазная конституция является конечной целью политической программы. «Я был связан с ними узами симпатии, человечности или дружбы. Но я бы желал быть связанным с ними узами кровного родства. Я бы гордился правом считать их своими братьями и сестрами, и до тех пор, пока некоторые из них живы, они могут рассчитывать на такую помощь с моей стороны, которая может быть оказана только братом».[18] Всю непрочность общественного авторитета и положения русских политических эмигрантов в Лондоне сознавал

---

[18] «Free Russia», 1894, v. 5, № 2, p. 11.

и Б. Шоу. Он тоже, как нам представляется, был озабочен тем, чтобы его рассказ о Степняке не скомпрометировал друзей последнего в глазах английской полиции и правящих кругов. Отсюда известная уклончивость Б. Шоу, отсюда его заявление, что политических проблем он со Степняком не обсуждал. Но вместе с тем публикуемая статья свидетельствует также о том, что отдельные стороны политической деятельности Степняка были скрыты от Б. Шоу. По мнению последнего, Степняк-Кравчинский опасался особенно тесного сближения с радикальными группировками в английском социалистическом движении. Подобное утверждение не соответствует, однако, истине. Так, например, согласно документальным данным, опубликованным совсем недавно, сразу же после прибытия в Лондон (приблизительно через две недели) Степняк познакомился с Ф. Энгельсом.[19] Как этот, так и другие аналогичные факты, по-видимому, ускользнули от наблюдения Б. Шоу. Впрочем, его точка зрения по этому вопросу последовательностью не отличается. В одних случаях он говорит о Степняке как о стороннике конституционных форм борьбы, в других — как о неустрашимом революционере.

Некрологическая статья Б. Шоу содержит ценные данные о его личных взаимоотношениях с русским писателем-народовольцем. Весьма любопытно замечание Б. Шоу о помощи, оказанной ему Степняком при подготовке к сценическому представлению пьесы «Война и человек» (она известна также и под другим названием — «Шоколадный солдатик»). По-видимому, есть основания говорить и о непосредственном участии С. М. Степняка и Э. А. Серебрякова в создании этой пьесы. Весьма любопытно также воспоминание английского писателя о впечатлении, произведенном на него чтением романа «Андрей Кожухов». Как и для многих других английских литераторов 80—90-х годов, произведения Степняка явились для Б. Шоу фактором не только гражданского, но и эстетического развития. Из личных бесед с русским писателем-изгнанником, из непосредственного общения с русскими «нигилистами» получил Б. Шоу первые представления о России. Это общение надолго определило симпатии вы-

---

[19] См.: Е. Таратута. Фридрих Энгельс и С. М. Степняк-Кравчинский. «Наука и жизнь», 1965, №№ 7—9.

дающегося английского писателя к русскому освободительному движению, русской культуре и литературе.

Не лишен интереса также и нарисованный в публикуемой статье портрет С. М. Степняка-Кравчинского. Б. Шоу, как следует полагать, внимательно изучал внешний облик русского революционера-народовольца. До нас дошел карандашный портрет Степняка, сделанный рукою Б. Шоу.[20] Между этими двумя изображениями, одно из которых сделано средствами живописи, а другое средствами искусства слова, существует заметное сходство. Это дает право сказать, что сделанный в публикуемой статье набросок портрета Степняка обладает несомненной достоверностью.

Самый факт появления статьи о Степняке в журнале «Tomorrow» заслуживает объяснения. Редактор и издатель этого просуществовавшего всего лишь два с половиною года (1896—1898) журнала Джекоб-Томас Грейн (1862—1935) был, по словам Б. Шоу, «энтузиастом театрального искусства», критиком и публицистом. В начале 90-х годов, ориентируясь на «Свободный» театр Антуана в Париже, Джекоб-Томас Грейн создал «Независимый театр» в Лондоне, способствовавший продвижению на английскую сцену современного европейского театрального репертуара прогрессивной направленности, в частности драматургии Г. Ибсена. К Грейну как театральному деятелю сочувственно относились Томас Гарди, Джордж Мередит и ряд других английских писателей демократического лагеря. Следует полагать, что читателям журнала «Tomorrow» имя автора «Подпольной России» и «Андрея Кожухова» было хорошо известно. В противном случае Грейн вряд ли осмелился бы обратиться к Б. Шоу с просьбой написать специальную статью о русском писателе-народовольце.

Публикуемая статья Б. Шоу, несмотря на ее некоторую противоречивость и недосказанность, расширяет существующие представления о характере деятельности Степняка, о его зарубежных связях и своеобразии его как человека, она будит нашу мысль, и можно не сомневаться, что тщательным изучением ее займутся в дальнейшем как исследователи жизни и деятельности С. М. Степняка-Кравчинского, так и все те, кого интересует биография и творчество Бернарда Шоу.

---

[20] «Огонек», 1956, № 30, стр. 14.

Указатель имен

Абу Эдмон 146—147
Абусафьян 34
Адан Жюльетта 149, 151
Александр II 240
Александренко В. Н. 3, 15, 19, 25, 48
Алексеев М. П. 56, 58, 115, 125, 137, 144, 149, 191
Алексей Петрович, царевич 47
Альгаротти Франческо 3, 6—8, 25
Амело 48, 55
Амикони Джакомо 36—38
Андерсен Ханс Кристиан 92
Андреев А. И. 58, 64—65
Андрей Боголюбский, князь 87
Анисимова К. С. 81
Анна Иоанновна 20—21, 25, 36
Анна Петровна 62
Анненков П. В. 107
Антуан Андре 162—163, 185
Арнольд Мэтью 172—173, 181
Ауэрбах Бертольд 92

Баден А. 151
Бакмейстер Л. И. 85
Байрон Д. Н. Г. 126
Бакунин М. А. 138, 242
Балабин В. 100
Бальзак Оноре, де 101, 166, 194, 200
Баратынский Е. А. 101, 117
Барбье Анри Огюст 103
Барбюс Анри 236
Баррес Морис 169
Батюшков К. Н. 4, 56, 101
Баязет, султан 28
Белинский В. Г. 4, 24, 95, 99, 117—118, 153
Бенедикт XIII 14
Бениовский Мориц Август 89
Беринг Витус 89
Беранже А. 171
Берков П. Н. 67
Бернс Джон 241
Бестужев А. А. (Марлинский) 93, 117
Билярский П. С. 75
Биншток В. 143—144
Бирбаум Юлиус 183
Бире Эдмон 91—92, 101
Бирюков П. И. 196
Блан Луи 116
Блен де Сенмор 11
Блэк Альберт 174
Бове Альфред 56
Богданович А. И. 233
Боденштедт Фридрих 152
Боннетен Поль 160
Боссюэ Жак Бенинь 16
Брайт Джон 241
Брандес Георг 238
Бредфорд Эдвард 240
Брейткопф 86
Бретон Андре, ле 187
Бриллиант В. А. 25
Брюнетьер Фердинанд 142, 189, 235
Брэдлаф Чарлз 137, 241
Буало-Депрео Н. 4

Булгарин Ф. В. 99
Бурже Поль 189, 194
Буташевич-Петрашевский М. В. 138
Бутс Вильям 222
Бюрти Филипп 149

Василий Васильевич Темный, князь 87
Ватсон Роберт-Спенс 242
Вейс 94
Венгерова З. А. 189, 202
Веневитинов Д. В. 101, 117
Верещагин В. В. 205
Вержбицкий Отто Юлий Бернгард 128
Вешняков А. А. 10
Виардо Луи 110, 123
Виардо (Гарсиа) Полина 110
Видерт А. Ф. 152
Визева (Выжевский) Теодор, де 158, 178
Виктория, королева 240
Вилль 38
Виньи Альфред, де 94
Владимир Мономах 87
Вовченко И. 175—176
Вогюэ Эжен Мельхиор, де 94, 142—144, 151, 157—162, 166—167, 180—181, 188—189, 192—193, 210, 214, 235
Войнич Э.—Л. 175, 238
Волховский Ф. В. 175, 245
Вольтер М. Ф. А. 3, 7, 22—36, 58—76
Вонлярлярский В. А. 93, 106
Воронцов А. Р. 66—67, 69
Воронцов М. И. 37
Ворцель Станислав 115
Вяземский П. А. 66, 94—97, 99—100

Гааз Ф. П. 97
Гайндман Генри Майерс 241
Ган (Фадеева) Е. А. 93
Галлишер 18
Гальперин-Каминский И. Д. 142—143, 149, 161—162, 195, 198, 220
Гамбург Марк 244
Гамбург Михаил 244
Гарде Эдуард 22—23
Гарден Максимилиан 184
Гарди Томас 180, 249
Гарнет Констанция 137, 175
Гарнет Эдвард 137, 175
Гарткнох 86
Гатцук А. 220
Гауптман Гергарт 182, 185
Гейне Генрих 166
Гейфельдер О. 181
Гельвеций Клод Адриан 32
Генцельман 25
Герцен А. А. 119
Герцен А. И. 77, 98, 111, 113—140, 152, 241
Гервег Георг 116, 124
Гершензон М. О. 148
Гете Иоганн Вольфганг 77, 79, 95
Гиссинг Джордж 180
Гиш Гюстав 160
Глаголева Т. М. 4
Гладстон Вильям-Юарт 241
Гоголь Н. В. 93, 95, 101, 105, 115, 118, 153
Голицын Н. В. 98
Голсуорси Джон 175, 180
Голубов Н. Ф. 202
Гольц Арно 183
Гонкур Эдмон 142, 161, 200, 210, 212
Гонкуры, братья 126, 158
Гончаров И. А. 156
Гораций 4, 69
Горнфельд А. Г. 189
Гоуэллс У. Д. 180

Гофмансталь Гуго фон 183
Гофман Эрнст Теодор Амадей 92
Графф Вильгельм 181
Грейн Джекоб-Томас 249
Греков Б. Д. 73
Грибоедов А. С. 101, 117
Григорович Д. В. 120, 134, 153
Григорьев А. Л. 123, 127
Гросс Генрих 14, 25
Гроссман Л. П. 172
Грот Я. К. 95, 99, 106—108
Гуаско Октавиан 4, 6—7, 10, 45
Гюго Виктор 103, 116, 125, 170, 200, 205, 212
Гюисманс Жорж Карл 148

Давид-Соважо А. 204
Даль В. И. 120
Даламбер Жан Лерон 53
Данте Алигьери 204
Даржансон 31
Даржанталь 31
Дашкова Е. Р. 63
Девоншир Вильям-Кавендиш 239
Дежарден Поль 142
Дежнев С. И. 89
Дезилль 80
Декав Люсьен 139, 160
Делаво Ипполит 122, 144, 152
Делинь Мишель (Ашкинази М. О.) 160, 162
Державин Г. Р. 114
Джеймс Генри 174
Джойс Джеймс 189
Дидро Дени 30, 53, 73
Диккенс Чарлз 166
Дилк Чарлз 137
Дионео (Шкловский И. В.) 177
Доде Альфонс 126, 142, 161, 210, 212, 223
Дора Клод Жозеф 45—46
Доршен Огюст 149
Достоевский Ф. М. 120, 153, 157, 166—167, 178, 194, 200
Дузе Элеонора 244
Дукмейер Фридрих 183
Думик Рене 142, 209
Дюма Александр (сын) 162, 195, 198, 209
Дюма Жорж 167
Дюпюи Эрнест 151, 166
Дюре Теодор 191

Екатерина I 62
Екатерина II 78, 89
Елизавета Петровна 49, 52
Ефремов П. А. 21

Жерфо Маргарита 200
Жиро Виктор 142
Жокур де 30
Жонкьер 11, 28, 35
Жуковский В. А. 93, 101

Засулич В. И. 238
Зиннер Э. П. 179
Златовратский Н. Н. 139
Золя Эмиль 126, 142, 148, 160—163, 166, 172, 182, 190—236

Ибсен Генрих 235, 249
Ильинский И. И. 45

Кадо Мишель 116
Кан Гюстав 220
Кантемир А. Д. 3—57, 153
Кантемир Дмитрий 11, 26—33, 35, 45
Кантемир М. Д. 5
Каравак Луи 38
Каренин В. (Комарова-Стасова В. Д.) 124
Карл I 239
Карл VI 21
Карл XII 23, 63
Карлейль Томас 137
Каррион-Низас Мари А. Ф. Э. 47

Келлерман Бернхард 185
Кеммель Отто 181
Кенворти Джон 174
Кеннан Джордж 247
Керар Жозеф Мари 104
Киреевский И. В. 97, 100
Клеман М. К. 191, 200
Коберштейн Карл Август 95
Ковалевская С. В. 243
Кок Поль де 204
Колачек Адольф 128
Кольцов А. В. 117—120
Конти, принц 14
Корнель Пьер 16, 52
Короленко В. Г. 139
Корф И. А. 5, 36—37
Корф М. А. 131
Корф Ф. Ф. 93
Коуэн Джозеф 137
Костюшко Тадеуш 118
Кошут Лайош 115
Краттер Франц 47
Кропоткин П. А. 242—243
Крылов И. А. 101
Кук Джемс 78
Куланже 16
Куракин Б. И. 10
Курбе Гюстав 122
Курвилль Ксавье, де 51
Курьер Селест 150, 153
Кюстин Адольф де 100—101

Лабрюйер Жан, де 4
Лавров П. Л. 155
Лагрене, де, г-жа 106
Ламартин Альфонс Мари Луи, де 103
Ланский Л. Р. 136
Лансон Гюстав 190
Лао-цзы 197
Ларше Л. 123
Лашоссе Пьер Клод Нивелль, де 3, 51, 55—56
Лёвенфельд Р. В. 181
Леметр Жюль 142, 168, 207
Лемке М. К. 115
Ленин В. И. 116, 154, 186, 197
Лермонтов М. Ю. 93, 111, 115, 117—119, 126
Лернер Н. О. 97
Леру Гюг 147, 155, 165—166
Леруа-Болье Анатоль 94, 153
Лессинг Г. Э. 51, 77
Лесток 48—49
Лефорт Ф. Я. 61
Лефран де Помпиньян 68
Лиль Клод, де 24—25
Линдстром Т. С. 142, 189
Линтон Вильям Дж. 137
Лозинский Г. 11
Ломоносов М. В. 58—90
Лукиан 204
Лукомский В. К. 25
Лукреций 17
Людовик XIV 16
Людовик XV 19
Лэнг Эндрью 174

Магомет 34—35
Магомет II 27, 29, 33
Магомет III 35
Майков Л. Н. 6, 11, 13—15, 17, 23, 48
Маколей Томас Бабингтон 240
Манн Генрих 185
Манн Томас 185, 188
Маргерит Поль 160, 210
Мариво П. К. де Шамблен, де 50
Маркович (Марко Вовчок) М. А. 119
Маркс Карл 74, 238
Маркс-Эвелинг Э. 243
Мармье Ксавье 91—113, 123, 152
Мартен дю Гар Роже 188
Мадзини Джузеппе 115, 119, 138
Мейзенбуг Мальвида 120, 127
Менцель Вольфганг 129—130

Меншиков А. Д. 40—41, 45
Мередит Джордж 249
Мериме Проспер 101, 103, 152, 223
Меринг Франц 182
Мерсье Луи Себастьен 53
Метенье Оскар 162
Мещерский В. П. 183
Мидлтон Мари 178
Милле Жан Франсуа 210
Миллер Г. Ф. 70—71
Минцлов Р. И. 47
Мирбо Октав 161, 170—171
Михайловский Н. К. 194
Мишле Жюль 118—119, 138
Модзалевский Л. Б. 65
Мокульский С. С. 53
Молан Л. 60
Молинари Гюстав 122
Мольер Жан Батист 16, 49, 52
Монконсель г-жа 6, 14—15, 23
Монтескье Шарль Луи де 3—4
Моод Эйльмер 174, 176
Мопассан Ги де 126, 147—148, 199, 223
Мопертюи Пьер Луи Моро 3
Морери Луи 12
Моран Пьер 38—42, 44—47, 55
Моррас Шарль 168
Моррис Вильям 243
Мотылева Т. Л. 180
Мстислав Владимирович, князь 87
Мур Джордж 174
Мурад IV 35
Муратори Людовико Антонио 51
Мусин-Пушкин А. С. 81, 85, 88
Мюллер-Стрюбинг Герман 124
Мэран Жан Жак 70

Наполеон I Бонапарт 205
Наполеон III 205, 217
Нейман-Гоффер Отто 192—193
Некрасов Н. А. 120, 156, 213
Никитенко А. В. 100
Николай II 176
Ницше Фридрих 235
Ну Жан Батист де ла 27, 32—33
Ньютон Исаак 23, 25—26

Оболенский Л. Е. 195, 205, 209, 215
Одоевский В. Ф. 95—96, 101
Ожье Эмиль 162
Оман Эмиль 123
Онсэ Жан 168—169
Орлов А. С. 4
Остерман А. И. 10

Павлов Н. Ф. 93, 97
Павловский И. Я. 162—164
Паже Эмиль 220
Панаева А. Я. 93
Партридж Моника 136—137
Паскевич И. И. 144—146, 150, 171
Пеладан Сар 162—164
Петр I 3, 6, 36, 39—41, 56, 58—76, 132
Перрис Г. Г. 175
Пиа Феликс 116
Пиго-Лебрен 204
Пирсон Чарлз Генри 137
Писемский А. Ф. 153
Платон, архиепископ 63
Платонова Н. С. 58, 71
Плетнев П. А. 95, 99, 104—110
Плетнева А. В. 106, 109
Плеханов Г. В. 139
По Эдгар 166
Полевой К. А. 106
Полевой Н. А. 93
Полежаев А. И. 117
Полиньяк Мельхиор, де 13—15
Полонский Я. П. 145—146
Полторацкий С. Д. 101—104, 111, 114
Пономарева К. 73

Прео Огюст 122
Прудон Пьер Жозеф 116
Пруст Марсель 189
Пумпянский Л. В. 4
Пуччи Винченцио 8—9
Пушкин А. С. 93, 95, 101, 103, 111, 115, 117—119, 126, 153
Пьянчани Л. 136

Радищев А. Н. 115
Расин Жан 16, 50, 52, 157
Рассел Джон 240
Раш Густав 115
Рейнгольд А. 180—181
Рейснер Эберхард 128, 134
Рейхель М. К. 119
Репин И. Е. 221
Ретиф де ла Бретонн 53
Решетников Ф. М. 139
Рико П. 30
Риккобони Доменико 50
Риккобони Луиджи 3, 39, 48—57
Ришпен Жан 204
Род Эдуард 148, 168, 189
Роденберг Юлиус 128
Роллан Ромен 127—128, 157, 167, 172, 188, 199, 220
Рольстон Вильям 152, 172
Рони-старший (Бос Жан Анри) 160
Ростопчина Е. П. 95
Руссе Жан 10—11
Руссо Жан Жак 24, 50, 53, 74, 78, 188
Рылеев К. Ф. 104, 117

Савваитов П. И. 96
Сазонов Н. И. 116
Сакулин П. Н. 96
Салтыков Б. М. 60, 65—66, 69, 76
Санд Жорж 124, 170, 194, 212
Сарду Викторьен 162
Сахаров И. П. 96
Свербеева Е. А. 98
Севинье, мадам де Рабютен-Шанталь 16
Селим I 35
Семен Иванович Гордый, князь 87
Семенов Е. П. (Коган С. М.) 143, 150
Сен-Симон Луи 187
Сентсбери Джордж 174
Сенявин А. Н. 88
Серебряков Э. А. 245, 248
Сибиряк Н. К. 182
Сидевиль, де 31
Синг Джон Миллингтон 180
Скаррон Поль 49
Скайлер Юджин 145
Скюдери Мадлен 49
Слонимский Л. 217
Смирнова О. Н. 154
Соллертинский И. И. 53
Соллогуб В. А. 93, 95—96
Солсбери Гаскойн-Сесил 241
Сорель Шарль 49
Старчевский А. В. 108
Стасов В. В. 38
Стендаль (Бейль Анри) 203—205, 213
Степняк-Кравчинский 137, 155, 166, 174—175, 237—149
Стоюнин В. Я. 5, 19—22, 48
Страхов Н. Н. 220
Субейран Пьер 38
Суинберн А. Ч. 138
Сумароков А. П. 67
Сю Эжен 194
Сондерс Томас Коллетт 137

Таландье Альфред 123
Таратута Е. А. 248
Тауберт И. И. 70
Твен Марк 155, 238
Теннисон Альфред 92
Теккерей Вильям Мейкпис 203—204, 213

Терпер Ч. 174
Терье Андре 149
Титов В. П. 97
Толстой Л. Н. 106—109, 115, 120, 126, 141—236, 243
Тома Антуан-Леонар 8, 63—64
Торе Теофиль 122
Трегенза Джон М. 137
Тургенев А. И. 94, 99—100, 114
Тургенев И. С. 91, 93, 101—102, 106—111, 115, 120, 126—127, 134, 143—151
Турский Каспар 139
Тэн Ипполит 146
Тьерио 31—33

Уайльд Оскар 238
Успенский Н. В. 139

Фаге Эмиль 189, 198—199, 203—204, 207
Фелис Джилберт 179
Филипп Орлеанский 49
Флери Андре Эркюль, де 18—22
Флобер Гюстав 126, 142, 148, 166
Фонтенель Бернар ле Бовье, де 3
Форстер Георг 77—90
Форстер Иоганн-Рейнгольд 77—78, 82
Франс Анатоль 94, 126—127, 160, 172, 188, 235
Фреде Пьер 138
Фридрих II Прусский 31, 78
Фрирсон В. 178—179
Функ Брентано Теофиль 138
Фьорилли Тиберио 50
Фюретьер Антуан 49

Хелмсли Чарлз 245
Хеммингс Ф. 189
Хлюстина А. С. 94
Хоецкий Карл — см. Эдмон Шарль
Хомяков А. С. 93, 97—98
Христодул 29—30

Цабель Эуген 180
Цвейг Арнольд 185
Цезарь Юлий 116
Цигенгайст Герхард 128
Циммерман Иоганн Георг 92

Чаадаев П. Я. 98
Чайковский П. И. 163
Чебышев А. А. 53
Чернышевский Н. Г. 120—121, 191
Черчилль Рандольф 241
Чехов А. П. 139
Чириков А. И. 89
Чуди Т.—Г. 62
Чуйко В. В. 204—205

Шавиньи де 44
Шаравей Этьен 56
Шарбонель Виктор 161
Шатле, мадам 33
Шевырев С. П. 97—98, 100
Шедо-Ферротти (Ф. И. Фиркс) 138
Шекспир Вильям 126, 166, 187
Шиллер Иоганн Фридрих 77, 79, 92
Шимко И. И. 5
Шлецер Август Людвиг 75
Шливовска Виктория 116
Шмидт Юлиан 145, 180
Шмитт Эуген 184
Шмурло Е. Ф. 58, 65
Шницлер Артур 183
Шольц А. 181
Шоу Бернард 137, 175, 177—178, 180, 237—249
Шпильгаген Фридрих 184
Шредер Феликс 167

Штелин П. Я. 84—87
Штелин Я. Я. 67, 84—86
Шувалов И. И. 8, 59, 61, 64—66, 69—76
Шульц В. К. 93

Щербатов И. А. 10, 21

Эдмон Шарль (Хоецкий) 121, 125
Эйдус 86
Эйхенгольц М. Д. 221
Эленшлегер Адам Готлоб 92
Элиот Джордж (Эванс М. А.) 193
Энгельс Фридрих 74, 238, 248
Эннекен Эмиль 166—167
Эпикур 17
Эрар Марсель 9
Эрнст Пауль 181

Ювенал
Юргенсон Э. П. 55
Юрий Долгорукий, князь 87
Юрфе Оноре д' 49
Юстиниан 29

Языков Н. М. 101
Яковлев Н. 224
Ярополк Владимирович, князь 87

Assezat Jules 74
Amero Constant 155
Aymonier C. 91

Barrucand Victor 138
Bernardin N. M. 50
Biré E. 91
Bongar Edouard 138, 155
Boyer Paul 91

Calderon G. L. 177
Courville Xavier de 51
Chuquet Arthur 81

Dufrenoy M.—L. 36

Estignard A. 91

Gaucher Maxime 160
Gervinus G. G. 89
Crasshoff Helmut 12

Jagow E.
Jousserandot L. 91

Kersten K. 78, 83
Klein K. 81

Larumet G. 36
Lavigne Ernest 138, 155
Lion H. 36
Lisle Claude de 25

Martel René 91
Martino P. 36

Pancouk, miss 108
Pontmartin A. de 91
Port J. de la 40

Reyer 182
Robertson J. G. 51

Tindal N. 11
Tissot Victor 155
Tourneux M. 74

Vian Louis 16

Zincke Paul 81

Содержание

	Стр.
От автора	2
Антиох Кантемир и его французские литературные связи	3
Ломоносов и «История Российской империи при Петре Великом» Вольтера	58
Георг Форстер — переводчик Ломоносова	77
Ксавье Мармье и русская литература	91
Герцен — пропагандист и интерпретатор русской литературы на Западе	114
Начало мировой славы Льва Толстого	141
Лев Толстой и Эмиль Золя	190
Забытая статья Бернарда Шоу о С. М. Степняке-Кравчинском	237
Указатель имен	250

Федор Яковлевич Прийма

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ЗАПАДЕ

Утверждено к печати

Институтом русской литературы АН СССР
(Пушкинский дом)

Редактор издательства А. Л. Лобанова
Художник Д. С. Данилов
Технический редактор Л. М. Семенова
Корректоры *З. В. Гришина* и *Л. Я. Комм*

Сдано в набор 15 IV 1970 г. Подписано к печати
10 XII 1970 г.
Формат бумаги 84×108 $^1/_{32}$. Бум. л. $4^1/_{16}$
Печ. л. $8^1/_8$ = 13,63 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 14.53
Изд. № 4271. Тип. зак. № 908. М-31748. Тираж. 3700
Бумага № 1. *Цена 1 р. 12 к.*

Ленинградское отделение издательства «Наука»
Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства «Наука». Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ИСПРАВЛЕНИЕ

Страница	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*
150	3 снизу	с с самого начала	а с самого начала 80-х годов оно уже становится вполне привычным для

Ф. Я. Прийма